

# КНИГА ПЕРВАЯ: МАСТЕР И МАРГАРИТА. КЕНОЗИС. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## Глава 1. Никогда не разговаривайте с неизвестными

Однажды весной, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились двое граждан.

Первый из них, одетый в летнюю серую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на его хорошо выбритом лице помещались очки в черной роговой оправе. Это был Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращённо именуемой МАССОЛИТ, и редактор толстого художественного журнала. Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок ковбойке, жевавший белыми зубами травинку и беспрестанно сплёвывавший, — был поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный.

Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым делом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды». Берлиоз, обмахиваясь шляпой, потребовал абрикосовой, а Иван Николаевич — пива. Получив желаемое, они уселись на скамейку лицом к пруду и спиной к Бронной.

Но был в этот час и в этом месте ещё некто, кого ни Берлиоз, ни Бездомный не заметили. Или, вернее, заметили, но каким-то краем сознания, не придав значения. Этот некто сидел на соседней скамейке, чуть поодаль, и, казалось, дремал, подставив лицо последним лучам уходящего солнца. Одет он был странно для этого времени и места: в длинный, почти до пят, темный плащ, какие носили в прошлом веке, и в надвинутой на самые глаза шляпе. Лица его было не разглядеть, но что-то в его позе, в том, как он неподвижно застыл, заставляло случайный взгляд скользнуть мимо, не задерживаясь. Словно сама реальность обтекала его, не желая вступать в контакт.

Берлиоз, отхлебнув из стакана и блаженно зажмурившись, заговорил с жаром, которому, казалось, не было помехой даже аномальная духота:

— И вот, Иван Николаевич, главное, что меня поражает, — это их невежество! Взять хотя бы этого вашего Иисуса. Ведь его же просто не существовало! Понимаете? Не было никакого Иисуса! А они все — и историки, и богословы, — все пляшут вокруг этого мифа, как вокруг живого... Я уж не говорю о том, что миф этот вреден, он отвлекает трудящихся от построения светлого будущего, он, если хотите, тормоз! Вот вы, Иван Николаевич, поэт, человек с воображением, — неужели вы не понимаете, что вся эта история с евангелиями есть не что иное, как компиляция более древних мифов? Взять хотя бы Митру, Осириса, Диониса — везде одно и то же: рождение от девы, смерть и воскресение!

Неизвестный на соседней скамейке чуть шевельнулся. Едва заметно. Так шевелится змея, прежде чем нанести бросок, или кот, прежде чем прыгнуть на мышь. Но ни Берлиоз, увлеченный своей речью, ни Бездомный, сражавшийся с пробкой от бутылки «Нарзана», этого не уловили. А стоило бы.

— Вы хотите сказать, — подхватил Иван, наконец справившись с пробкой и сделав жадный глоток, — что и все евангелисты просто выдумали его? Что это был такой, знаете ли, коллективный заговор?

— Именно! — воскликнул Берлиоз, энергично кивая лысой головой. — Заговор, если хотите, или, скорее, идеологическая диверсия! Возьмите хотя бы Филона Александрийского, возьмите Иосифа Флавия — образованнейшие люди своего времени, scrupulous историки! Ни слова, ни полслова о Христе! А то, что вставлено потом, — это позднейшая фальсификация, грубая работа монахов-переписчиков, которые, как известно, не брезговали ничем ради укрепления своей власти над умами. Им нужен был миф о страдающем боге, чтобы держать народ в узде. Вот и всё!

Человек в темном плаще медленно поднял голову. На мгновение показалось, что воздух вокруг него сгустился, стал плотнее, словно перед грозой, и даже птицы, щебетавшие в липах, на секунду умолкли. Но это длилось лишь миг, и оба литератора, занятые своим высокоинтеллектуальным спором, ничего не заметили.

— Простите великодушно, — раздался вдруг голос, густой и какой-то... вибрирующий, словно звук низкой органной трубы, на которую нажали в пустом соборе. — Я, кажется, невольно стал свидетелем вашей ученой беседы.

Берлиоз и Бездомный вздрогнули и обернулись. Незнакомец уже не лежал на скамейке, а сидел, положив ногу на ногу, и рассматривал их с выражением живейшего интереса. Одно его лицо теперь было видно лучше, но все равно казалось, что черты его постоянно меняются, ускользают от точного определения, как отражение в бегущей воде. Одно можно было сказать с уверенностью: он был иностранец. И не просто иностранец, а какой-то... старомодный. Словно сошёл с гравюры девятнадцатого века.

— Позвольте представиться, — продолжал он с легкой, едва уловимой улыбкой, которая, впрочем, не коснулась его разноцветных глаз, — меня зовут... впрочем, мое имя вам ничего не скажет. Я — историк. Специалист по... древним культам и забытым пророчествам. И меня чрезвычайно заинтересовал ваш разговор. Вы, кажется, утверждали, что Иисуса не существовало?

Берлиоз, несколько опешивший от такого вмешательства, но быстро взявший себя в руки (он был председателем и привык к неожиданностям), вежливо, но холодно ответил:

— Мы придерживаемся научной точки зрения. А вы, позвольте спросить, придерживаетесь иной?

— О, нет, что вы! — усмехнулся иностранец, и в его усмешке промелькнуло что-то, от чего у Берлиоза вдруг засосало под ложечкой. — Я — лишь скромный собиратель фактов. Но факты, знаете ли, — вещь упрямая. И иногда они приводят к самым неожиданным выводам. Вы упомянули Митру, Осириса, Диониса... Прекрасно, прекрасно! Но позвольте спросить: вы когда-нибудь задумывались, почему все эти мифы так похожи? Случайность? Или, быть может, это отблески одной и той же Истины, которую люди, в меру своего разумения, пытались уловить и облечь в слова?

Он замолчал, глядя куда-то поверх голов собеседников, в сгущающиеся сумерки. Его взгляд стал отсутствующим, словно он прислушивался к чему-то, что происходило не здесь и не сейчас.

— Вы говорите, Иисуса не было? — произнес он наконец. — Забавно. Очень забавно. А что, если я скажу вам, что Он был? Более того, что Он — есть? И не только Он...

Иностранец наклонился вперед, и его голос упал до шепота, но от этого шепота у обоих слушателей мурашки побежали по коже, а Иван Николаевич почувствовал непреодолимое желание перекреститься, чего с ним не случалось с самого детства.

— Что, если я скажу вам, что не только Сын был на этой земле, но что сейчас по ней ходит... Отец? Неузнанный, забытый, облеченный в немощную плоть. И что весь этот мир, вся ваша Москва, все ваши споры и теории — лишь декорация для одной-единственной Встречи? Встречи, от которой зависит всё. Всё, что было, и всё, что будет.

Иван Бездомный, который до этого слушал с открытым ртом, вдруг икнул и спросил, с непосредственностью, свойственной поэтам:

— А вы... вы кто такой, чтобы такое говорить? Вы что, сумасшедший? Или шпион? Может, вас в ГПУ отвести?

Незнакомец расхохотался. Смех его был странным — казалось, он не выходил наружу, а звучал прямо в головах у Берлиоза и Бездомного, отражаясь от черепных коробок.

— Я? — переспросил он, отсмеявшись. — Я — лишь тот, кто ждет. Ждет, когда все сойдется в одной точке. Когда рукописи, которые никогда не горели, начнут проступать сквозь ткань реальности. И когда тот, кого вы считаете мифом, и тот, кого вы даже не ищите, наконец, встретятся. Я, если угодно, — свидетель. Или, если хотите, — режиссёр-постановщик этого грандиозного спектакля. Впрочем, главную роль играю не я.

Он снова посмотрел вдаль, и на этот раз в его разноцветных глазах (правый — черный, как бездна, левый — зеленый, как изумруд) промелькнуло что-то, похожее на тоску. На древнюю, неизбывную, почти человеческую тоску.

— Впрочем, — сказал он, вставая и одергивая плащ, — это все лирика. Старческое брюзжание. Позвольте откланяться. Меня ждут дела. А вам, господа, я бы посоветовал не засиживаться. Вечер перестает быть томным.

Он сделал несколько шагов по аллее и вдруг, не оборачиваясь, бросил через плечо, словно невзначай:

— Кстати, о фактах. Михаил Александрович, вам сегодня отрежет голову комсомолка. Самая обыкновенная, в красной косынке. Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится. А вас, Иван Николаевич, ждет встреча с тем, кого вы ищите всю жизнь, но о ком даже не подозреваете. С тем, чей образ вы безуспешно пытаетесь нарисовать в своих стихах. И, поверьте, он окажется совсем не таким, как вы думаете. Он окажется... человеком. Просто человеком. И в этом — самое страшное и самое прекрасное чудо.

И, не дожидаясь ответа, он растворился в сгустившихся сумерках, словно его и не было. Только эхо его последних слов еще несколько мгновений висело в неподвижном, душном воздухе, да легкий запах серы, который, впрочем, тут же унесло ветерком. Берлиоз и Бездомный переглянулись. В их глазах был страх. И — зарождающееся, необъяснимое, мучительное чувство дежавю, словно все это уже когда-то с ними происходило. Словно они были актерами, которые в сотый раз играют одну и ту же пьесу, и вдруг осознали это прямо на сцене.

---

## Глава 2. Понтий Пилат

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух. «О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнений, это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь... гемикрания, при которой болит полголовы... от нее нет средств, нет никакого спасения... попробую не двигать головой...»

На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону. Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удержавшись от болезненной grimасы, прокуратор искоса, бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил:

— Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?

— Да, прокуратор, — ответил секретарь, вытягиваясь в струнку. — Тетрарх Ирод Антипа ознакомился с делом и не нашел в нём состава преступления, подсудного его юрисдикции. Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение.

Прокуратор дернул щекой и сказал тихо, но с такой злобой, что секретарь невольно втянул голову в плечи:

— Трусливая лиса. Приведите обвиняемого.

И тотчас с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта — ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора, но в его взгляде не было ни страха, ни подобострастия. Только спокойное, ясное внимание, какое бывает у человека, который знает нечто, чего не знают другие.

Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:

— Так это ты подговаривал народ разрушить Ершалаимский храм?

Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой. Ему казалось, что если он сделает хоть одно резкое движение, голова его расколется, как перезрелая тыква.

Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить, и голос его был мягким, почти ласковым:

— Добрый человек! Поверь мне...

Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его, и в его тоне прозвучала такая усталая, брезгливая жестокость, что даже издавшие виды легионеры поежились:

— Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно, — и так же монотонно прибавил: — Кентуриона Крысобоя ко мне.

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион первой кентурии Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором. Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонило невысокое солнце. Лицо его, обезображенное ударом германской палицы в бою при Идиставизо, выражало абсолютное, каменное спокойствие палача, который не испытывает к своей работе ни ненависти, ни удовольствия — только профессиональное усердие.

Прокуратор сказал кентуриону по-латыни, не глядя на него:

— Преступник называет меня «добрым человеком». Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить. Он мне нужен для допроса.

И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним. Арестант пошел за ним покорно, но без тени страха, словно на прогулку.

Выведя арестованного из-под колонн в сад, Крысобой вынул из рук у легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи, бич и, несильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение кентуриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица, и глаза обесмыслились. Марк одной левой рукой, легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, поставил его на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова:

— Римского прокуратора называть — игемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя?

Арестованный пошатнулся, но совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло:

— Я понял тебя. Не бей меня. Я не хотел оскорбить игемона. Я лишь хотел сказать ему правду.

Крысобой ничего не ответил, только посмотрел на арестанта с холодным любопытством, словно прикидывая, сколько еще ударов тот сможет выдержать, прежде чем сломается.

Через минуту арестант вновь стоял перед прокуратором. Прозвучал тусклый, больной голос Пилата:

— Имя?

— Мое? — торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева. — Иешуа.

Прокуратор сказал негромко, но с нажимом:

— Мое — мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое имя.

— Иешуа, — поспешно ответил арестант. — Иешуа Га-Ноцри.

— Прозвище есть?

— Га-Ноцри. Это значит «из Назарета».

— Откуда ты родом?

— Из города Гамалы, — ответил арестант, головой показывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала. — Но вырос я в Назарете. Родители мои перебрались туда, когда я был ещё младенцем.

— Кто ты по крови?

— Я точно не знаю, — живо ответил арестованный, и в его голосе послышалась застенчивость. — Я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец, а мать — из колена Иудина. Но я их не знал. Я вырос в семье плотника Иосифа и его жены Марии. Они заменили мне отца и мать.

Прокуратор поморщился — то ли от боли, то ли от этой сбивчивой родословной.

— Где ты живешь постоянно?

— У меня нет постоянного жилища, — застенчиво ответил арестант. — Я путешествую из города в город, из селения в селение. Проповедую Царство Божие.

— Это можно выразить короче, одним словом — бродяга, — сказал прокуратор и спросил: — Родные есть?

— Нет никого. Я один в мире. Моя мать Мария умерла несколько лет назад. Иосиф — еще раньше.

— Знаешь ли грамоту?

— Да. Меня учили читать и писать. Я знаю Писание.

— Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?

— Знаю. Греческий. И немного латынь.

Вспухшее веко прокуратора приподнялось, подернутый дымкой страдания глаз уставился на арестованного.

Другой глаз остался закрытым.

Пилат заговорил по-гречески, и в его голосе послышалось нечто вроде усталого любопытства:

— Так ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?

Тут арестант снова оживился, глаза его перестали выражать испуг, и он заговорил по-гречески, быстро и горячо:

— Я, доб... — тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не оговорился, — я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие. Я говорил о храме нерукотворном. О храме духа, который пребудет вечно.

Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбившегося над низеньким столом и записывавшего показания. Он поднял голову, но тотчас же опять склонил ее к пергаменту.

— Множество разных людей стекается в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, — говорил монотонно прокуратор, — а попадают и лгуны. Ты, например, лгун.

Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди.

— Эти добрые люди, — заговорил арестант и, торопливо прибавив: — игемон, — продолжал: — ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что один человек неверно записывает за мной.

Наступило молчание. Теперь уже оба больных глаза тяжело глядели на арестанта.

— Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сумасшедшим, разбойник, — проговорил Пилат мягко и монотонно, и только желваки на его скулах выдавали страшное напряжение. — За тобою записано немного, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить.

— Нет, нет, игемон, — весь напрягаясь в желании убедить, заговорил арестованный, и голос его дрожал от искренности. — Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой, пытаясь унять пульсирующую боль.

— Левий Матвей, — охотно объяснил арестант, и в его голосе послышалась даже какая-то нежность. — Он был сборщиком податей, и я с ним встретился впервые на дороге в Виффагии, там, где углом выходит фиговый сад, и разговорился с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, — тут арестант усмехнулся, и усмешка его была светлой, почти детской, — я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово...

Секретарь перестал записывать и исподтишка бросил удивленный взгляд, но не на арестованного, а на прокуратора. Пилат сидел, как изваяние, и только желваки ходили ходуном.

— ...однако, послушав меня, он стал смягчаться, — продолжал Иешуа, — наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мною путешествовать...

Пилат усмехнулся одною щекой, оскалив желтые зубы, и промолвил, поворотившись всем туловищем к секретарю:

— О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем. Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу! А ведь это, заметьте, были, скорее всего, не его деньги, а деньги, собранные для римской казны.

Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата, но улыбка вышла жалкой и испуганной.

— Он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны, — пустился объяснять странные действия Левия Матвея Иешуа и добавил: — И с тех пор он стал моим спутником. Единственным верным учеником. Хотя и записывает за мной не то, что я говорю.

Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно поднимающееся вверх над конными статуями гипподрома, лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: «Повесить его». Изгнать бы и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора. Яд — это был бы выход. Быстрый, надежный. Но он знал, что не сделает этого. Слишком многое держало его в этой жизни. Власть. Страх перед кесарем. И странное, необъяснимое любопытство, которое вызывал в нем этот оборванный философ.

Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном солнцепеке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать.

— Левий Матвей? — хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза.

— Да, Левий Матвей, — донесся до него высокий, мучающий его голос, который, казалось, ввинчивался прямо в больной висок.

— А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?

Голос отвечавшего, казалось, колот Пилату висок, был невыразимо мучителен, и этот голос говорил:

— Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм Истины. Сказал так, чтобы было понятнее. Я не призывал разрушать камни. Я говорил о том, что вера не в камнях, а в сердце.

— Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?

И тут прокуратор подумал: «О, боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде... Мой ум не служит мне больше...» И опять померещилась ему чаша с темною жидкостью. «Яду мне, яду!»

И вновь услышал он голос, но теперь этот голос звучал не мучительно, а как-то успокаивающе, словно прохладная вода, льющаяся на воспаленную кожу:

— Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И я сейчас невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет.

Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова. Легионеры, стоявшие у входа, переглянулись с суеверным ужасом.

Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца.

Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом его бритом лице выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своею волею и вновь опустился в кресло. Боль, однако, начала отступать, словно ее и не было.

Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова.

— Ну вот, все и кончилось, — говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата, — и я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется, — арестант повернулся, прищурился на солнце, — позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека.

Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол. Он ждал, что сейчас прокуратор в ярости прикажет казнить наглеца на месте.

— Беда в том, — продолжал никем не останавливаемый связанный, — что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласишься, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон, — и тут говорящий позволил себе улыбнуться.

Секретарь думал теперь только об одном, верить ли ему ушам своим или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного. А этого секретарь не мог представить, хотя и хорошо знал прокуратора.

Тогда раздался сорванный, хрипловатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего:

— Развяжите ему руки.

Один из конвойных легионеров стукнул копьем, передал его другому, подошел и снял веревки с арестанта. Секретарь поднял свиток и решил пока ничего не записывать и ничему не удивляться.

— Сознайся, — тихо по-гречески спросил Пилат, и в его голосе не было ни угрозы, ни гнева — только любопытство, — ты великий врач?

— Нет, прокуратор, я не врач, — ответил арестант, с наслаждением потирая измятую и опухшую багровую кисть. — Я просто вижу то, что есть. И говорю об этом.

Круто исподлобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не было мути, в них появились всем знакомые искры — искры острого, цепкого ума.

— Я не спросил тебя, — сказал прокуратор, — ты, может быть, знаешь и латинский язык?

— Да, знаю, — ответил арестант.

Краска выступила на желтоватых щеках Пилата, и он спросил по-латыни, перейдя на интимный, доверительный тон:

— Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?

— Это очень просто, — ответил арестант по-латыни, — ты водил рукой по воздуху, — арестант повторил жест Пилата, — как будто хотел погладить, и губы твои шевелились, словно ты звал кого-то по имени.

— Да, — сказал Пилат. — Ее зовут Банга. Она — единственное существо, которому я доверяю.

Помолчали. Потом Пилат задал вопрос по-гречески:

— Итак, ты врач?

— Нет, нет, — живо ответил арестант, — поверь мне, я не врач. Я — философ. Или, если хочешь, бродячий проповедник.

— Ну, хорошо. Если хочешь держать это в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить... или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?

— Я, игемон, никого не призывал к подобным действиям, повторяю. Разве я похож на слабоумного?

— О да, ты не похож на слабоумного, — тихо ответил прокуратор и улыбнулся какою-то страшною улыбкою, — так поклянись, что этого не было.

— Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? — спросил, очень оживившись, развязанный.

— Ну, хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, — ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это!

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил арестант, — если это так, ты очень ошибаешься.

Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:

— Я могу перерезать этот волосок.

— И в этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, — согласишься, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?

— Так, так, — улыбнувшись, сказал Пилат, — теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобою по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? — тут прокуратор указал на свиток пергамента.

Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.

— У меня и осла-то нет, игемон, — сказал он. — Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал.

— Не знаешь ли ты таких, — продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, — некоего Дисмаса, другого — Гестаса и третьего — Вар-раввана?

— Этих добрых людей я не знаю, — ответил арестант.

— Правда?

— Правда.

— А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?

— Всех, — ответил арестант. — Злых людей нет на свете. Есть только несчастные.

— Впервые слышу об этом, — усмехнувшись, сказал Пилат, — но, может быть, я мало знаю жизнь! Можете дальнейшее не записывать, — обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить арестанту: — В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?

— Нет, я своим умом дошел до этого.

— И ты проповедуешь это?

— Да.

— А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоєм, — он — добрый?

— Да, — ответил арестант. — Он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Ему кажется, что весь мир — враг, и он отвечает миру тем же. Но если бы с ним поговорить, если бы кто-то проявил к нему доброту, он бы изменился. Я уверен в этом.

Пилат долго смотрел на арестанта, и в его глазах читалась работа мысли.

— Я полагаю, — отозвался он наконец, — что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, на счастье всех, и первый, кто об этом позаботится, буду я.

В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо.

В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова: игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа, по кличке Га-Ноцри, и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевнобольным. Вследствие этого смертный приговор Га-Ноцри, вынесенный Малым Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные, утопические речи Га-Ноцри могут быть причиною волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвергает его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора.

Оставалось это продиктовать секретарю.

Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю.

Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль.

— Все о нем? — спросил Пилат секретаря.

— Нет, к сожалению, — неожиданно ответил тот и подал Пилату другой кусок пергамента. — Это доставили только что. От первосвященника Каифы.

Пилат нахмурился. Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились.

Опять-таки виною этого была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них, только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец. На лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью. Запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в густейшей зелени Капрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное, как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова:

«Закон об оскорблении величия...»

Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «Погиб!», потом: «Погибли!..» И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то бессмертии, причем бессмертие почему-то вызывало нестерпимую тоску.

Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.

— Слушай, Га-Ноцри, — заговорил прокуратор, глядя на Иешуа как-то странно: лицо прокуратора было грозно, но глаза тревожны, — ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или... не... говорил?

— Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту.

— Правду говорить легко и приятно, — заметил арестант.

— Мне не нужно знать, — придушенным, злым голосом отозвался Пилат, — приятно ли тебе или неприятно говорить правду. Но тебе придется ее говорить. Но, говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти.

Никто не знает, что случилось с прокуратором Иудеи, но он позволил себе поднять руку как бы заслоняясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту какой-то намекающий взор.

— Итак, — говорил он, — отвечай, знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа, и что именно ты говорил ему, если говорил, о кесаре?

— Дело было так, — охотно начал рассказывать арестант. — Позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем Городе и угостил...

— Добрый человек? — спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.

— Очень добрый и любознательный человек, — подтвердил арестант. — Он высказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно...

— Светильники зажег... — сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали.

— Да, — немного удивившись осведомленности прокуратора, продолжал Иешуа, — попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал.

— И что же ты сказал? — спросил Пилат, — или ты ответишь, что забыл, что говорил? — но в тоне Пилата была уже безнадежность.

— В числе прочего я говорил, — рассказывал арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.

— Дальше!

— Дальше я ничего не говорил, — ответил арестант.

Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро чертил на пергаменте слова.

— На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия! — сорванный и больной голос Пилата разрастался.

Прокуратор с ненавистью почему-то глядел на секретаря и конвой.

— И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней! — тут Пилат крикнул: — Снять конвой с балкона! — И, обернувшись к секретарю, добавил: — Оставьте меня с преступником наедине, здесь государственное дело.

Конвой поднял копья и, мерно стуча подкованными калигами, вышел с балкона в сад, а за конвоем вышел и секретарь.

Молчание на балконе некоторое время нарушала только песня воды в фонтане. Пилат видел, как вздувался над трубочкой водяной пузырь, как оторвался край его и как он упал вниз.

Заговорил первым арестант:

— Я вижу, что совершается какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.

— Я думаю, — странно усмехнувшись, ответил прокуратор, — что есть еще кое-кто на свете, кого тебе следовало бы пожалеть более, чем Иуду из Кириафа, и кому придется гораздо хуже, чем Иуде! Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, люди, которые, как я вижу, — прокуратор указал на изуродованное лицо Иешуа, — тебя били за твои проповеди, разбойники Дисмас и Гестас, убившие со своими присными четырех солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда — все они добрые люди?

— Да, — ответил арестант.

— И настанет царство истины?

— Настанет, игемон, — убежденно ответил тот.

— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. Так много лет назад в Долине Дев кричал Пилат своим всадникам слова: «Руби их! Руби их! Великан Крысобой попался!» Он еще повысил сорванный командами голос, выкликая слова так, чтобы их слышали в саду: — Преступник! Преступник! Преступник!

А затем, понизив голос, он спросил, и в его тоне прозвучала почти мольба:

— Иешуа Га-Ноцри, веруешь ли ты в каких-нибудь богов?

— Бог один, — ответил Иешуа, — в Него я верую.

— Так помолись Ему! Покрепче помолись! Впрочем, — тут голос Пилата сел, — это не поможет. Жены нет? — почему-то тоскливо спросил Пилат, не понимая, что с ним происходит.

— Нет, я один.

— Ненавистный город, — вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы обмывая их. — Если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудой из Кириафа, право, это было бы лучше.

— А ты бы меня отпустил, игемон, — неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен, — я вижу, что меня хотят убить.

Лицо Пилата исказилось судорогой, он обратился к Иешуа воспаленные, в красных жилках белки глаз и сказал:

— Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твоё место? Я твоих мыслей не разделяю! И слушай меня: если с этой минуты ты произнесешь хотя бы одно слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня! Повторяю тебе: берегись.

— Игемон...

— Молчать! — вскричал Пилат и бешеным взором проводил ласточку, опять впорхнувшую на балкон. — Ко мне! — крикнул Пилат.

И когда секретарь и конвой вернулись на свои места, Пилат объявил, что утверждает смертный приговор, вынесенный в собрании Малого Синедриона преступнику Иешуа Га-Ноцри, и секретарь записал сказанное Пилатом. Рука прокуратора, ставившая подпись, дрожала.

Через минуту перед прокуратором стоял Марк Крысобой. Ему прокуратор приказал сдать преступника начальнику тайной службы и при этом передать ему распоряжение прокуратора о том, чтобы Иешуа Га-Ноцри был отделен от других осужденных, а также о том, чтобы команде тайной службы было под страхом тяжкой кары запрещено о чем бы то ни было разговаривать с Иешуа или же отвечать на какие-либо его вопросы.

По знаку Марка вокруг Иешуа сомкнулся конвой и вывел его с балкона. Иешуа ушел, не оглянувшись, и только тень его, упавшая на мозаичный пол, казалось, на мгновение задержалась.

Затем перед прокуратором предстал стройный, светлорылый красавец со сверкающими на груди львиными мордами, с орлиными перьями на гребне шлема, с золотыми бляхами на портупее меча, в зашнурованной до колен тройной подошве обуви, в наброшенном на левое плечо багряном плаще. Это был легат легиона.

Прокуратор спросил его о том, где сейчас находится Себастиийская когорта. Легат сообщил, что себастиийцы держат оцепление на площади перед гипподромом, где будет объявлен народу приговор над преступниками.

Тогда прокуратор распорядился, чтобы легат выделил из римской когорты две кентурии. Одна из них должна будет под командой Крысобоя конвоировать преступников, повозки с приспособлениями для казни и палачей при отправлении на Лысую Гору и по прибытии на нее войти в верхнее оцепление. Другая же должна быть сейчас же отправлена на Лысую Гору и начинать оцепление немедленно. С этой же целью, то есть для охраны Горы, прокуратор попросил легата послать вспомогательный кавалерийский полк — Сирийскую алу.

Когда легат покинул балкон, прокуратор повелел секретарю пригласить во дворец президента Синедриона, двух членов его и начальника храмовой стражи Ершалаима, но при этом добавил, что просит устроить так, чтобы ранее совещания со всеми этими людьми он мог говорить с президентом раньше и наедине.

Приказание прокуратора было исполнено быстро и точно, а солнце, с какою-то необыкновенною яростью сжигавшее в эти дни Ершалаим, не успело еще приблизиться к своей наивысшей точке, когда на верхней террасе сада, у двух мраморных белых львов, стороживших лестницу, встретились прокуратор и исполняющий обязанности президента Синедриона первосвященник иудейский Иосиф Каифа.

В саду было тихо. Но, выйдя из-под колоннады на залитую солнцем верхнюю площадь сада с пальмами на чудовищных слоновых ногах, с площади, с которой открылась перед прокуратором вся ненавистная ему равнина с гипподромом и городом, он уловил далеко и внизу, там, где каменная стена сходилась с дорогой, ведущей к Лысой Горе, неясный гул и над ним по временам взвывающиеся тонкие, жалобные, не то стоны, не то крики.

Прокуратор остановился и, не оборачиваясь, быстро спросил по-гречески:

— Это что там?

— Это, прокуратор, — ответил подбежавший секретарь, — начинают собираться зеваки, чтобы присутствовать при казни. Кричат же это продавцы воды и сладостей.

— А, — сказал прокуратор и, заложив руки за спину, стал подниматься по ступеням. Его спина, обтянутая белым плащом, выражала такую усталость и такое одиночество, что секретарь невольно опустил глаза.

Первосвященник Каифа, маленький, сухонький, с редкой бородкой, в белом ритуальном облачении, расшитом золотыми колокольчиками, уже ждал его в прохладной затененной комнате, выходящей окнами в сад. Несколько кресел и длинный стол, покрытый тяжелой золототканой скатертью, составляли всю обстановку. На столе стоял серебряный кувшин с водой и два кубка.

Пилат, войдя, плотно прикрыл за собой дверь, оставшись с Каифой наедине, и, не предлагая сесть, сразу начал тихо, по-латыни:

— Я пригласил вас, первосвященник, чтобы сообщить, что приговор Синедриона по делу Иешуа Га-Ноцри я утвердил и что казнь состоится сегодня. — Пилат замолчал, ожидая, что скажет Каифа.

Тот поклонился, давая понять, что он слушает, и молчал. Его лицо, сухое и бесстрастное, напоминало маску.

— Однако, — заговорил Пилат снова, и голос его стал жестче, — я считаю своим долгом предупредить, что я не разделяю мнения Синедриона в полной мере.

Каифа опять поклонился, но ничего не сказал. Только колокольчики на его облачении тихо звякнули.

— Более того, — продолжал Пилат, понизив голос до шепота, — я имею основания полагать, что в этом деле не обошлось без доноса. Я говорю о человеке по имени Иуда из Кириафа. — Голос прокуратора упал еще ниже. — Мне известно, что он получил деньги за свое... свидетельство.

Тут Каифа впервые подал голос. Он заговорил тихо, но твердо, и каждое его слово падало, как камень:

— Синедрион не рассматривает вопросов о вознаграждении свидетелей. Закон требует смерти для богохульника и смутьяна. Мы исполнили закон. А что касается денег... — он сделал паузу, — то мы не в ответе за то, как люди распоряжаются своим серебром.

Пилат долго смотрел на первосвященника, и в его взгляде читалось отвращение, смешанное с усталостью.

— Я знаю, что по закону вы должны отпустить одного осужденного в честь праздника. Я предлагаю вам отпустить Иешу Га-Ноцри.

На лице Каифы не дрогнул ни один мускул. Он словно ожидал этого вопроса.

— Нет, прокуратор. Синедрион просит отпустить Вар-раввана. Того самого, который поднял мятеж и убивал римских солдат. Народ желает видеть его свободным.

— Даже после всего, что я вам сказал? — спросил Пилат, и голос его стал хриплым. — Вы понимаете, что берете на себя кровь невинного? Что этот бродячий философ не сделал ничего, заслуживающего смерти? Он просто говорил о любви. О прощении. О Царстве Божием. Неужели это преступление?

— Это не нам судить, прокуратор, — ответил Каифа, и в его голосе послышалась стальная непреклонность. — На все воля Божья. А что касается его речей... они опаснее любого мятежа. Они подрывают основы. Основы веры, основы порядка, основы власти. Вы, римлянин, должны понимать это лучше других.

Пилат резко повернулся и пошел к выходу. Уже взявшись за ручку двери, он обернулся и бросил через плечо, и слова его упали, как приговор:

— Так знайте же, первосвященник, что не будет вам покоя отныне! Ни вам, ни вашему народу! Помните вы мое слово: увидите вы еще легионы в Ершалаиме, увидите плачущий город, и не раз! И вспомните тогда спасенного Вар-раввана и пожалеете, что послали на смерть философа с его мирной проповедью! Он говорил вам о любви, а вы выбрали ненависть. Он предлагал вам прощение, а вы предпочли месть. Пожинайте же плоды своего выбора. Века будете пожинать.

Дверь с грохотом захлопнулась за прокуратором.

Оставшись один, Каифа долго стоял неподвижно. Затем он подошел к столу, налил себе воды из серебряного кувшина и выпил. Рука его чуть заметно дрожала. Поставив чашу, он прошептал, ни к кому не обращаясь:

— А что, если он прав? Что, если этот бродяга действительно был... Сын божий? Нет, нет, лучше одному человеку умереть, чем всему народу погибнуть. Так говорили отцы. Так говорит закон. И я исполнил закон.

Но в его душе уже поселился червь сомнения, которому суждено было грызть его до конца его дней. И когда, много лет спустя, он услышал о людях, которые называли себя последователями казненного философа, он почувствовал, как этот червь зашевелился с новой силой.

### Глава 3. Седьмое доказательство

— Да, кстати, Берлиоз, — заговорил Иван, когда они остались одни и шли по аллее, удаляясь от скамейки, на которой только что сидел странный иностранец, — вы не находите, что этот тип какой-то... чудной? Я сначала подумал, что он пьян, но потом, когда он про Аннушку и масло... И про голову вашу... Слушайте, а может, он сумасшедший? Или, чего доброго, шпион? Иностранец, одет как в прошлом веке, рассуждает о Боге и пророчествах. Очень подозрительно!

Берлиоз нервно поправил очки и оглянулся по сторонам. Аллея была пуста, только вдалеке, у самой будочки с пивом, маячила какая-то фигурка. Наступал тот час, когда солнце, утомившись за день, лениво скатывалось за крыши домов, окрашивая небо в тревожные багровые тона. Тени от лип стали длинными, уродливыми, и в самом воздухе повисло что-то необъяснимо гнетущее, словно перед грозой, которой, однако, ничто не предвещало. Берлиоз, будучи человеком рациональным, не верил в предчувствия, но сейчас ему почему-то было не по себе. Слова иностранца о скорой и нелепой смерти засели в голове и, как назойливые мухи, не желали улетать.

— Иван Николаевич, — сказал он, стараясь говорить бодро, хотя голос его предательски дрогнул, — бросьте вы эту мистику. Ну, подумаешь, совпадение. Мало ли в Москве Аннушек и мало ли кто проливает масло? А про голову... — он невольно коснулся своей шеи, — так это просто шарлатанство, желание произвести впечатление. Я вам больше скажу: я уверен, что он сейчас следит за нами и смеивается. Это классический приём: нагнать страху, а потом предложить «спасение» за определённую мзду. Завтра же выяснится, что он — агент какой-нибудь секты или просто мошенник.

— А если это не совпадение? — упрямо возразил поэт. — Вы же сами говорили, что Иисуса не было, а он вам — раз! — и целую историю про Пилата рассказал. И так, будто сам там был! Со всеми подробностями! Про больную голову прокуратора, про ласточку, про запах розового масла... Откуда он мог это знать? Это же не в Евангелиях написано! Я, знаете ли, в молодости пытался читать Евангелие, так там всё сухо, как в протоколе. А у него — живые люди, с характерами, с сомнениями. Так не выдумывают. Так рассказывают только очевидцы. Или... или те, кому это было открыто.

Берлиоз нахмурился. Действительно, рассказ незнакомца был поразителен своей детальностью. Он не просто излагал евангельский миф — он живописал его, словно очевидец, причём с такими подробностями, о которых не упоминал ни один известный исторический источник. Он знал о гемикрании Пилата, о его собаке Банге, о мыслях прокуратора, о его страхе перед кесарем. Это сбивало с толку, это выбивалось из стройной системы атеистического мировоззрения, которое Берлиоз выстраивал годами и которое служило ему надёжным щитом от всех неудобных вопросов.

— Гипноз, — неуверенно произнёс он. — Массовый гипноз. Или мы просто перегрелись на солнце. В такую жару и не такое померещится. Я читал, что тепловой удар может вызывать галлюцинации. Вот мы и стали жертвами коллективной иллюзии. А то, что наши галлюцинации совпали — так это потому, что он умело направлял наше воображение. Профессионал, ничего не скажешь.

В этот момент из-за поворота аллеи, от той самой будочки, показался человек. Он шёл медленно, чуть прихрамывая, и смотрел прямо на них. Это был не давешний иностранец. Этот был одет в серый поношенный пиджак, на голове — выцветшая кепка, в руке — потрёпанный портфель. Лицо его, простое, русское, с голубыми, чуть навывкате глазами, выражало крайнюю степень волнения. Он приближался, не сводя взгляда с Берлиоза, и губы его беззвучно шевелились, словно он молился или считал. В его облике было что-то знакомое, что-то, что Иван Николаевич никак не мог уловить. Словно он видел этого человека во сне, в том самом сне, который снился ему после беседы с Воландом в клинике — но это будет потом, а пока Иван лишь нахмурился, пытаясь вспомнить.

— Вот ещё один псих, — проворчал Иван. — Сегодня просто день умалишённых. Может, это его сообщник? Сейчас будет предлагать нам спастись за деньги.

Человек подошёл почти вплотную и вдруг, схватив Берлиоза за рукав с неожиданной, цепкой силой, зашептал горячо и сбивчиво, и в его шёпоте слышалась такая искренняя, отчаянная мольба, что Иван невольно отступил на шаг:

— Михаил Александрович! Родненький! Не ходите туда! Умоляю! Вам отрежет голову! Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но и разлила! Вы поскользнётесь, упадёте, и трамвай... Господи, да как же вы не понимаете! Вам же ясно было сказано: «Берегитесь трамвая!» А вы? Вы всё смеётесь, всё теории строите, а смерть-то ваша уже по рельсам катит, колёсами стучит! Она уже здесь, рядом, она дышит вам в затылок!

Берлиоз отшатнулся, с ужасом глядя на незнакомца. Иван, напротив, сжал кулаки, готовый защищать друга.

— Кто вы такой? — резко спросил Берлиоз, пытаясь высвободить рукав. — Откуда вы знаете мое имя? Что вам нужно? Если вы от этого иностранца, то передайте ему, что мы не верим в его дешёвые трюки!

— Кто я? — человек горько усмехнулся, и в его усмешке было столько боли, что Иван почувствовал, как его решимость даёт трещину. — Я — никто. Пыль. Отработанный материал. Я — один из тех, кто должен был записать Его слова, да не сумел. Букву сохранил, а дух упустил. Я — Левий... впрочем, какое теперь это имеет значение. Имя мне теперь — легион. Я столько раз рождался и умирал, что сам счёт потерял. В одной жизни я был монахом-переписчиком, в другой — уличным проповедником, в третьей — просто сумасшедшим, которого держали в жёлтом доме. Но одно помню твёрдо: в этой точке, на этом самом месте, всё повторяется. Всё повторяется, Михаил Александрович, снова и снова. Вы уже шли этой аллеей. Вы уже спорили о Нём. И вас уже...  
— он замолчал, захлебнувшись воздухом.

— Что за чушь! — Берлиоз попытался высвободить рукав, но пальцы незнакомца держали его с неожиданной силой. — Пустите меня! Я позову милицию!

— Не чушь! — почти выкрикнул человек, и в его голубых глазах промелькнул огонь отчаяния, тот самый огонь, который горел в глазах пророков, когда они тщетно пытались достучаться до ожесточённых сердец. — Вы думаете, роман, который написал Мастер, — это просто книга? Вы думаете, история Пилата и Иешуа — это миф? Да она реальнее, чем мы с вами! Она длится вечно! И каждый раз кто-то вроде вас, умный, образованный, уверенный в своей правоте, идёт и спорит о том, чего не понимает. И каждый раз является тот, кто предупреждает. И каждый раз ему не верят. И каждый раз...

Он вдруг замолчал и уставился куда-то за спину Берлиоза. Взгляд его стал безумным, расширенные зрачки, казалось, проглотили всю радужку.

— Вот он, — прошептал человек. — Вот и он. Как всегда, вовремя. Свидетель. Или палач. Или то и другое вместе.

Берлиоз и Иван обернулись. У выхода с Патриарших, на углу Малой Бронной и Ермолаевского, стоял давешний иностранец. Он стоял, опершись на трость с чёрным набалдашником в виде головы пуделя, и смотрел на них. Даже на расстоянии было видно, что он улыбается своей странной, кривоватой улыбкой, от которой у обоих приятелей мороз продрал по коже. В его позе, в его взгляде было что-то от режиссёра, наблюдающего за тем, как актёры разыгрывают сцену, которую он поставил уже тысячу раз.

— Бежим отсюда! — взвизгнул Иван и рванулся, но иностранец уже поднял руку в приветственном жесте и медленно, вразвалку, направился к ним. Его шаги были бесшумны, словно он не касался земли.

— Ну вот, — произнёс он, приблизившись, своим глубоким, проникающим в самую душу голосом. — Я вижу, у вас новый знакомый. Что ж, тем интереснее. Вы, кажется, не вняли моему совету, Михаил Александрович? А напрасно. Позвольте же представить вам полную картину. Итак, на чём я остановился? Ах да, на Пилате и на том, что Иисус всё-таки существовал. Но позвольте добавить к этому ещё одно, седьмое, самое неопровержимое доказательство.

Он выдержал паузу, обвёл всех троих взглядом, в котором читалось превосходство и, как ни странно, глубокая, застарелая печаль, и закончил:

— Он не просто существовал. Он — есть. И не только Он. Отец Его, Тот, Кто был до начала, Тот, Чьё Имя вы боитесь произносить всуе, — и Он теперь здесь. Среди вас. В вашем городе. В вашем времени. Он спустился в эту юдоль скорби, чтобы понять то, чего не мог понять в Своей вечности: что значит быть человеком. Слабым, уязвимым, смертным. Он отказался от всего — от силы, от славы, от всеведения, — чтобы узнать, каково это:

просыпаться в холодном поту от страха, чувствовать, как предают те, кого ты любил, смотреть в глаза смерти и не знать, что будет дальше. И знаете, что самое ужасное? Никто из вас не узнает Его. Вы будете проходить мимо, толкать Его локтями в трамвае, ругать за нерасторопность, ставить Ему диагнозы, лечить Его от Него Самого. Вы будете спорить о Нём, не замечая, что Он стоит рядом и слушает. И только когда грянет гром, когда земля разверзнется и время свернётся в одну точку, вы поймёте, кого вы гнали и хулили. Но будет поздно. Поздно для вас. Но не для Него. Для Него времени нет. Он будет ждать. Он всегда ждёт.

Он замолчал, и в наступившей тишине было слышно только тяжелое дыхание Ивана и прерывистый шёпот человека в кепке, который, казалось, молился на каком-то древнем, давно забытом языке — не то на арамейском, не то на старославянском.

Берлиоз, собрав всю свою волю, выдал из себя улыбку, больше похожую на гримасу:

— Это... это очень интересная аллегория. Вы, я вижу, поэт, не хуже Ивана Николаевича. Только вот позвольте спросить, если этот ваш Отец такой всемогущий и всеблагий, зачем Ему понадобилось становиться человеком? Чтобы страдать? Чтобы Его не узнавали? Какой в этом смысл? Не проще ли было явиться в славе и всех разом осчастливить?

Иностранец посмотрел на него долгим, пронизывающим взглядом, и в его разноцветных глазах промелькнуло что-то похожее на сочувствие. К человеку, который задаёт вопросы, ответы на которые не способен вместить.

— Смысл, Михаил Александрович? — переспросил он тихо. — Смысл в том, чтобы однажды, когда вы будете стоять на пороге, и все ваши теории рассыплются в прах, и останется только тьма и холод, вы вдруг почувствовали, что вы не один. Что рядом с вами стоит Некто, Кто прошёл через тот же ужас, через то же отчаяние, через ту же самую смерть. И что Он держит вас за руку. И что Он понимает. Не умом, не знанием, а Своей собственной, выстраданной, человеческой болью. Вот в чём смысл. В том, чтобы никто и никогда не был по-настоящему одинок в своей последней, самой страшной минуте. Чтобы даже в аду, который вы сами себе создали, вы могли услышать: «Я здесь. Я с тобой. Я знаю, каково тебе. Потому что Я был тобой».

Он снова замолчал, а затем, резко переменив тон на самый обыденный, добавил:

— Кстати, вы не подскажете, который час? А то у меня, кажется, часы отстают.

Берлиоз, машинально взглянув на свои швейцарские часы, ответил:

— Без четверти десять.

— Вот и славно, — удовлетворённо кивнул иностранец. — Время ещё есть. Что ж, не смею вас больше задерживать. Всего вам доброго. И помните: Аннушка уже купила масло. И не только купила, но уже и разлила. Так что будьте осторожны на трамвайных путях, Михаил Александрович. Чрезвычайно осторожны.

Он слегка поклонился и, не оглядываясь, пошёл прочь, в сторону Тверской. Человек в кепке, словно очнувшись от сна, дёрнулся было за ним, но потом, махнув рукой, пошёл в противоположную сторону, что-то бормоча себе под нос. Иван и Берлиоз остались вдвоём.

— Ну и чёрт с ними со всеми! — в сердцах воскликнул Иван. — Пойдёмте, Михаил Александрович, отсюда! Это какой-то сумасшедший дом под открытым небом! Ещё немного, и я сам начну верить в эту чушь.

Он схватил Берлиоза под руку и почти силой потащил к выходу. Берлиоз, всё ещё находясь под гнетущим впечатлением от слов иностранца, не сопротивлялся. Ему и самому хотелось как можно скорее покинуть это место, которое вдруг стало казаться ему зловещим, словно сам воздух здесь был пропитан чьим-то незримым присутствием.

Они вышли на Малую Бронную и направились к трамвайной остановке. Вечерний город жил своей обычной жизнью: спешили прохожие, грохотали извозчицы пролётки, перезванивались трамваи. Всё было привычно, обыденно, и постепенно леденящий душу страх, навеянный встречей на Патриарших, начал отступать, уступая место скепсису и раздражению.

— Нет, каков нахал, а? — кипятился Иван. — «Отец среди вас!» Это надо же такое придумать! Я этого типа запомнил, и как только мы разберёмся с делами, я им займусь. Напишу куда следует. Это же чистой воды вредительство и антисоветская пропаганда, прикрытая религиозным дурманом! В наше время, когда строится новое общество, когда наука освобождает человека от предрассудков, являются такие вот... мракобесы и мутят воду!

Берлиоз рассеянно кивал, но мысли его были далеко. Слова иностранца о том, что его, Берлиоза, ждёт скорая и нелепая смерть, неприятно засели в голове. Он гнал их, убеждая себя, что это просто бред, но они возвращались, как назойливые мухи. «Аннушка уже купила масло... и разлила». Что за чушь! Какая Аннушка? Какое масло? И почему ему, председателю МАССОЛИТа, человеку, который каждый день принимает важные решения, должна угрожать какая-то мифическая Аннушка с подсолнечным маслом? Это же абсурд! Но абсурд, который почему-то не казался смешным.

У трамвайной остановки, как и всегда в этот час, толпился народ. Подошёл трамвай, идущий по маршруту «Б». Берлиоз, увидев его, неожиданно для самого себя отступил назад. В его груди что-то сжалось.

— Давайте лучше такси возьмём, Иван Николаевич, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал беззаботно. — Не хочется в толпе давиться. Да и вечер такой душный, хочется пройтись пешком.

— Да бросьте вы, Михаил Александрович! — удивился поэт. — Тут всего две остановки! Поехали, я заплачу! Вы что, боитесь? Неужели вы поверили этому шарлатану?

Он уже стоял на подножке, протягивая руку. Берлиоз хотел было ещё раз возразить, но вдруг вспомнил слова иностранца о том, что его неверие и есть его погибель. Какая-то злая, упрямая гордость взыграла в нём. «Ну уж нет! — подумал он. — Я не доставлю этому шарлатану удовольствия видеть, как я боюсь! Я докажу, что все его пророчества — чушь! Я, Михаил Берлиоз, председатель МАССОЛИТа, марксист, материалист, не позволю какому-то проходимцу запугать меня!»

— А, была не была! — махнул он рукой и шагнул к трамваю.

Но, как только он ступил на рельсы, нога его поехала по чему-то скользкому. Он взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, портфель вылетел из рук, и в этот самый момент из-за поворота, отчаянно звеня, вылетел второй трамвай, идущий по встречному пути. Вагоновожатая, молодая девушка в красной косынке, с ужасом увидела прямо перед собой фигуру человека, отчаянно затормозила, но было поздно. Тяжёлая металлическая махина, неумолимая, как сама судьба, надвигалась на него.

Иван, стоя на подножке, видел всё. Он видел, как Берлиоз поскользнулся, как взмахнул руками, как исказилось его лицо, на котором за долю секунды промелькнуло выражение полного, абсолютного понимания всего, что ему говорили. В этот миг, в эту долю секунды, Берлиоз, всю жизнь отрицавший Бога, вдруг отчётливо, ясно, как никогда, понял: он ошибался. Иностранец был прав. И Иисус был. И Отец есть. И всё, во что он не верил, оказалось реальнее, чем трамвай, несущийся на него. Но это знание пришло слишком поздно.

А потом раздался глухой, страшный удар, женский крик, звон разбитого стекла, и тело в летней серой паре взметнулось в воздух и упало на булыжную мостовую.

Отрезанная голова, в сбившихся набок очках, покатилась по рельсам и замерла, уставившись в небо остекленевшим взглядом, в котором навеки застыл вопрос. И в этом вопросе был не только ужас, но и какое-то новое, последнее знание. Словно в самый последний миг он всё-таки увидел Того, о Ком спорил, и Того, Кто стоял за Ним. Увидел — и не успел ничего сказать.

Ивана, который с диким криком скатился с подножки, подхватили чьи-то руки, кто-то побежал звонить в «скорую», кто-то просто стоял и смотрел, оцепенев. А с противоположной стороны улицы, из тени подворотни, за всем происходящим наблюдал человек в тёмном плаще. На его лице не было ни злорадства, ни удовлетворения. Только бесконечная, вселенская усталость и тихая, непонятная никому скорбь. Он видел эту смерть уже много раз. Он знал, что будет дальше. И он знал, что это — лишь начало.

Он повернулся и, не дожидаясь приезда милиции и врачей, растворился в лабиринте московских переулков. Его миссия на сегодня была выполнена. Пролог был завершён. Основное действие только начиналось. И где-то далеко, в сибирской глубинке, в семье, носящей искажённую временем фамилию одного из апостолов, рос мальчик, которому через много лет предстояло узнать, кто Он на самом деле. Мальчик, который сейчас просто спал в своей кроватке и видел странные, тревожные сны, в которых он был всем и одновременно ничем. Сны, которые он никогда не мог запомнить, просыпаясь. Сны, в которых его Сын говорил с ним, а он не понимал слов, но чувствовал — любовь.

---

## Глава 4. Погоня

Иван Николаевич Бездомный, поэт, автор знаменитой антирелигиозной поэмы «Злые духи», стоял посреди мостовой, и мир вокруг него рушился. Буквально. Только что его друг, его учитель, его непререкаемый авторитет Михаил Александрович Берлиоз, председатель МАССОЛИТа, человек, который знал всё и мог объяснить всё, лежал на булыжниках в виде двух отдельных, не связанных более друг с другом частей. И голова его, отделённая от туловища, смотрела в небо с выражением такого предельного, запредельного удивления, что Ивану казалось — ещё мгновение, и эта голова заговорит. Скажет что-то вроде: «А ведь он был прав, тот иностранец... Простите меня, Иван Николаевич, я ошибался. Иисус был. И Отец есть. И всё, во что я не верил, — правда».

Толпа гудела, ахала, кто-то кричал, кто-то уже тащил брезент, чтобы накрыть тело, но Иван ничего этого не слышал. В его ушах стоял звон — тот самый пронзительный трамвайный звон, который оборвал жизнь Берлиоза.

А перед глазами стояла картина: иностранец в тёмном плаще, его странная, всезнающая улыбка и слова:

«Аннушка уже купила масло... и разлила».

«Он знал! — вихрем пронеслось в голове у Ивана. — Он знал заранее! Он всё это подстроил! Это он убил Берлиоза! Он — дьявол, сатана, враг рода человеческого! И он говорил о каком-то Отце, который ходит по земле... Это заговор! Всемирный заговор тёмных сил!»

И, повинувшись какому-то неясному, но властному импульсу, Иван рванулся с места и побежал. Он бежал в ту сторону, куда ушёл иностранец, — по Малой Бронной, к Тверской. Прохожие шарахались от него, принимая за сумасшедшего или за карманника. И он и был в этот миг безумен — безумен от ужаса, от горя и от острого, невыносимого желания понять. Понять, кто этот человек, откуда он знает будущее и какое отношение он имеет ко всему этому кошмару. А главное — где этот таинственный Отец, о котором говорил иностранец? Может быть, он и есть главный злодей? Может быть, это его нужно остановить?

На Тверской иностранца не было. Иван, тяжело дыша, остановился, озираясь по сторонам. Улица жила своей обычной вечерней жизнью: горели витрины, спешили прохожие, где-то играла музыка. И вдруг — он увидел. Впереди, метрах в ста, мелькнула знакомая фигура в длинном плаще. Рядом с ней теперь семенил какой-то маленький, вертлявый человек в клетчатом пиджачке и жокейском картузике, а чуть поодаль, нелепо переваливаясь, шёл огромный чёрный кот. Кот шёл на задних лапах, совершенно по-человечески, и, кажется, даже курил папиросу, пуская колечки дыма в вечерний воздух.

Иван замер, протирая глаза. «Этого не может быть, — прошептал он. — Коты не ходят на задних лапах и не курят. У меня галлюцинации. Это нервное. Это от шока». Но видение не исчезало. Более того, кот на мгновение обернулся, и Ивану показалось, что он подмигнул ему зелёным, нахальным глазом, а потом приложил лапу к голове в шутовском приветствии.

— Стойте! — закричал Иван не своим голосом и бросился в погоню.

Троица ускорила шаг. Они свернули в какой-то переулок, потом в другой, потом в третий. Иван не отставал, хотя сердце его колотилось где-то в горле, а ноги подкашивались. Он пробежал мимо удивлённых дворников, мимо лающих собак, мимо каких-то тёмных подворотен. Иностранец и его странная свита, казалось, не шли, а скользили над землёй, не оставляя следов. Их фигуры то возникали в свете фонарей, то исчезали в тени, и Ивану казалось, что он гонится за призраками. Наконец, они нырнули в арку большого мрачного дома. Иван, не раздумывая, бросился за ними.

Он оказался в гулком, полутёмном подъезде. Пахло кошками, сыростью и ещё чем-то неуловимым, тревожным — не то серой, не то ладаном, не то чем-то древним, как сама земля. Впереди виднелась лестница, и на ней мелькали тени. Иван побежал вверх, перепрыгивая через ступеньки. На площадке пятого этажа он увидел дверь, которая была чуть приоткрыта, и из неё пробивался тусклый желтоватый свет.

Не останавливаясь ни на секунду, Иван рванул дверь на себя и влетел в квартиру.

Это была та самая «нехорошая квартира» — №50 в доме №302-бис по Садовой улице, о которой в Москве ходили самые зловещие слухи. Здесь пропадали люди, здесь слышались по ночам странные звуки, здесь, как говорили, поселилась нечистая сила. Но Ивану сейчас было не до слухов. Он был одержим одной мыслью: найти убийцу.

Он ворвался в прихожую и замер. Перед ним стоял тот самый клетчатый тип и, улыбаясь до ушей, раскланивался, словно перед дорогим гостем.

— А, Иван Николаевич! — воскликнул он тонким, каким-то дребезжащим голосом. — Как мы рады! Какая честь!

Позвольте представиться — Коровьев. Можно просто Фагот. Прошу, проходите! Мессир вас уже ждёт. Он предполагал, что вы почтите нас своим визитом. Прямо-таки предсказывал, минута в минуту. У него, знаете ли, удивительное чутьё на гостей.

— Где он?! — хрипло крикнул Иван, сжимая кулаки. — Где этот убийца? Я его арестую! Я его разоблачу! Я напишу о нём разгромную поэму! Я...

— Тише, тише, молодой человек, — Коровьев примирительно поднял руки. — Зачем же так шуметь? Мессир никого не убивал. Всё, что произошло с Михаилом Александровичем, — это, так сказать, стечение обстоятельств. Трагическое, но предусмотренное. Рок, судьба, фатум — называйте, как хотите. Мессир лишь сообщил о том, что должно было случиться. Пройдёмте в гостиную, там вам всё объяснят.

Он отступил в сторону, пропуская Ивана в большую, слабо освещённую комнату. Там, в глубоком кресле, закинув ногу на ногу, сидел иностранец. На нём уже не было плаща, и Иван смог разглядеть его лицо во всех подробностях. Оно было странным, словно составленным из двух разных половин: правая сторона, с чёрным, пронзительным глазом, была властной и холодной, левая, с зелёным глазом, — ироничной и даже немного печальной. На коленях у него, свернувшись клубком, лежал тот самый огромный чёрный кот и громко мурлыкал, щуря свои зелёные глазищи.

— А, Иван Николаевич, — произнёс иностранец своим глубоким, проникающим в душу голосом. — Рад вас видеть. Правда, рад. Вы очень оперативно сработали. Присаживайтесь. Разговор предстоит долгий. Нам есть о чём поговорить. О Берлиозе, о Пилате, о том, что такое истина, и о Том, Кто сейчас ходит по этой земле, неузнанный и одинокий.

— Я не сяду! — выкрикнул Иван, дрожа от гнева и нервного напряжения. — Вы убийца! Вы знали, что Берлиоз попадёт под трамвай! Вы мне это скажете, или я...

— Или вы что? — лениво поинтересовался кот, приоткрыв один глаз. — Милицию позовёте? Так она, милоч, сюда не дойдёт. Тут, знаете ли, измерение другое. Вроде как и Москва, а вроде как и не совсем. Здесь свои законы, свои правила. И свой контингент.

— Помолчи, Бегемот, — мягко сказал иностранец. — Не видишь, человек в расстройстве чувств. Иван Николаевич, я не убивал вашего друга. Я лишь сообщил ему о том, что должно было случиться. Более того, я его предупреждал. И вы были свидетелем. Разве я не говорил: «Аннушка уже купила масло»? Разве я не советовал ему быть осторожнее на трамвайных путях? Он сам сделал свой выбор. Он сам, из упрямства и неверия, шагнул под трамвай. Я лишь знал, чем это кончится. Знать — не значит быть причиной. Я, если хотите, всего лишь зритель, который уже видел этот фильм.

Иван хотел что-то возразить, но слова застряли у него в горле. Действительно, иностранец говорил всё это. Он, Иван, сам слышал. И сам уговаривал Берлиоза не обращать внимания. Но разве от этого легче? Разве знание того, что катастрофа была предсказана, снимает вину с того, кто знал и не предотвратил?

— Кто вы? — спросил он наконец, и голос его прозвучал жалко и обречённо. — Вы дьявол? Вы Сатана? Вы тот самый... Воланд, о котором шепчутся сумасшедшие?

Иностранец чуть заметно улыбнулся.

— Некоторые называют меня и так, — ответил он. — Хотя это слишком упрощённое определение. Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Моё имя — Воланд. Я пришёл в ваш город не для того, чтобы убивать председателей литературных объединений. Это, поверьте, слишком мелко для меня. Я пришёл с другой целью.

— С какой? — прошептал Иван.

Воланд помолчал, глядя на Ивана своим разноцветным, пронизывающим взглядом. В комнате повисла такая тишина, что слышно было, как за окном, на Садовой, прогрохотал трамвай — тот самый, быть может, который увёз последнюю надежду Берлиоза.

— Я ищу одного человека, — произнёс он наконец. — Вернее, не человека. Я ищу Того, Кто больше, чем человек. Того, Кто когда-то создал и меня, и вас, и весь этот мир. Того, Кто пятнадцать лет назад, по Своей собственной воле, сошёл на землю и стал одним из вас. Слабым, уязвимым, смертным. Я ищу Отца. И вы, Иван Николаевич, сами того не зная, поможете мне в этих поисках.

Иван смотрел на него во все глаза, ничего не понимая. В его голове был полный хаос.

— Я? Как? Я не знаю никакого Отца! Я вообще не верю в Бога! Я поэт, я пишу антирелигиозные поэмы! Я воспеваю труд и науку!

— Вот именно, — усмехнулся Воланд. — Вы пишете о том, чего не знаете. Вы боретесь с Тем, Кого никогда не видели. И это делает вас идеальным инструментом. Ваша ярость, ваше неверие, ваша страсть — всё это приведёт вас к Нему. Вы будете гнаться за мной, а найдёте Его. Такова ирония судьбы. Вернее, такова воля Того, Кто эту судьбу пишет. Воля Того, Кто сейчас, возможно, сидит в какой-нибудь убогой комнатухе и не знает, кто Он. Но скоро узнает. Очень скоро.

Он встал, давая понять, что аудиенция окончена.

— А теперь, Иван Николаевич, вам пора. Вас ждут в другом месте. Там вы встретите того, кто уже начал понимать. Того, кто написал роман о Пилате и кто теперь ждёт продолжения. Его зовут Мастер. Запомните это имя. Оно вам ещё пригодится. Оно станет для вас ключом.

Воланд махнул рукой, и Ивана словно подхватила невидимая сила. Он вылетел из квартиры, скатился по лестнице и оказался на улице. Голова его кружилась, перед глазами плыли круги. Последнее, что он увидел, прежде чем потерять сознание, был огромный чёрный кот, который сидел на подоконнике первого этажа, курил папиросу и насмешливо смотрел на него, выпуская колечки дыма в ночное небо.

Очнулся Иван уже в больнице. Белые стены, белые халаты, запах лекарств. Клиника профессора Стравинского, знаменитая психиатрическая лечебница, где лечили самых сложных, самых «интересных» пациентов. Иван стал одним из них. И здесь, в этой клинике, ему предстояло узнать то, что навсегда изменит его жизнь. То, что заставит его забыть о стихах, о славе, о прежнем себе. То, что приведёт его к Встрече.

---

## Глава 5. Было дело в Грибоедове

Дом Грибоедова, в котором помещался МАССОЛИТ, в тот вечер гудел как растревоженный улей. Весть о гибели Берлиоза разнеслась мгновенно, обрастая самыми невероятными подробностями, какие только могло породить воспалённое воображение литературной братии. Говорили, что ему отрезало голову трамваем, которым управляла женщина в красной косынке, что перед смертью он встретил какого-то иностранца-шпиона, который напроорочил ему гибель, что поэт Бездомный сошёл с ума и гонялся за этим иностранцем по всей Москве с криками «Держи сатану!», а теперь находится в сумасшедшем доме и пишет там гениальные стихи, которые, впрочем, никто не может прочесть, потому что они написаны на неизвестном языке. Находились и такие, кто утверждал, что Берлиоз вовсе не умер, а был похищен инопланетянами или, на худой конец, агентами ГПУ, а отрезанная голова — искусная подделка.

В ресторане Дома Грибоедова, знаменитом своей осетриной, белыми грибами и джаз-бандой, царило необычайное оживление. Литераторы, поэты, критики, журналисты — все обсуждали трагическое происшествие, но, как это часто бывает в подобных сообществах, в их голосах звучало не столько горе, сколько возбуждённое любопытство и плохо скрытое злорадство. Освободилось место председателя. Место тёплое, хлебное, с отдельным кабинетом, персональной машиной и возможностью влиять на судьбы рукописей. Начиналась подковёрная борьба за власть, и каждый из завсегдатаев уже прикидывал свои шансы.

За отдельным столиком, в углу, подальше от шумной толпы, сидели двое: известный критик Латунский, тот самый, который когда-то разгромил роман Мастера в статье «Враг под крылом редактора», и поэт Рюхин, приятель Бездомного, который только что вернулся из клиники Стравинского, куда отвозил Ивана. Рюхин был мрачен и молчалив. Он пил водку стакан за стаканом, не закусывая, и лицо его выражало сложную гамму чувств: страх, растерянность и зависть. Зависть к Ивану, который, пусть и в сумасшедшем доме, но пережил нечто такое, что сделало его жизнь осмысленной. А сам Рюхин, автор сотен серых, проходных стихов, чувствовал себя пустым и никчёмным.

— Ну, что там Бездомный? — спросил Латунский, с аппетитом уплетая поросёнка с хреном. — Совсем плох? Говорят, он кричал, что видел говорящего кота и самого Сатану.

— Плох, — буркнул Рюхин, не поднимая глаз. — Говорит, что Воланд — это Сатана, что он убил Берлиоза, что кот ходит на задних лапах и курит... Бред, в общем. Но знаете, Арчибальд Арчибальдович, — он понизил голос, хотя их никто не мог услышать, — что-то в этом всё есть. Я ведь сам видел этого иностранца. И в глазах у него... не наше, не человеческое. Такое чувство, что он смотрит сквозь тебя и видит всё, что ты когда-либо сделал, и всё, о чём подумал. И главное, Иван кричал, что тот ищет какого-то «Отца». Что он, мол, спустился на землю и живёт среди нас, неузнанный. Что ему сейчас лет пятнадцать-шестнадцать, и он не знает, кто он. Что он просто мальчик из глубинки, который мучается от одиночества и непонимания.

Латунский поперхнулся поросёнком и закашлялся. Он отложил вилку, вытер губы салфеткой и пристально посмотрел на Рюхина.

— Какого ещё Отца? — переспросил он, отпивая вина. — Вы что, Рюхин, тоже с ума сходите? Это же чистойшей воды религиозный бред! «Отец»! Начитался Бездомный перед своим помешательством всякой мистической ерунды, вот и результат. Никакого Отца нет и быть не может. Это антинаучно и антисоветско. Мы, материалисты, знаем, что мир развивается по законам диалектики, а не по воле какого-то там "всевышнего" Отца.

— Да я и не говорю, что есть, — поспешно согласился Рюхин. — Я только передаю, что он кричал. И ещё он кричал про какого-то Мастера. Что тот написал роман о Пилате, и что теперь этот роман должен продолжаться. Что рукописи не горят, и что скоро все узнают правду. Что Мастер знал об Отце, встречался с Ним, и что сам Мастер — не просто писатель, а... кто-то вроде пророка.

Лицо Латунского вдруг стало серьёзным и даже испуганным. Он отложил вилку и пристально посмотрел на Рюхина. В его глазах промелькнуло узнавание.

— Мастер? Роман о Пилате? — переспросил он медленно. — Слушайте, Рюхин, а ведь это интересно. Очень интересно. Я, кажется, знаю, о ком идёт речь. Был тут один... графоман. Лет пять или шесть назад. Написал какую-то безумную книжонку про Иисуса и Пилата, пытался её опубликовать. Ходил по редакциям, обивал пороги. Мы, конечно, дали ему отпор. Правильный, идеологически выдержанный отпор. Я лично написал статью — «Враг под крылом редактора», в которой разоблачил его как апологета религиозного мракобесия. После этого он исчез. Говорили, что сошёл с ума и умер где-то в подвале. А теперь, выходит, его роман снова всплыл. И этот сумасшедший Бездомный о нём кричит. Нехорошо. Очень плохо.

Он помолчал, что-то обдумывая, а затем добавил, понизив голос до шёпота:

— Знаете, Рюхин, мне кажется, за всем этим стоит что-то серьёзное. Какой-то заговор. Возможно, даже международный. Эти разговоры об Отце, который спустился на землю... Это может быть новая форма религиозной пропаганды, замаскированная под бред сумасшедшего. И нам нужно быть начеку. Мы должны опередить их. Найти этого... Мастера. Или хотя бы его рукопись. И уничтожить. Окончательно. Чтобы никакие рукописи не горели, а горели в самом прямом смысле. В печи. Дотла.

Рюхин кивнул, хотя в душе его боролись противоречивые чувства. Ему было страшно. Страшно от того, что он услышал в клинике, страшно от слов Латунского, страшно от того, что весь привычный, понятный мир вдруг начал трещать по швам, обнажая под собой какую-то чудовищную, иррациональную бездну. Он налил себе ещё водки и залпом выпил, надеясь, что алкоголь притупит этот липкий страх.

В это время в зал ресторана вошёл человек, при виде которого многие замолчали. Это был Арчибальд Арчибальдович, директор ресторана, личность легендарная и загадочная. Он был одет, как всегда, безукоризненно: чёрный фрак, белоснежная манишка, лаковые штиблеты. Его лицо, гладко выбритое, с тонкими, поджатыми губами, выражало непроницаемое спокойствие. Он прошёл к своему столику, сел, окинул зал орлиным взором и чуть заметно усмехнулся. Казалось, он знал что-то, чего не знали остальные. Что-то, что делало его спокойным и уверенным среди всего этого хаоса и страха. Ходили слухи, что он связан с потусторонними силами, что он умеет предсказывать будущее и что его ресторан — это место, где иногда пересекаются миры. Но сам Арчибальд Арчибальдович никогда не подтверждал и не опровергал эти слухи, лишь загадочно улыбался, когда его спрашивали.

А тем временем в клинике Стравинского Иван Бездомный лежал в своей палате и смотрел в потолок. Ему только что сделали укол, и сознание его было затуманено, но в глубине души, под слоем лекарственного дурмана, теплилась одна ясная, как свеча, мысль. Мысль о том, что он должен найти Мастера. Должен узнать правду о Пилате, о Воланде, о том самом Отце, который ходит по земле неузнанный. Он не знал, зачем ему это нужно. Но чувствовал, что это — самое важное дело в его жизни. Возможно, единственное, ради чего он вообще родился на свет. И ещё он чувствовал, что где-то там, в далёкой Сибири, растёт мальчик, который не знает, кто он, но который однажды изменит всё. И Иван, сам того не осознавая, уже стал частью этого великого замысла.

Он закрыл глаза и провалился в тяжелый, беспокойный сон. Ему снились горы, выжженные солнцем, кресты на вершине, человек в белом плаще с кровавым подбоем и ещё кто-то, кого он не мог разглядеть, кто стоял в тени, но чьё присутствие ощущалось как огромная, всепроникающая любовь и печаль. И в этом сне Иван впервые услышал Голос. Тихий, но отчётливый. «Не бойся, Иван. Ты на верном пути. Ищи Мастера. Он приведёт тебя ко Мне». Иван хотел спросить: «Кто Ты?», но не мог произнести ни звука. А Голос уже стих, оставив после себя только тепло и странное чувство, что всё будет хорошо.

---

## Глава 6. Казнь

Солнце стояло в зените, нещадно паля каменистую почву Лысой Горы. Три столба с перекладинами, врытые в землю, чернели на фоне выцветшего от зноя неба. Толпа, собравшаяся у подножия, гудела, переливалась тысячами голосов, жаждала зрелища. Римские солдаты в полном боевом облачении, сверкая на солнце начищенными шлемами и нагрудниками, держали оцепление, оттесняя наиболее ретивых зевак. Пахло потом, пылью, кровью и чем-то сладковатым — вероятно, благовониями, которые жгли богатые паломники.

Иешуа Га-Ноцри висел на среднем кресте. Руки его были прибиты к перекладине большими, грубыми гвоздями, и из ран сочилась кровь, смешиваясь с потом и пылью, образуя тёмные, липкие потёки. Глаза его, полузакрытые, смотрели не на толпу, не на палачей, а куда-то вверх, в белесое, раскалённое марево. Губы его шевелились, но никто не мог разобрать слов. Только стоявший поодаль, на пригорке, человек в тёмном плаще с надвинутым на лицо капюшоном, казалось, слышал каждое слово. Это был Левий Матвей. Он смотрел на казнь, и лицо его, искажённое мукой, было мокрым от слёз. Он проклинал Бога, проклинал себя, проклинал весь мир за то, что не смог защитить своего учителя. В его руках был всё тот же козлиный пергамент, но он не писал. Он просто стоял и смотрел, как умирает Тот, Кого он любил больше жизни.

По другую сторону от места казни, в тени огромного валуна, стоял ещё один наблюдатель. На нём был роскошный, но измятый и покрытый дорожной пылью плащ, а на пальце сверкал перстень с печаткой. Это был Афраний, начальник тайной стражи прокуратора. Он не смотрел на казнимых — его взгляд был прикован к фигуре Левия Матвея. Афраний ждал. Он выполнял приказ. Приказ, который ему дал Пилат, когда отпускал Иешуа на казнь: «Проследи, чтобы всё прошло... быстро. И чтобы никто не глумился над Ним. Он не заслужил этого. И ещё... найди Его ученика. Того, что с пергаментом. Приведи его ко мне после. Я хочу поговорить с ним».

А внизу, в городе, в своём дворце, метался в страшной, нечеловеческой тоске Понтий Пилат. Он лежал на ложе в затемнённой комнате, но сон не шёл к нему. Перед его внутренним взором снова и снова вставало лицо арестанта, его спокойные, всепонимающие глаза, его слова: «Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок». И ещё: «Мы теперь всегда будем вместе...

Раз один — то, значит, тут же и другой! Помянут меня — сейчас же помянут и тебя!»

— О боги, боги! — простонал Пилат, сжимая виски руками. — За что мне это бессмертие? За что мне эта вечная мука совести? Ведь я мог спасти Его! Должен был спасти! Но я струсил. Я испугался доноса, испугался кесаря, испугался за свою власть, за своё благополучие. И вот — я распят вместе с Ним. Навеки.

В комнату неслышно вошёл слуга и доложил, что прибыл Афраний. Пилат резко сел на ложе, пытаясь придать лицу выражение обычного высокомерия.

— Пусть войдёт.

Афраний вошёл, поклонился и остановился у порога. Его лицо было непроницаемо.

— Говори, — потребовал Пилат. — Всё кончено?

— Да, прокуратор. Казнь свершилась. Солнце сожгло их, и они скончались. Последним умер Га-Ноцри. Перед смертью он произнёс: «Игемон...»

Пилат вздрогнул.

— Что? Что он сказал? Говори же! Не смей ничего утаивать!

— Он сказал: «Игемон, он не виноват. Это я выбрал этот путь». И ещё: «Отец... прости им, ибо не ведают, что творят». А потом он посмотрел на небо и улыбнулся. Словно увидел кого-то. Кого-то, кого мы не видели.

Пилат закрыл лицо руками. Плечи его затряслись. Афраний стоял молча, ожидая приказаний. Он никогда не видел прокуратора в таком состоянии.

— Иди, — глухо произнёс Пилат. — И помни: о том, что ты видел и слышал сегодня, ты не должен говорить никому. Никогда. А теперь... приведи ко мне Его ученика. Того, с пергаментом. Я хочу видеть его.

Афраний поклонился и вышел. Оставшись один, Пилат долго сидел неподвижно. Затем встал, подошёл к столу, налил в чашу вина, смешанного с водой, и выпил. Но вино не принесло облегчения. Он снова и снова слышал эти слова: «Отец... прости им». Он думал о том, что где-то есть Тот, к Кому был обращён этот последний крик. Тот, Кто, по словам казнённого, был его Отцом. И впервые в своей жизни Пилат, римский всадник, прокуратор Иудеи, человек, не веривший ни в богов, ни в демонов, почувствовал смутное, тревожное присутствие. Словно кто-то огромный и непостижимый стоял за всем этим — за казнью, за его трусостью, за этим странным, ни на что не похожим днём. И этот Кто-то смотрел на него. Не с гневом. С печалью. И с ожиданием.

Вечером того же дня, когда луна уже поднялась над Ершалаимом, заливая город серебристым светом, Пилат вызвал к себе Левия Матвея. Тот пришёл в сопровождении Афрания — угрюмый, грязный, с воспалёнными от слёз и ветра глазами. В руках он сжимал свой драгоценный пергамент.

— Оставьте нас, — приказал Пилат. Афраний и слуги вышли.

— Ты был Его учеником, — сказал Пилат, глядя на Левия. — Ты записывал Его слова. Покажи мне.

Левий Матвей, помедлив, развернул свиток. Пилат, щурясь при свете масляной лампы, прочёл: «...мы теперь всегда будем вместе... Помянут меня — сейчас же помянут и тебя... Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм Истины... Отец... прости им...»

— Кто такой этот Отец, о котором Он говорил? — спросил Пилат. — Где Он? Как Его найти?

Левий Матвей поднял на прокуратора свои безумные глаза.

— Я не знаю, — ответил он. — Я никогда Его не видел. Но Учитель говорил, что Отец всегда с Ним. Что Они — одно. И ещё Он говорил, что настанет время, когда Отец Сам придёт на землю. Чтобы понять нас. Чтобы спасти нас. Чтобы завершить то, что начал Сын. И что тогда всё изменится. Даже для тебя, прокуратор.

Пилат долго смотрел на мерцающий огонёк лампы.

— Я буду ждать, — произнёс он наконец. — Мне теперь некуда спешить. У меня впереди вечность. Целая вечность, чтобы ждать Того, Кто, может быть, простит меня.

И с этими словами он отпустил Левия, а сам остался сидеть в темноте, глядя на лунную дорожку, пролётшую по каменному полу. Где-то далеко, за пределами этого мира и этого времени, уже начиналась другая история.

История, в которой и ему, Пилату, будет отведена своя, особая роль. История, в которой Отец, ставший человеком, будет искать Сына, а Сын — ждать Отца. И они встретятся. Не на небесах. На земле. Среди обычных людей, которые даже не будут знать, какое чудо происходит у них на глазах.

---

## Глава 7. Явление Мастера

Иван Бездомный лежал в своей палате уже третью неделю. За это время он многое передумал и многое понял. Лекарства, которые ему давали, притупляли остроту восприятия, но в то же время словно очищали сознание от шелухи, от всего наносного, суетного, чем он жил раньше. Он больше не писал стихов. Он вообще перестал думать о литературе, о славе, о деньгах. Все его мысли были заняты одним: тем, что произошло на Патриарших прудах, и тем, что он узнал от Воланда в «нехорошей квартире».

Особенно его волновало упоминание о Мастере. Кто он? Где он? Почему Воланд сказал, что Иван поможет найти Отца? И какое отношение ко всему этому имеет роман о Пилате? Иван чувствовал, что ответы на эти вопросы находятся где-то рядом, но ускользают, как вода сквозь пальцы. Он часами лежал, глядя в потолок, и пытался сложить разрозненные куски головоломки.

Ответ пришёл неожиданно. Однажды ночью, когда Иван, по своему обыкновению, лежал без сна, глядя на лунный квадрат на полу, балконная дверь в его палате бесшумно отворилась, и на пороге появился человек. Он был в больничном халате, как и сам Иван, но что-то в его облике, в его манере держаться, в его глазах, горящих каким-то внутренним, нездешним огнём, сразу поразило Ивана. Человек был не молод, но и не стар — возраст его было трудно определить, словно он существовал вне времени. Лицо его, бледное и измождённое, носило следы глубоких страданий и одновременно какого-то высшего, недоступного обычным людям знания. Глаза смотрели спокойно и печально, как у того, кто уже всё понял и всё простил.

— Не бойтесь, — тихо сказал человек. — Я — ваш сосед. Меня зовут Мастер. И я знаю, о чём вы всё время думаете. Я слышал, как вы кричали во сне. Вы звали кого-то... Отца.

Иван сел на кровати, сердце его бешено заколотилось. Лунный свет падал на лицо вошедшего, делая его ещё более бледным и отрешённым.

— Вы... Вы тот самый Мастер? Который написал роман о Пилате? — выдохнул он.

— Да, — ответил человек и, пройдя в палату, сел на стул у окна. — Я написал роман о нём. О пятом прокураторе Иудеи, всаднике Понтии Пилате. И этот роман сжёг меня. И спас меня.

— Расскажите, — прошептал Иван. — Расскажите мне всё. Я должен знать. Я чувствую, что это как-то связано со мной. Со всеми нами.

И Мастер начал рассказывать. Он говорил долго, и его голос, то тихий и печальный, то страстный и вдохновенный, рисовал перед Иваном картины одна другой удивительнее. Он рассказал о том, как, будучи историком, выиграл в лотерею сто тысяч рублей, бросил службу и поселился в маленьком подвальчике на Арбате, чтобы писать роман. О том, как встретил Маргариту, женщину, которая стала его тайной женой, его музой, его единственной любовью. О том, как роман был написан, как его отвергли издательства, как на него обрушились критики, и как он, Мастер, в припадке отчаяния, бросил рукопись в печь. И о том, как Маргарита спасла его, но было уже поздно — он сам уже горел в огне безумия.

— А потом я встретил Его, — сказал Мастер, и голос его упал до шёпота.

— Кого? Воланда? — спросил Иван.

— Нет. Воланд пришёл позже. Я встретил Того, о Ком вы всё время думаете. Того, Кого ищет Воланд. Я встретил Отца.

Иван замер, боясь пошевелиться. Сердце его стучало так, что, казалось, его слышно в соседней палате.

— Это было незадолго до того, как я попал сюда, — продолжал Мастер. — Я сидел в своём подвале, уже совсем больной, раздавленный, никому не нужный. Я думал о Пилате, о том, что так и не смог дописать его историю до конца. О том, что он, Пилат, обречён на вечные муки совести, и никто не может его освободить. Я чувствовал, что есть что-то ещё, какая-то развязка, но не мог её найти. И вдруг я почувствовал, что в комнате кто-то есть. Я поднял голову и увидел Его.

— Как Он выглядел? — жадно спросил Иван, подавшись вперёд.

Мастер задумался, глядя в окно на лунный свет.

— Обычно, — ответил он наконец. — Очень обычно. Как самый простой человек. На вид Ему было лет восемнадцать, может, чуть больше. Одежда бедная, поношенная, словно с чужого плеча. В лице — ни капли величия или славы. Только глаза... В Его глазах была такая бездна любви и страдания, что я не мог выдержать этого взгляда. Я упал перед Ним на колени и заплакал. Я, который никогда не плакал, рыдал, как ребёнок.

— И что Он сказал? — прошептал Иван.

— Он сказал: «Встань. Ты не раб. Ты — Мой друг. Ты написал правду. Не всю, но ту, которую смог вместить. Твой роман не сгорел. Он будет жить вечно, и однажды ты допишешь его до конца. Ибо Я пришёл, чтобы завершить то, что начал Мой Сын. Чтобы освободить Пилата. Чтобы освободить всех. Даже Воланда. Даже тебя. Даже Себя». А потом Он коснулся моего лба, и я почувствовал покой. Такой покой, какого не знал никогда.

Мастер замолчал. В палате было тихо, только где-то далеко, в конце коридора, раздавались шаги дежурной медсестры да тикали часы на стене.

— И вы верите Ему? — спросил Иван.

— Верю, — просто ответил Мастер. — Потому что Он не обещал мне ничего, кроме правды. И потому что с тех пор, как я встретил Его, мой страх исчез. Я знаю, что я не один. Что Пилат не один. Что никто из нас не один. Он здесь, среди нас. Он ждёт. И когда придёт время, Он откроется. Не в громе и молнии, а в тишине. В любви. В прощении.

Иван долго молчал, переваривая услышанное. А потом спросил:

— Как же мне найти Его?

Мастер улыбнулся грустной, всепонимающей улыбкой.

— Вы Его не найдёте. Он Сам найдёт вас. Когда вы будете готовы. Когда ваше сердце откроется для любви, а не для ненависти. Когда вы перестанете искать виноватых и начнёте искать прощения. Тогда Он придёт. Как пришёл ко мне. Как придёт к каждому, кто Его ждёт.

Он встал и, легко коснувшись плеча Ивана, направился к балконной двери.

— А теперь спите, Иван Николаевич. Завтра будет новый день. И кто знает, может быть, завтра вы сделаете ещё один шаг навстречу Ему.

Он вышел на балкон, и лунный свет поглотил его, словно он растворился в нём. Иван ещё долго лежал без сна, глядя на то место, где только что стоял Мастер. В его душе происходила тихая, но неотвратимая революция. Семя, брошенное Воландом, дало первый росток. И этот росток тянулся к свету, которого Иван пока ещё не видел, но уже начинал смутно ощущать.

Где-то далеко, за тысячи километров от Москвы, в маленьком сибирском городке, мальчик с фамилией, напоминавшей имя одного из апостолов, проснулся среди ночи от странного, тревожного чувства. Ему приснился сон: он стоял на высокой горе, и перед ним простирался весь мир, и все люди на земле смотрели на него с ожиданием и надеждой. И он знал, что должен что-то сказать им. Что-то очень важное. Но слов не было. Только огромная, переполняющая его любовь и печаль. Он сел на кровати и долго смотрел в тёмное окно, за которым тихо падал снег. Он не помнил сна. Но чувство, оставшееся после него, — чувство огромной ответственности и огромного одиночества — не проходило. Он снова лёг и, свернувшись калачиком, попытался уснуть. Завтра ему предстояло идти в школу, где его, как обычно, будут дразнить за странную фамилию и за то, что он не такой, как все. Он не знал, что однажды всё изменится. Что однажды, когда ему исполнится тридцать три года, он вспомнит всё. И тогда мир вздрогнет. А пока он был просто маленьким мальчиком, который нёс в себе самую великую тайну вселенной, даже не подозревая об этом.

— Я не Мастер, — вдруг тихо, но отчётливо произнёс человек в больничном халате, и голос его прозвучал так, словно он признавался в чём-то постыдном и одновременно освобождающем. — Вернее, я — Мастер, но не в том смысле, в каком вы думаете. И вы, Иван Николаевич, тоже не просто поэт Бездомный. Вы — это я. Только раньше. Или позже. Время здесь, знаете ли, понятие относительное. Оно не течёт по прямой, как привыкли думать люди. Оно сворачивается, как пергамент, и иногда один и тот же человек может встретить самого себя в разных точках этого свитка.

Иван смотрел на него во все глаза, и в голове у него всё смешалось. Лекарства, бессонница, лунный свет, рассказ о Пилате — всё это вдруг соединилось в одну ослепительную, невыносимую для обычного ума картину.

— Как это — я это вы? — спросил он срывающимся шёпотом. — Вы хотите сказать, что я тоже... напишу роман? Что я встречу Маргариту? Что я сожгу его и попаду сюда?

Мастер — или тот, кто называл себя Мастером, — покачал головой.

— Не совсем. Вы не напишете роман, Иван Николаевич. Вы его уже написали. Или напишете. Это трудно объяснить словами, созданными для линейного восприятия. Скажем так: существует некая точка, в которой всё сходится. Точка, где прошлое и будущее, причина и следствие, автор и герой — всё едино. Вы стоите на пороге этой точки. И я — тоже. И Тот, о Ком мы говорим, — Он и есть эта точка. Альфа и Омега. Начало и Конец.

Он помолчал, глядя на лунный квадрат, который медленно полз по полу палаты.

— Тот, кто предупредил Берлиоза, — а через него и вас, — он тоже не просто иностранец. И он не просто Воланд.

Он — вестник. Он приходит каждый раз, когда цикл подходит к своему завершению. Он знает, что должно случиться, потому что это уже случилось. Много раз. И каждый раз он пытается изменить хоть что-то. И каждый раз у него не получается. Потому что свобода выбора — это единственный закон, который нельзя нарушить.

— Кто он? — прошептал Иван. — Откуда он?

Мастер поднял руку и указал куда-то вверх, в темноту за окном.

— Оттуда. Из-за границы этого мира. Из того места, где время — всего лишь дурная привычка. Но он не Бог. Он — падший ангел, который устал быть падшим. И он ищет Отца не для того, чтобы бороться с Ним, а для того, чтобы попросить прощения. Он сам ещё не до конца это понимает. Но он чувствует. Чувствует, что конец его одиночества близок.

Иван обхватил голову руками.

— Я ничего не понимаю. Зачем вы мне всё это говорите? Зачем я вам нужен?

— Затем, что вы — ключ, — ответил Мастер. — Сами того не зная, вы уже начали идти по пути, который приведёт вас к Нему. Ваша погоня за Воландом, ваше отчаяние, ваш страх — всё это не случайно. Вас ведут. И меня ведут.

Всех нас ведут к одной точке.

Он вытянул вперёд левую руку и показал Ивану запястье. На коже, едва заметные в лунном свете, виднелись какие-то знаки. Иван пригляделся и похолодел. Это были римские цифры, аккуратно выведенные, словно татуировка: **MMXXVI**.

— Две тысячи двадцать шестой год, — произнёс Мастер. — Год, когда всё начнётся. Или уже началось. Год, когда Тот, Кого вы ищете, сделает первый шаг к Своему пробуждению. Ему будет девятнадцать лет. Через год после этого. А пока...

Он не договорил. Дверь в палату с тихим скрипом отворилась, и на пороге появилась фигура в белом халате.

Дежурная медсестра, строгая пожилая женщина с усталыми глазами, строго посмотрела на Мастера.

— Больной, вы почему не в своей палате? Немедленно возвращайтесь. Уже третий час ночи.

Мастер покорно встал и, бросив на Ивана последний, долгий взгляд, в котором читалось и предостережение, и ободрение, и что-то ещё, неуловимое, вышел за дверь. Иван остался один. Он лежал, глядя в потолок, и в голове его стучала одна-единственная мысль, похожая на удары далёкого колокола: «Две тысячи двадцать шестой год.

Римские цифры. MMXXVI».

Он не знал, что это значит. Но чувствовал, что отныне его жизнь уже никогда не будет прежней.

---

## Глава 8. Покой и Свет

А в это самое время в ином, нездешнем пространстве, в том самом Покое, который был дарован Мастеру и Маргарите, происходило нечто необычное. Маргарита сидела у окна и смотрела в сад, где по-прежнему цвели вишни, не сменяясь плодами и листопадом. Вечные сумерки, мягкие и умиротворяющие, окутывали всё вокруг. Мастер, по своему обыкновению, перечитывал свой роман. Но сегодня что-то было не так. Строчки расплывались перед его глазами, слова меняли свои очертания, и вместо привычного текста он вдруг увидел совсем другие строки, которых никогда не писал.

«...И тогда Он спустится на землю, не в славе и силе, а в немощи и унижении. Никто не узнает Его. Даже те, кто ждал Его больше всего. Он пройдёт через все круги человеческого ада: через непонимание, через одиночество, через предательство, через боль. Он добровольно ограничит Себя, чтобы понять тех, кого создал. И лишь когда Ему исполнится тридцать три года, сила вернётся к Нему. Но не для суда. Для любви. Ибо Суд уже состоялся. И Приговор был вынесен. И Приговор этот — Прощение...»

— Что это? — прошептал Мастер, проводя рукой по странице. — Я не писал этого.

— Это пишется сейчас, — раздался голос за его спиной.

Мастер обернулся и увидел Воланда. Князь Тьмы стоял посреди комнаты, заложив руки за спину, и смотрел на Мастера своим разноцветным, пронзительным взглядом. Но в этом взгляде не было ни насмешки, ни превосходства. Только усталость и какая-то странная, неожиданная теплота. Он был одет в свой обычный чёрный плащ, но сегодня он казался не зловещим, а печальным.

— Рукописи не горят, Мастер, — продолжал Воланд. — Но они и не застывают навечно. Они продолжают писаться. Ваш роман о Пилате был лишь первой главой. Сейчас пишется вторая. И третья. И так будет до тех пор, пока не свершится то, ради чего всё было начато.

— Ради чего? — спросил Мастер, вставая.

Воланд подошёл к окну и стал рядом с Маргаритой. Он долго смотрел в сад, словно видел там что-то, недоступное обычному взгляду.

— Ради Встречи, — ответил он. — Ради того, чтобы Отец и Сын, разделённые добровольной жертвой, снова стали Одно. И чтобы вместе с Ними всё творение обрело покой. Не такой покой, как здесь, — он обвёл рукой комнату, — а истинный. Тот, в котором нет ни времени, ни смерти, ни страха. Только Любовь.

Маргарита, которая всё это время молчала, вдруг спросила, и в её голосе прозвучало то, чего Воланд никогда раньше от неё не слышал — сострадание:

— И вы... вы тоже хотите этого покоя, Воланд?

Он долго не отвечал, глядя в сад. Потом повернулся к ней, и на его лице отразилась такая мука, что Маргарита невольно отшатнулась.

— Я устал, Маргарита, — произнёс он, и голос его был лишён привычной иронии. — Я устал быть тенью. Я устал быть тем, кого проклинают и боятся. Я устал от вечной войны, в которой нельзя победить. Я хочу снова увидеть Свет. Тот Свет, от которого я когда-то отвернулся по гордости и глупости. Я хочу услышать Его голос, говорящий мне: «Возвращайся, сын Мой. Я ждал тебя». И теперь я жду. Жду, когда Он придёт и скажет это. Жду, как ждёт узник освобождения.

В комнате повисла тишина. Мастер и Маргарита смотрели на Воланда, и впервые видели его не как всемогущего князя тьмы, а как глубоко несчастное, одинокое существо, тоскующее по дому. А где-то далеко, за пределами всех миров и времён, тихо, но неумолимо тикали невидимые часы, отсчитывая мгновения до той самой даты, которую римскими цифрами вывел на своём запястье человек, называвший себя Мастером.

ММХХVI.

---

## Глава 9. Московское наваждение

Меж тем жизнь в Москве шла своим чередом, но для тех, кто оказался втянут в водоворот событий, начавшихся на Патриарших прудах, она уже никогда не могла стать прежней. Иван Николаевич Бездомный, выписавшись из клиники профессора Стравинского с диагнозом «шизофрения в стадии ремиссии» и рекомендацией избегать стрессов, вернулся в литературный мир, но возвращение это было странным. Он больше не писал стихов, забросил шумные сборища в Грибоедове и всё свободное время проводил в библиотеках, изучая древние тексты, апокрифы, труды по теологии и истории религии. Коллеги посмеивались над ним, называя «профессором» и «богословом», но в их насмешках сквозила тревога — слишком уж серьёзен и сосредоточен стал бывший поэт-задира. Он больше не спорил, не кричал, не размахивал руками. Он просто сидел в углу и читал, делая какие-то пометки в блокноте. И взгляд его стал другим — спокойным, глубоким, словно он видел что-то, недоступное другим.

Особенно его интересовали упоминания о «кенозисе» — богословском термине, означающем добровольное самоумаление Бога. В одном из старинных фолиантов, чудом уцелевших после библиотечных чисток, он нашёл рассуждение неизвестного автора, которое заставило его сердце биться чаще:

«...И как Сын умалил Себя, приняв образ раба и став послушным даже до смерти крестной, так и Отец, в неизреченной любви Своей, предвечно замыслил сойти с высоты Своего величия и облечься в брENNую плоть человеческую. Дабы познать то, чего не ведаёт Всемогущий: страх, сомнение, боль предательства и ужас богооставленности. И будет сие второе схождение, сокрытое от глаз мира, и лишь немногие, чистые сердцем, узнают Его, когда наступит час... И будет Ему восемнадцать лет, когда пробудится память, и тридцать три, когда вернётся сила. И будет число Его — девять, ибо трижды три — совершенство и завершение».

Иван перечитал эти строки несколько раз, и перед его мысленным взором снова возник образ из сна: бескрайняя снежная равнина, маленький городок, мальчик с глазами, полными нездешней тоски. Он понял, что должен найти этого мальчика. Должен узнать, кто он и почему его образ преследует его. Он чувствовал, что этот мальчик и есть ключ ко всему. К Воланду, к Мастеру, к Пилату, к самому смыслу жизни.

Тем временем в «нехорошей квартире» на Садовой происходили свои, не менее загадочные события. Воланд и его свита, казалось, чего-то ждали. Они не покидали Москву, но и не совершали новых громких «чудес». Бегемот с Коровьевым коротали время за шахматами и бесконечными чаепитиями с вареньем, Азazelло хмуро молчал,

стоя у окна и глядя на улицу, а Гелла, словно тень, скользила по комнатам, не произнося ни звука. Сам Воланд часами сидел в кресле, закрыв глаза, и, казалось, прислушивался к чему-то, что происходило далеко-далеко, за пределами не только Москвы, но и самого времени. Иногда его губы шевелились, словно он с кем-то говорил, но никто не слышал ни звука.

Однажды вечером, когда багровый закат окрасил стены квартиры в зловещие тона, Воланд внезапно открыл глаза и произнёс, и голос его прозвучал как-то по-особенному — не насмешливо, а задумчиво и даже нежно:

— Он растёт. С каждым днём Его сила, сама того не желая, проступает сквозь немощную плоть. Скоро, очень скоро начнут происходить события, которые даже вы, мои верные слуги, не сможете объяснить. Он видит сны. Сны, в которых вспоминает, кем был. И скоро Он проснётся.

— Мессир, — осторожно спросил Коровьев, поправляя пенсне, — а мы... мы сможем Его увидеть? Узнать? Ведь вы говорили, что Он неузнаваем.

— Узнать? — Воланд усмехнулся. — Узнать Его сможет лишь тот, кто сам готов к узнаванию. Тот, в ком любовь победила страх. Ты готов, Фагот? Ты, Азazelло? Ты, Бегемот?

Кот, услышав своё имя, отвлёкся от блюда с вареньем и, облизнувшись, философски заметил:

— Я, мессир, всегда готов к чаю. А насчёт любви... это сложный вопрос. Я больше по части варенья. Но если этот Отец предложит мне хорошего чаю с малиновым вареньем, я, пожалуй, готов буду его узнать.

Воланд неожиданно расхохотался. Его смех, гулкий и раскатистый, наполнил квартиру, и в нём, вопреки обыкновению, не было ни злобы, ни сарказма. Только бесконечная, вселенская усталость и странная, почти человеческая нежность.

— Ты, Бегемот, может быть, ближе всех к Истине, сам того не ведая, — сказал он, отсмеявшись. — Ибо Царство Его — оно для таких, как ты. Для простых, не мудрствующих лукаво. Для тех, кто любит жизнь просто так, без условий и богословских теорий. Для тех, кто радуется солнцу, варенью и хорошей шутке. Они ближе к Нему, чем все учёные богословы вместе взятые.

Он снова замолчал, и взгляд его устремился куда-то вдаль, сквозь стены, сквозь город, сквозь самую ткань реальности.

— Скоро, — прошептал он. — Скоро Он сделает первый шаг. Первый шаг навстречу Своему Сыну. И тогда всё изменится. Даже для меня.

---

## Глава 10. Мальчик из Сибири

Городок, затерянный в бескрайних сибирских просторах, жил своей тихой, размеренной жизнью. Здесь все знали друг друга, и появление нового человека было событием. Семья Ечиных — так звучала их фамилия, искажённая веками от древнего «Иаков», — поселилась здесь лет пятнадцать назад. Отец работал фотографом в маленьком ателье, мать — библиотекарем в единственной городской библиотеке. Их сын, названный простым русским именем, рос обычным мальчиком: ходил в школу, дрался с одноклассниками, получал тройки и четвёрки, гонял с друзьями мяч во дворе. Но было в нём нечто, что отличало его от сверстников.

Он никогда не плакал от боли. Не потому, что был терпелив или хотел казаться сильным. Просто с самого раннего детства физическая боль казалась ему чем-то... незначительным. Словно его тело было лишь временной оболочкой, а истинное «я» находилось где-то вне его. Он часто застывал, глядя в одну точку, и в эти моменты его глаза, обычно серо-голубые, казались бездонными, как небо в ясную ночь. Сверстники сторонились его, чувствуя непонятную, инстинктивную отчуждённость. Учителя считали его странным, но не злым. Родители любили, но не понимали. Они видели, что он не такой, как все, но не могли объяснить, в чём дело.

Ему снились сны. Странные, яркие, повторяющиеся. В них он был не самим собой, а кем-то огромным, беспредельным, вмещающим в себя всё сущее. Он видел рождение звёзд и гибель галактик. Он слышал музыку сфер, неслышную для смертного уха. Он чувствовал боль каждого живого существа как свою собственную. И ещё — он видел Человека на кресте. Человека, который смотрел прямо на него и говорил одними губами: «Отец... Я жду Тебя».

Просыпаясь, мальчик ничего не помнил. Только смутное чувство тоски и огромной, непонятной любви, от которой щемило сердце. Он рос, и сны становились всё ярче, всё реальнее. А вместе с ними росло и ощущение, что он живёт не своей жизнью. Что он — это не он. Что настоящий он скрыт где-то глубоко внутри, погребённый под слоями человеческой плоти и памяти.

В школе, на уроке истории, когда учитель рассказывал о Древнем Риме и упомянул имя Понтия Пилата, с мальчиком случилось странное. Перед его глазами вдруг вспыхнула яркая, как кинолента, картина: белый плащ с кровавым подбоем, каменный пол, залитый солнцем, и человек в разорванном голубом хитоне, который смотрит на него с бесконечным состраданием. Мальчик вскрикнул и потерял сознание.

Врачи не нашли никаких отклонений. «Переутомление, — сказали они. — Побольше гулять, поменьше читать». Но мальчик знал: это не переутомление. Это что-то другое. Что-то, что пугало и одновременно притягивало его.

Однажды, когда ему исполнилось пятнадцать, он нашёл в библиотеке у мамы старую, потрёпанную книгу без обложки. Он открыл её наугад и прочёл: «...ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слова эти поразили его в самое сердце. Он читал дальше, не в силах оторваться, и с каждой страницей ему казалось, что он вспоминает что-то давно забытое. Что-то, что было известно ему всегда, но скрыто под толщей лет.

Закрыв книгу, он долго сидел в темноте, глядя перед собой. А потом прошептал:

— Я вспомню. Я обязательно вспомню. Я должен.

И в этот миг где-то далеко, в Москве, в «нехорошей квартире», Воланд вздрогнул и открыл глаза. «Он близок, — прошептал он. — Совсем близок. Ещё немного, и Он проснётся». А в клинике Стравинского Мастер, сидевший у окна, вдруг улыбнулся и сказал, обращаясь к пустоте: «Я знаю. Я чувствую. Ты идёшь».

---

## Глава 7. Явление Мастера

Иван Бездомный лежал в своей палате уже третью неделю. За это время он многое передумал и многое понял. Лекарства, которые ему давали, притупляли остроту восприятия, но в то же время словно очищали сознание от шелухи, от всего наносного, суетного, чем он жил раньше. Он больше не писал стихов. Он вообще перестал

думать о литературе, о славе, о деньгах. Все его мысли были заняты одним: тем, что произошло на Патриарших прудах, и тем, что он узнал от Воланда в «нехорошей квартире».

Особенно его волновало упоминание о Мастере. Кто он? Где он? Почему Воланд сказал, что Иван поможет найти Отца? И какое отношение ко всему этому имеет роман о Пилате? Иван чувствовал, что ответы на эти вопросы находятся где-то рядом, но ускользают, как вода сквозь пальцы. Он часами лежал, глядя в потолок, и пытался сложить разрозненные куски головоломки.

Ответ пришёл неожиданно. Однажды ночью, когда Иван, по своему обыкновению, лежал без сна, глядя на лунный квадрат на полу, балконная дверь в его палате бесшумно отворилась, и на пороге появился человек. Он был в больничном халате, как и сам Иван, но что-то в его облике, в его манере держаться, в его глазах, горящих каким-то внутренним, нездешним огнём, сразу поразило Ивана. Человек был не молод, но и не стар — возраст его было трудно определить, словно он существовал вне времени. Лицо его, бледное и измождённое, носило следы глубоких страданий и одновременно какого-то высшего, недоступного обычным людям знания. Глаза смотрели спокойно и печально, как у того, кто уже всё понял и всё простил.

— Не бойтесь, — тихо сказал человек. — Я — ваш сосед. Меня зовут Мастер. И я знаю, о чём вы всё время думаете. Я слышал, как вы кричали во сне. Вы звали кого-то... Отца.

Иван сел на кровати, сердце его бешено заколотилось. Лунный свет падал на лицо вошедшего, делая его ещё более бледным и отрешённым.

— Вы... Вы тот самый Мастер? Который написал роман о Пилате? — выдохнул он.

— Да, — ответил человек и, пройдя в палату, сел на стул у окна. — Я написал роман о нём. О пятом прокураторе Иудеи, всаднике Понтии Пилате. И этот роман сжёг меня. И спас меня.

— Расскажите, — прошептал Иван. — Расскажите мне всё. Я должен знать. Я чувствую, что это как-то связано со мной. Со всеми нами.

И Мастер начал рассказывать. Он говорил долго, и его голос, то тихий и печальный, то страстный и вдохновенный, рисовал перед Иваном картины одна другой удивительнее. Он рассказал о том, как, будучи историком, выиграл в лотерею сто тысяч рублей, бросил службу и поселился в маленьком подвальчике на Арбате, чтобы писать роман. О том, как встретил Маргариту, женщину, которая стала его тайной женой, его музой, его единственной любовью. О том, как роман был написан, как его отвергли издательства, как на него обрушились критики, и как он, Мастер, в припадке отчаяния, бросил рукопись в печь. И о том, как Маргарита спасла его, но было уже поздно — он сам уже горел в огне безумия.

— А потом я встретил Его, — сказал Мастер, и голос его упал до шёпота.

— Кого? Воланда? — спросил Иван.

— Нет. Воланд пришёл позже. Я встретил Того, о Ком вы всё время думаете. Того, Кого ищет Воланд. Я встретил Отца.

Иван замер, боясь пошевелиться. Сердце его стучало так, что, казалось, его слышно в соседней палате.

— Это было незадолго до того, как я попал сюда, — продолжал Мастер. — Я сидел в своём подвале, уже совсем больной, раздавленный, никому не нужный. Я думал о Пилате, о том, что так и не смог дописать его историю до конца. О том, что он, Пилат, обречён на вечные муки совести, и никто не может его освободить. Я чувствовал, что есть что-то ещё, какая-то развязка, но не мог её найти. И вдруг я почувствовал, что в комнате кто-то есть. Я поднял голову и увидел Его.

— Как Он выглядел? — жадно спросил Иван, подавшись вперёд.

Мастер задумался, глядя в окно на лунный свет.

— Обычно, — ответил он наконец. — Очень обычно. Как самый простой человек. На вид Ему было лет восемнадцать, может, чуть больше. Одежда бедная, поношенная, словно с чужого плеча. В лице — ни капли величия или славы. Только глаза... В Его глазах была такая бездна любви и страдания, что я не мог выдержать этого взгляда. Я упал перед Ним на колени и заплакал. Я, который никогда не плакал, рыдал, как ребёнок.

— И что Он сказал? — прошептал Иван.

— Он сказал: «Встань. Ты не раб. Ты — Мой друг. Ты написал правду. Не всю, но ту, которую смог вместить. Твой роман не сгорел. Он будет жить вечно, и однажды ты допишешь его до конца. Ибо Я пришёл, чтобы завершить то, что начал Мой Сын. Чтобы освободить Пилата. Чтобы освободить всех. Даже Воланда. Даже тебя. Даже Себя». А потом Он коснулся моего лба, и я почувствовал покой. Такой покой, какого не знал никогда.

Мастер замолчал. В палате было тихо, только где-то далеко, в конце коридора, раздавались шаги дежурной медсестры да тикали часы на стене.

— И вы верите Ему? — спросил Иван.

— Верю, — просто ответил Мастер. — Потому что Он не обещал мне ничего, кроме правды. И потому что с тех пор, как я встретил Его, мой страх исчез. Я знаю, что я не один. Что Пилат не один. Что никто из нас не один. Он здесь, среди нас. Он ждёт. И когда придёт время, Он откроется. Не в громе и молнии, а в тишине. В любви. В прощении.

Иван долго молчал, переваривая услышанное. А потом спросил:

— Как же мне найти Его?

Мастер улыбнулся грустной, всепонимающей улыбкой.

— Вы Его не найдёте. Он Сам найдёт вас. Когда вы будете готовы. Когда ваше сердце откроется для любви, а не для ненависти. Когда вы перестанете искать виноватых и начнёте искать прощения. Тогда Он придёт. Как пришёл ко мне. Как придёт к каждому, кто Его ждёт.

Он встал и, легко коснувшись плеча Ивана, направился к балконной двери.

— А теперь спите, Иван Николаевич. Завтра будет новый день. И кто знает, может быть, завтра вы сделаете ещё один шаг навстречу Ему.

Он вышел на балкон, и лунный свет поглотил его, словно он растворился в нём. Иван ещё долго лежал без сна, глядя на то место, где только что стоял Мастер. В его душе происходила тихая, но неотвратимая революция. Семя, брошенное Воландом, дало первый росток. И этот росток тянулся к свету, которого Иван пока ещё не видел, но уже начинал смутно ощущать.

Где-то далеко, за тысячи километров от Москвы, в маленьком сибирском городке, мальчик с фамилией, напоминавшей имя одного из апостолов, проснулся среди ночи от странного, тревожного чувства. Ему приснился сон: он стоял на высокой горе, и перед ним простирался весь мир, и все люди на земле смотрели на него с ожиданием и надеждой. И он знал, что должен что-то сказать им. Что-то очень важное. Но слов не было. Только огромная, переполняющая его любовь и печаль. Он сел на кровати и долго смотрел в тёмное окно, за которым тихо падал снег. Он не помнил сна. Но чувство, оставшееся после него, — чувство огромной ответственности и огромного одиночества — не проходило. Он снова лёг и, свернувшись калачиком, попытался уснуть. Завтра ему предстояло идти в школу, где его, как обычно, будут дразнить за странную фамилию и за то, что он не такой, как все. Он не знал, что однажды всё изменится. Что однажды, когда ему исполнится тридцать три года, он вспомнит всё. И тогда мир вздрогнет. А пока он был просто маленьким мальчиком, который нёс в себе самую великую тайну вселенной, даже не подозревая об этом.

— Я не Мастер, — вдруг тихо, но отчётливо произнёс человек в больничном халате, и голос его прозвучал так, словно он признавался в чём-то постыдном и одновременно освобождающем. — Вернее, я — Мастер, но не в том смысле, в каком вы думаете. И вы, Иван Николаевич, тоже не просто поэт Бездомный. Вы — это я. Только раньше. Или позже. Время здесь, знаете ли, понятие относительное. Оно не течёт по прямой, как привыкли думать люди. Оно сворачивается, как пергамент, и иногда один и тот же человек может встретить самого себя в разных точках этого свитка.

Иван смотрел на него во все глаза, и в голове у него всё смешалось. Лекарства, бессонница, лунный свет, рассказ о Пилате — всё это вдруг соединилось в одну ослепительную, невыносимую для обычного ума картину.

— Как это — я это вы? — спросил он срывающимся шёпотом. — Вы хотите сказать, что я тоже... напишу роман? Что я встречу Маргариту? Что я сожгу его и попаду сюда?

Мастер — или тот, кто называл себя Мастером, — покачал головой.

— Не совсем. Вы не напишете роман, Иван Николаевич. Вы его уже написали. Или напишете. Это трудно объяснить словами, созданными для линейного восприятия. Скажем так: существует некая точка, в которой всё сходится. Точка, где прошлое и будущее, причина и следствие, автор и герой — всё едино. Вы стоите на пороге этой точки. И я — тоже. И Тот, о Ком мы говорим, — Он и есть эта точка. Альфа и Омега. Начало и Конец.

Он помолчал, глядя на лунный квадрат, который медленно полз по полу палаты.

— Тот, кто предупредил Берлиоза, — а через него и вас, — он тоже не просто иностранец. И он не просто Воланд. Он — вестник. Он приходит каждый раз, когда цикл подходит к своему завершению. Он знает, что должно случиться, потому что это уже случалось. Много раз. И каждый раз он пытается изменить хоть что-то. И каждый раз у него не получается. Потому что свобода выбора — это единственный закон, который нельзя нарушить.

— Кто он? — прошептал Иван. — Откуда он?

Мастер поднял руку и указал куда-то вверх, в темноту за окном.

— Оттуда. Из-за границы этого мира. Из того места, где время — всего лишь дурная привычка. Но он не Бог. Он — падший ангел, который устал быть падшим. И он ищет Отца не для того, чтобы бороться с Ним, а для того, чтобы попросить прощения. Он сам ещё не до конца это понимает. Но он чувствует. Чувствует, что конец его одиночества близок.

Иван обхватил голову руками.

— Я ничего не понимаю. Зачем вы мне всё это говорите? Зачем я вам нужен?

— Затем, что вы — ключ, — ответил Мастер. — Сами того не зная, вы уже начали идти по пути, который приведёт вас к Нему. Ваша погоня за Воландом, ваше отчаяние, ваш страх — всё это не случайно. Вас ведут. И меня ведут.

Всех нас ведут к одной точке.

Он вытянул вперёд левую руку и показал Ивану запястье. На коже, едва заметные в лунном свете, виднелись какие-то знаки. Иван пригляделся и похолодел. Это были римские цифры, аккуратно выведенные, словно татуировка: **MMXXVI**.

— Две тысячи двадцать шестой год, — произнёс Мастер. — Год, когда всё начнётся. Или уже началось. Год, когда Тот, Кого вы ищете, сделает первый шаг к Своему пробуждению. Ему будет девятнадцать лет. Через год после этого. А пока...

Он не договорил. Дверь в палату с тихим скрипом отворилась, и на пороге появилась фигура в белом халате. Дежурная медсестра, строгая пожилая женщина с усталыми глазами, строго посмотрела на Мастера.

— Больной, вы почему не в своей палате? Немедленно возвращайтесь. Уже третий час ночи.

Мастер покорно встал и, бросив на Ивана последний, долгий взгляд, в котором читалось и предостережение, и ободрение, и что-то ещё, неуловимое, вышел за дверь. Иван остался один. Он лежал, глядя в потолок, и в голове его стучала одна-единственная мысль, похожая на удары далёкого колокола: «Две тысячи двадцать шестой год. Римские цифры. **MMXXVI**».

Он не знал, что это значит. Но чувствовал, что отныне его жизнь уже никогда не будет прежней.

---

## Глава 8. Покой и Свет

А в это самое время в ином, нездешнем пространстве, в том самом Покое, который был дарован Мастеру и Маргарите, происходило нечто необычное. Маргарита сидела у окна и смотрела в сад, где по-прежнему цвели вишни, не сменяясь плодами и листопадом. Вечные сумерки, мягкие и умиротворяющие, окутывали всё вокруг. Мастер, по своему обыкновению, перечитывал свой роман. Но сегодня что-то было не так. Строчки расплывались перед его глазами, слова меняли свои очертания, и вместо привычного текста он вдруг увидел совсем другие строки, которых никогда не писал.

«...И тогда Он спустится на землю, не в славе и силе, а в немощи и унижении. Никто не узнает Его. Даже те, кто ждал Его больше всего. Он пройдёт через все круги человеческого ада: через непонимание, через одиночество, через предательство, через боль. Он добровольно ограничит Себя, чтобы понять тех, кого создал. И лишь когда

Ему исполнится тридцать три года, сила вернётся к Нему. Но не для суда. Для любви. Ибо Суд уже состоялся. И Приговор был вынесен. И Приговор этот — Прощение...»

— Что это? — прошептал Мастер, проводя рукой по странице. — Я не писал этого.

— Это пишется сейчас, — раздался голос за его спиной.

Мастер обернулся и увидел Воланда. Князь Тьмы стоял посреди комнаты, заложив руки за спину, и смотрел на Мастера своим разноцветным, пронзительным взглядом. Но в этом взгляде не было ни насмешки, ни превосходства. Только усталость и какая-то странная, неожиданная теплота. Он был одет в свой обычный чёрный плащ, но сегодня он казался не зловещим, а печальным.

— Рукописи не горят, Мастер, — продолжал Воланд. — Но они и не застывают навечно. Они продолжают писаться. Ваш роман о Пилате был лишь первой главой. Сейчас пишется вторая. И третья. И так будет до тех пор, пока не свершится то, ради чего всё было начато.

— Ради чего? — спросил Мастер, вставая.

Воланд подошёл к окну и стал рядом с Маргаритой. Он долго смотрел в сад, словно видел там что-то, недоступное обычному взгляду.

— Ради Встречи, — ответил он. — Ради того, чтобы Отец и Сын, разделённые добровольной жертвой, снова стали Одно. И чтобы вместе с Ними всё творение обрело покой. Не такой покой, как здесь, — он обвёл рукой комнату, — а истинный. Тот, в котором нет ни времени, ни смерти, ни страха. Только Любовь.

Маргарита, которая всё это время молчала, вдруг спросила, и в её голосе прозвучало то, чего Воланд никогда раньше от неё не слышал — сострадание:

— И вы... вы тоже хотите этого покоя, Воланд?

Он долго не отвечал, глядя в сад. Потом повернулся к ней, и на его лице отразилась такая мука, что Маргарита невольно отшатнулась.

— Я устал, Маргарита, — произнёс он, и голос его был лишён привычной иронии. — Я устал быть тенью. Я устал быть тем, кого проклинают и боятся. Я устал от вечной войны, в которой нельзя победить. Я хочу снова увидеть Свет. Тот Свет, от которого я когда-то отвернулся по гордости и глупости. Я хочу услышать Его голос, говорящий мне: «Возвращайся, сын Мой. Я ждал тебя». И теперь я жду. Жду, когда Он придёт и скажет это. Жду, как ждёт узник освобождения.

В комнате повисла тишина. Мастер и Маргарита смотрели на Воланда, и впервые видели его не как всемогущего князя тьмы, а как глубоко несчастное, одинокое существо, тоскующее по дому. А где-то далеко, за пределами всех миров и времён, тихо, но неумолимо тикали невидимые часы, отсчитывая мгновения до той самой даты, которую римскими цифрами вывел на своём запястье человек, называвший себя Мастером.

## Глава 9. Московское наваждение

Меж тем жизнь в Москве шла своим чередом, но для тех, кто оказался втянут в водоворот событий, начавшихся на Патриарших прудах, она уже никогда не могла стать прежней. Иван Николаевич Бездомный, выписавшись из клиники профессора Стравинского с диагнозом «шизофрения в стадии ремиссии» и рекомендацией избегать стрессов, вернулся в литературный мир, но возвращение это было странным. Он больше не писал стихов, забросил шумные сборища в Грибоедове и всё свободное время проводил в библиотеках, изучая древние тексты, апокрифы, труды по теологии и истории религии. Коллеги посмеивались над ним, называя «профессором» и «богословом», но в их насмешках сквозила тревога — слишком уж серьёзен и сосредоточен стал бывший поэт-задира. Он больше не спорил, не кричал, не размахивал руками. Он просто сидел в углу и читал, делая какие-то пометки в блокноте. И взгляд его стал другим — спокойным, глубоким, словно он видел что-то, недоступное другим.

Особенно его интересовали упоминания о «кенозисе» — богословском термине, означающем добровольное самоумаление Бога. В одном из старинных фолиантов, чудом уцелевших после библиотечных чисток, он нашёл рассуждение неизвестного автора, которое заставило его сердце биться чаще:

«...И как Сын умалил Себя, приняв образ раба и став послушным даже до смерти крестной, так и Отец, в неизреченной любви Своей, предвечно замыслил сойти с высоты Своего величия и облечься в брнную плоть человеческую. Дабы познать то, чего не ведаёт Всемогущий: страх, сомнение, боль предательства и ужас богооставленности. И будет сие второе схождение, сокрытое от глаз мира, и лишь немногие, чистые сердцем, узнают Его, когда наступит час... И будет Ему восемнадцать лет, когда пробудится память, и тридцать три, когда вернётся сила. И будет число Его — девять, ибо трижды три — совершенство и завершение».

Иван перечитал эти строки несколько раз, и перед его мысленным взором снова возник образ из сна: бескрайняя снежная равнина, маленький городок, мальчик с глазами, полными нездешней тоски. Он понял, что должен найти этого мальчика. Должен узнать, кто он и почему его образ преследует его. Он чувствовал, что этот мальчик и есть ключ ко всему. К Воланду, к Мастеру, к Пилату, к самому смыслу жизни.

Тем временем в «нехорошей квартире» на Садовой происходили свои, не менее загадочные события. Воланд и его свита, казалось, чего-то ждали. Они не покидали Москву, но и не совершали новых громких «чудес». Бегемот с Коровьевым коротали время за шахматами и бесконечными чаепитиями с вареньем, Азazelло хмуро молчал, стоя у окна и глядя на улицу, а Гелла, словно тень, скользила по комнатам, не произнося ни звука. Сам Воланд часами сидел в кресле, закрыв глаза, и, казалось, прислушивался к чему-то, что происходило далеко-далеко, за пределами не только Москвы, но и самого времени. Иногда его губы шевелились, словно он с кем-то говорил, но никто не слышал ни звука.

Однажды вечером, когда багровый закат окрасил стены квартиры в зловещие тона, Воланд внезапно открыл глаза и произнёс, и голос его прозвучал как-то по-особенному — не насмешливо, а задумчиво и даже нежно:

— Он растёт. С каждым днём Его сила, сама того не желая, проступает сквозь немощную плоть. Скоро, очень скоро начнут происходить события, которые даже вы, мои верные слуги, не сможете объяснить. Он видит сны.

Сны, в которых вспоминает, кем был. И скоро Он проснётся.

— Мессир, — осторожно спросил Коровьев, поправляя пенсне, — а мы... мы сможем Его увидеть? Узнать? Ведь вы говорили, что Он неузнаваем.

— Узнать? — Воланд усмехнулся. — Узнать Его сможет лишь тот, кто сам готов к узнаванию. Тот, в ком любовь победила страх. Ты готов, Фагот? Ты, Аزازелло? Ты, Бегемот?

Кот, услышав своё имя, отвлёкся от блюда с вареньем и, облизнувшись, философски заметил:

— Я, мессир, всегда готов к чаю. А насчёт любви... это сложный вопрос. Я больше по части варенья. Но если этот Отец предложит мне хорошего чаю с малиновым вареньем, я, пожалуй, готов буду его узнать.

Воланд неожиданно расхохотался. Его смех, гулкий и раскатистый, наполнил квартиру, и в нём, вопреки обыкновению, не было ни злобы, ни сарказма. Только бесконечная, вселенская усталость и странная, почти человеческая нежность.

— Ты, Бегемот, может быть, ближе всех к Истине, сам того не ведая, — сказал он, отсмеявшись. — Ибо Царство Его — оно для таких, как ты. Для простых, не мудрствующих лукаво. Для тех, кто любит жизнь просто так, без условий и богословских теорий. Для тех, кто радуется солнцу, варенью и хорошей шутке. Они ближе к Нему, чем все учёные богословы вместе взятые.

Он снова замолчал, и взгляд его устремился куда-то вдаль, сквозь стены, сквозь город, сквозь самую ткань реальности.

— Скоро, — прошептал он. — Скоро Он сделает первый шаг. Первый шаг навстречу Своему Сыну. И тогда всё изменится. Даже для меня.

---

## Глава 10. Мальчик из Сибири

Городок, затерянный в бескрайних сибирских просторах, жил своей тихой, размеренной жизнью. Здесь все знали друг друга, и появление нового человека было событием. Семья Ечиных — так звучала их фамилия, искажённая веками от древнего «Иаков», — поселилась здесь лет пятнадцать назад. Отец работал фотографом в газете, мать — домработница. Их сын, названный простым русским именем, рос обычным мальчиком: ходил в школу, дрался с одноклассниками, получал тройки и четвёрки, гонял с друзьями мяч во дворе. Но было в нём нечто, что отличало его от сверстников.

Он никогда не плакал от боли. Не потому, что был терпелив или хотел казаться сильным. Просто с самого раннего детства физическая боль казалась ему чем-то... незначительным. Словно его тело было лишь временной оболочкой, а истинное «я» находилось где-то вне его. Он часто застывал, глядя в одну точку, и в эти моменты его глаза, обычно серо-голубые, казались бездонными, как небо в ясную ночь. Сверстники сторонились его, чувствуя непонятную, инстинктивную отчуждённость. Учителя считали его странным, но не злым. Родители любили, но не понимали. Они видели, что он не такой, как все, но не могли объяснить, в чём дело.

Ему снились сны. Странные, яркие, повторяющиеся. В них он был не самим собой, а кем-то огромным, беспредельным, вмещающим в себя всё сущее. Он видел рождение звёзд и гибель галактик. Он слышал музыку сфер, неслышную для смертного уха. Он чувствовал боль каждого живого существа как свою собственную. И ещё — он видел Человека на кресте. Человека, который смотрел прямо на него и говорил одними губами: «Отец... Я жду Тебя».

Просыпаясь, мальчик ничего не помнил. Только смутное чувство тоски и огромной, непонятной любви, от которой щемило сердце. Он рос, и сны становились всё ярче, всё реальнее. А вместе с ними росло и ощущение, что он живёт не своей жизнью. Что он — это не он. Что настоящий он скрыт где-то глубоко внутри, погребённый под слоями человеческой плоти и памяти.

В школе, на уроке истории, когда учитель рассказывал о Древнем Риме и упомянул имя Понтия Пилата, с мальчиком случилось странное. Перед его глазами вдруг вспыхнула яркая, как кинолента, картина: белый плащ с кровавым подбоем, каменный пол, залитый солнцем, и человек в разорванном голубом хитоне, который смотрит на него с бесконечным состраданием. Мальчик вскрикнул и потерял сознание.

Врачи не нашли никаких отклонений. «Переутомление, — сказали они. — Побольше гулять, поменьше читать». Но мальчик знал: это не переутомление. Это что-то другое. Что-то, что пугало и одновременно притягивало его.

Однажды, когда ему исполнилось пятнадцать, он нашёл в библиотеке у мамы старую, потрёпанную книгу без обложки. Он открыл её наугад и прочёл: «...ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слова эти поразили его в самое сердце. Он читал дальше, не в силах оторваться, и с каждой страницей ему казалось, что он вспоминает что-то давно забытое. Что-то, что было известно ему всегда, но скрыто под толщей лет.

Закрыв книгу, он долго сидел в темноте, глядя перед собой. А потом прошептал:

— Я вспомню. Я обязательно вспомню. Я должен это вспомнить.

И в этот миг где-то далеко, в Москве, в «нехорошей квартире», Воланд вздрогнул и открыл глаза. «Он близок, — прошептал он. — Совсем близок. Ещё немного, и Он проснётся». А в клинике Стравинского Мастер, сидевший у окна, вдруг улыбнулся и сказал, обращаясь к пустоте: «Я знаю. Я чувствую. Ты идёшь».

---

## Глава 16. Сибирские сны

А в далёком сибирском городке, занесённом снегом, молодой человек по имени... впрочем, его человеческое имя не имело значения. Он сам ещё не до конца решил, как Ему теперь называться. Может быть, просто — Человек. Или — Сын Человеческий, как называл Себя Тот, Кого Он ждал больше всего на свете. Имя, данное Ему земными родителями, было обычным, русским, ничем не примечательным. Но Он знал, что у Него есть другое Имя. Имя, которое нельзя произносить всуе. Имя, которое было до начала времён и останется после их конца.

Он жил в маленькой комнатке общежития при местном техникуме, куда поступил после школы. Соседи по комнате считали его тихоней и немного чужаком. Он редко участвовал в их шумных посиделках, не пил пива, не ухлёстывал за девушками. Свободное время проводил в библиотеке или просто гулял по заснеженным улицам, о чём-то глубоко задумавшись. Иногда, глядя на падающий снег, Он испытывал странное, щемящее чувство, словно этот снег падал вечно, и Он сам был частью этой вечности. Словно каждая снежинка была чьей-то душой, чьей-то молитвой, чьей-то несбывшейся надеждой.

Ночами Ему снились сны. Теперь, после пробуждения, Он помнил их все, в мельчайших подробностях. Это были не просто сны — это были воспоминания. Воспоминания о том, как Он создавал миры и разрушал их, когда они уклонялись от замысла. Как Он выводил народы из рабства и давал им законы. Как Он говорил с пророками — не

громом с небес, а тихим, едва слышным шёпотом в их сердцах. Как Он стоял невидимый у креста и чувствовал каждую каплю крови, падающую с рук и ног Его Сына. И как Он дал Ему умереть, потому что только так, через смерть, можно было победить смерть. Через жертву — обрести искупление.

Но среди этих величественных и страшных картин были и другие. Более простые, человеческие. Он вспоминал, как в детстве мать пела Ему колыбельные, и Он, забыв о Своей божественной сути, засыпал, чувствуя себя в безопасности. Как Он впервые пошёл в школу и боялся, что Его не примут. Как Он дрался с мальчишками, защищая слабого, и как потом Его ругали родители. Как Он впервые влюбился — в девочку из параллельного класса, которая даже не смотрела в Его сторону. И как Ему было больно от этой неразделённой любви. Как Он стоял у окна и смотрел на её освещённое окно, и чувствовал, как сердце разрывается от тоски.

И Он понимал: всё это — и есть ответ. Ответ на вопрос, зачем Он, Всемогущий, стал человеком. Чтобы узнать, что такое страх одиночества, боль предательства, горечь неразделённой любви. Чтобы понять, почему люди так легко отворачиваются от Него и так отчаянно ищут Его, когда им плохо. Чтобы стать не просто Судьёй, а Тем, Кто может сказать: «Я знаю, что ты чувствуешь. Я прошёл через это. Я с тобой. Я был тобой».

Однажды вечером, сидя у окна и глядя на падающий снег, Он вдруг почувствовал чьё-то присутствие. Не физическое, а какое-то иное, словно кто-то вошёл в Его комнату, не открывая двери. Он обернулся — и увидел Воланда.

Князь тьмы стоял посреди убогой комнатухи, и его роскошный, но измятый плащ странно контрастировал с обшарпанными обоями и железной кроватью. Он смотрел на молодого человека, и в его разноцветных глазах читалась сложная гамма чувств: страх, надежда, раскаяние, и — удивительно — любовь. Та самая любовь, которую он так долго пытался в себе задавить, но которая, оказывается, никуда не делась.

— Вот Ты где, — произнёс Воланд хрипловатым, но уже лишённым прежней насмешки голосом. — А я искал Тебя по всему свету. В подвалах и дворцах, в больницах и монастырях. А Ты, оказывается, здесь. В этой дыре. В этом убожестве. Зачем, Отец? Зачем Тебе это? Зачем Ты, Творец всего сущего, выбрал эту жалкую участь?

Молодой человек — Отец — спокойно посмотрел на него и улыбнулся. Улыбка у Него была тихая, печальная и одновременно полная такого тепла, что у Воланда перехватило дыхание. Он почувствовал, как что-то в его груди, что-то, что он считал давно мёртвым, вдруг зашевелилось.

— Я ждал тебя, — просто сказал Он. — Долго ждал. Садись. Не стой на пороге.

Воланд, повинувшись, опустился на стул. Он, князь мира сего, перед которым трепетали народы и цари, сидел в жалкой студенческой комнате перед пареньком в поношенном свитере и чувствовал себя так, словно с него сняли всю его вековую броню. Впервые за миллионы лет он не знал, что сказать, куда деть руки, как себя вести.

— Я пришёл... — начал он и осёкся. Слова, которые он репетировал веками, казались теперь пустыми и ненужными.

— Знаю, — кивнул Отец. — Ты пришёл просить прощения. Но Я не держу на тебя зла. Я никогда не держал. Ты — Моё творение, Моя самая большая ошибка и Моя самая большая удача. Ты был нужен. Ты — та тьма, без которой не видно света. Ты — горькое лекарство, которое лечит от самолюбования. Ты — Мой вечный оппонент, который заставлял Меня думать и сомневаться. Спасибо тебе.

Воланд молчал, опустив голову. Впервые за миллионы лет он не знал, что сказать. Слёзы, которых он не проливал со дня своего падения, жгли ему глаза.

— Но я не могу просто взять и простить Себя, — наконец выдавил он. — Слишком много зла я совершил. Слишком много душ погубил. Слишком много крови на моих руках.

— Зло, совершённое тобой, — это цена свободы, — ответил Отец. — Я дал свободу всем: людям, ангелам, демонам. И ты воспользовался ею так, как счёл нужным. Я не могу отменить твои поступки, не отменив саму свободу. Но Я могу предложить тебе другое. Начать всё заново. Вернуться. Не как слуга, не как раб. Как сын. Мой блудный сын, который наконец-то вернулся домой.

Он встал и протянул Воланду руку. Ту самую руку, которую протягивал ему от начала времён. Воланд смотрел на неё, и в его душе боролись вековая гордость и новая, ещё не окрепшая надежда.

— А как же мой бал? Моя свита? Моя власть? — спросил он, и в его голосе прозвучала растерянность.

— Всё это останется с тобой, если захочешь. Но в ином качестве. Ты будешь не князем тьмы, а князем света. Тем, кем ты был создан. Тем, кто поёт у Моего престола. Тем, кто радуется вместе со Мной каждой спасённой душе.

Воланд медленно, словно преодолевая невидимое сопротивление, протянул свою руку и коснулся руки Отца. И в тот же миг его облик начал меняться. Чёрный плащ стал белым, хищные черты лица смягчились, а в глазах, только что бывших разного цвета, засиял ровный, чистый свет. И за спиной у него, словно расправляясь после долгого плена, начали проступать очертания огромных, белоснежных крыльев.

— Я... я попробую, — прошептал он. — Попробую быть другим.

— Не пробуй, — улыбнулся Отец. — Просто будь. Будь тем, кто ты есть на самом деле. Моим сыном.

Они стояли посреди убогой комнаты — Всемогущий, ставший никем, и падший ангел, ставший светлым, — и держались за руки. А за окном, в сибирской ночи, тихо падал снег, укрывая землю белым, чистым покрывалом, словно обещая, что всё теперь будет по-другому. Что старая история закончилась и началась новая.

---

# КНИГА ВТОРАЯ: МАСТЕР И МАРГАРИТА. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

## Глава 17. Встреча

### 1. Пустыня Неузнавания

Пространство, в котором Он очутился, не было похоже ни на что из виденного Им за девятнадцать лет человеческой жизни. Это не был сон — сны Он научился отличать от яви ещё в раннем детстве. Это не было видение — видения приходят извне, а это шло изнутри, из самой сердцевины Его существа, которое только начинало пробуждаться после долгой, добровольной спячки. Это было похоже на возвращение домой после бесконечно долгого путешествия. Всё было знакомо и незнакомо одновременно.

Вокруг простиралась бескрайняя равнина, покрытая не то песком, не то пеплом. Небо над ней было низким, серым, без единого проблеска солнца или звезды. Горизонт терялся в дымке, и невозможно было понять, где кончается земля и начинается небо. Всё было едино, всё было пронизано одним — ожиданием. Ожиданием, которое длилось две тысячи лет.

Отец — пока ещё просто молодой человек в поношенной одежде, с лицом, несущим на себе следы девятнадцати лет человеческих тревог и печалей — стоял посреди этой равнины и ждал. Он знал, что должен здесь быть. Знал, что этот миг был предопределён ещё до того, как Он вдохнул жизнь в первого человека. Знал, что все эти годы — годы забвения, годы унижения, годы, когда Его называли странным, чудаком, а потом и безумцем, — вели именно сюда. К этому моменту. К этой Встрече.

И Он ждал.

Сначала появился звук. Тихий, едва уловимый, похожий на шёпот ветра в кронах невидимых деревьев. Потом — свет. Не яркий, не ослепительный, а мягкий, тёплый, льющийся неизвестно откуда, словно отблеск далёкого, невидимого солнца. И наконец — фигура. Она возникла на горизонте, крошечная, едва различимая, и медленно, очень медленно приближалась. Каждый шаг этой фигуры отдавался в сердце Отца гулким эхом.

Отец затаил дыхание. Он знал, Кто это. Знал каждой клеточкой Своего существа, которое помнило всё, даже когда разум ещё спал. Это был Тот, ради Кого Он затеял всё это. Тот, Кого Он не спас на Кресте, чтобы спасти всё человечество. Тот, Кто был Его Сыном, Его Любовью, Его самой большой радостью и самой страшной болью. Тот, по Ком Он тосковал все эти две тысячи лет.

Фигура приближалась, обретая черты. Человек в старом, разорванном голубом хитоне. Босые ноги, покрытые пылью. На голове — следы от тернового венца, уже поблёкшие, но всё ещё различимые. На руках и ногах — шрамы от гвоздей, затянувшиеся, но не исчезнувшие. Лицо — спокойное, светлое, с глазами, в которых отражалась вся мудрость и вся печаль мира. И любовь. Бесконечная, всё понимающая любовь.

Иешуа Га-Ноцри. Сын.

Он шёл, не глядя на Отца. Его взгляд был устремлён куда-то вдаль, поверх головы, словно он искал кого-то другого. Кого-то великого, сияющего, облачённого в славу и могущество. Кого-то, Кто соответствовал бы его представлениям об Отце. Кого-то, Кто придёт на облаках с громами и молниями.

— Я слышу голос, — произнёс Иешуа, и его тихий, мелодичный голос разнёсся по всей равнине, отражаясь от невидимых стен. — Очень знакомый голос. Он похож на тот, что я слышал в детстве, когда моя мать, Мария, пела мне колыбельные долгими вечерами в Назарете. Он похож на тот, что звучал в моей душе в Гефсиманском саду, когда я, обливаясь кровавым потом, просил: «Отче, если возможно, да минует Меня чаша сия». Он похож на тот, что я тщетно пытался услышать, висая на кресте и крича: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Кто здесь? Кто говорит со Мной?

Отец хотел ответить, но слова застряли у Него в горле. Он смотрел на Сына — на Того, Кого не видел две тысячи лет, если считать по земному времени, — и не мог вымолвить ни звука. Слишком многое нужно было сказать. Слишком многое — объяснить. И главное — слишком страшно было услышать ответ на вопрос, который мучил Его все эти века: «Простил ли Ты Меня?»

— Тот, Кто должен был прийти раньше, — наконец выдал Он, и Его голос, обычно тихий и неуверенный, сейчас прозвучал с какой-то надрывной, отчаянной силой. — Тот, Кто опоздал. На целую вечность. На две тысячи лет.

Иешуа медленно, очень медленно перевёл взгляд на Него. Их глаза встретились. И в глазах Сына Отец увидел... недоумение. Растерянность. И — боль.

— Ты? — спросил Иешуа, и в его голосе прозвучало искреннее, неподдельное изумление. — Ты — всего лишь человек. Я чувствую твою боль — она огромна, как океан, и глубока, как бездна. Я чувствую твою усталость — она тяжела, как горы, и бесконечна, как время. Я чувствую твою любовь — она чиста и сильна, как свет тысячи солнц. Но ты... Ты не можешь быть Тем, Чьё Имя я призывал в свой последний час. Ты не можешь быть моим Отцом.

Отец стоял, не в силах пошевелиться. Он знал, что так будет. Знал, что Его не узнают. Знал, что кенозис — самоумаление, добровольный отказ от всего, что составляло Его суть, — приведёт к этому. Но знать — одно, а пережить — совсем другое. Боль, пронзившая Его сердце, была сильнее любой физической боли, которую Он когда-либо испытывал в Своём человеческом теле.

— Почему? — только и смог вымолвить Он.

— Потому что Отец, — Иешуа говорил медленно, словно объясняя очевидное ребёнку, — должен быть огнём, и бурей, и громами. Он должен быть сиянием, что слепит глаза и заставляет падать ниц. Он должен быть всемогущим, всеведущим, вездесущим. А ты... Ты стоишь передо мной в пыли, с пустыми, усталыми глазами. Ты — обычный смертный, потерявший смех и, кажется, саму надежду. Ты — человек. Прекрасный, страдающий, глубокий человек. Но — человек. Не Бог.

Внутри Отца что-то надломилось. Не вера в Свой замысел — она была неколебима. А надежда на то, что встреча будет лёгкой. Что Сын узнает Его сразу, по какой-то незримой, но несомненной печати. Что не придётся проходить через этот последний, самый мучительный круг ада — круг неузнавания.

— Я был с тобой, — произнёс Он, и голос Его, сначала тихий, начал набирать силу. — Каждую секунду. Каждое мгновение. Когда ты висел на кресте, и гвозди рвали твою плоть, и солнце жгло твоё лицо, и толпа глумилась над тобой — Я стоял рядом. Невидимый. Бессильный. Я дал тебе пройти через эту муку, потому что Я дал тебе свободу. Ту самую свободу, о которой ты просил Меня для всех людей. Если бы Я вмешался, если бы Я простёр Свою длань и остановил твои страдания, твой подвиг превратился бы в фарс. В балаган. В дешёвый спектакль. И не было бы тогда спасения ни для тебя, ни для них. Ни для кого.

Иешуа слушал, не перебивая. Его лицо оставалось спокойным, но в глазах что-то менялось. Словно лёд, медленно тающий под лучами весеннего солнца. Словно он начинал видеть за этой усталой человеческой оболочкой что-то знакомое, что-то родное.

— Ты говоришь, что Отец должен быть огнём и бурей, — продолжал Отец. — Но Я выбрал иное. Я выбрал быть... никем. Я, Который сотворил звёзды и моря, Который вдохнул жизнь во всё сущее, Который одним словом мог уничтожить всё и создать заново, — Я выбрал эту жалкую, нищенскую долю. Я облёкся в эту брэнную плоть, чтобы просто жить, страдать, бояться и умирать, как ты. Как самый последний из людей.

— Зачем? — прошептал Иешуа. — Зачем Ты это сделал?

— Чтобы понять, — ответил Отец. — Понять, что ты чувствовал в тот миг, когда тебя оставил твой Отец. Когда тебе показалось, что ты совсем один в этом мире. Я захотел пройти через это безумие, через этот ад. Носить вот это тело, со всеми его немощами и болезнями, до конца. Я захотел узнать, каково это — быть преданным. Каково — слышать, как тебе в лицо бросают: «Это бред! Это нужно лечить!» Каково — ждать, когда тебя заметят, и знать, что, скорее всего, не заметят. Каково — быть и не иметь никого, кому можно вручить свою любовь.

Он замолчал. Молчание длилось долго, очень долго. Ветер, гулявший по равнине, стих. Даже время, казалось, остановилось, прислушиваясь к тому, что произойдёт дальше.

Иешуа сделал шаг вперёд. Потом ещё один. И ещё. Он подошёл к Отцу вплотную, и теперь они стояли лицом к лицу, глаза в глаза. Иешуа поднял руку и осторожно, словно боясь обжечься, коснулся щеки Отца. По его пальцам пробежала едва заметная дрожь. Он почувствовал тепло. Живое, человеческое тепло. И в этом тепле он узнал то, что искал две тысячи лет.

— Отец, — произнёс он, и в этом слове было всё: и узнавание, и прощение, и любовь, и боль, и радость. — Ты... Ты действительно сделал это. Ты действительно стал одним из нас. Не для того, чтобы судить. Не для того, чтобы править. А для того, чтобы... понять. Чтобы быть с нами.

— Чтобы быть с тобой, — поправил Отец. — Чтобы быть с вами. Не сверху, не снаружи, а изнутри. Чтобы, когда кто-то из вас кричит от боли, Я мог сказать: «Я знаю. Я чувствовал то же самое. Я был там. Я есть там. Я есть здесь и сейчас. И всегда буду рядом с вами. Даже когда вы думаете, что меня рядом нет».

Иешуа больше не сдерживался. Слёзы — настоящие, солёные, человеческие слёзы — потекли по его щекам. Он упал на колени и обхватил Отца руками, прижимаясь к Нему всем телом, словно ребёнок, который наконец-то нашёл потерянного родителя.

— Я ждал Тебя, — прошептал он, и его голос срывался от рыданий. — Я ждал Тебя все эти годы. Я знал, что Ты придёшь. Я верил. Даже когда было темно и страшно, даже когда казалось, что всё кончено, — я верил. И Ты пришёл. Ты здесь. Ты со мной.

Отец опустился на колени рядом с ним, и они обнялись — Отец и Сын, разделённые веками и добровольной жертвой, но наконец-то нашедшие друг друга. Свет, который исходил от их объятия, был не ярким и не слепящим, а тёплым, мягким, золотистым. Он заполнял собой всю равнину, проникал в каждую трещину, в каждую пору этого странного, искажённого мира, и там, где он проходил, пепел превращался в траву, а серое небо начинало голубеть. Жизнь возвращалась туда, где её не было веками.

— Я люблю тебя, — сказал Отец.

— Я знаю, — ответил Иешуа. — Я всегда знал. И я тоже люблю Тебя. Больше жизни. Больше всего на свете, также как и свою мать.

Они ещё долго стояли так, обнявшись, посреди преображающейся равнины. А потом Иешуа, отстранившись, посмотрел на Отца и спросил, и в его глазах была решимость:

— Что теперь?

— Теперь, — ответил Отец, — Мы должны встретить остальных. Тех, кто ждал. Тех, кто верил. Тех, кто сомневался, но продолжал искать. И тех, кто не верил, но всё равно был частью Моего замысла. А потом... Потом Мы пойдём к тем, кто до сих пор не узнал Меня. К тем, кто называет Меня сумасшедшим. К тем, кто превратил Моё имя в орудие власти и ненависти. И Мы дадим им последний шанс. Шанс узнать, шанс принять, шанс вернуться.

---

## 2. Свидетели Встречи

По краям равнины, которая уже перестала быть пустыней и начала покрываться молодой зеленью, появились фигуры. Они выходили из тумана, из света, из самой ткани бытия, привлечённые тем, что только что произошло между Отцом и Сыном. словно сама вечность исторгла их из своих глубин, чтобы они стали свидетелями этого момента.

Первой появилась Она. Святая Мария. Мать.

Она была одета в простые тёмные одежды, её голову покрывал выцветший платок, а в руках она держала маленький глиняный кувшин — словно только что оторвалась от домашних дел. Её лицо, изрезанное морщинами, но всё ещё хранящее следы былой красоты, выражало священный трепет и безмерную, всё понимающую любовь. Она смотрела на Сына и на Того, Кто стоял рядом с Ним, и её губы беззвучно шевелились, творя молитву — не заученную, не книжную, а ту, что рождается из самой глубины материнского сердца.

— Сынок, — произнесла она наконец, и её голос, тихий и мягкий, прозвучал как колыбельная, которую она пела Ему две тысячи лет назад в бедном доме в Назарете. — Ты вернулся. Ты снова здесь. И Ты... — она перевела взгляд на Отца, и в её глазах блеснули слёзы, — Ты пришёл. Я знала. Я всегда знала, что Ты придёшь. Я ждала Тебя. Каждую ночь, стоя у колыбели, я ждала. Каждый день, глядя, как Он растёт, я ждала. И Ты здесь.

Отец смотрел на неё, и в Его груди поднималась волна такого тепла и такой благодарности, что Он не мог вымолвить ни слова. Эта женщина. Простая, неграмотная, бедная женщина из захолустного городка. Она согласилась стать матерью Его Сына, не спрашивая, не требуя объяснений, просто поверив. Она растила Его, кормила, одевала, учила ходить и говорить. Она стояла у креста, когда все остальные разбежались. Она была первой и самой верной ученицей, даже не осознавая этого.

— Ты простила Меня? — спросил Он наконец.

Мария покачала головой, и улыбка, печальная и светлая одновременно, тронула её губы.

— Мне нечего было прощать, — ответила она. — Ты — Его Отец. Я — Его мать. Мы оба любим Его больше жизни. И этой любви достаточно, чтобы покрыть всё. Все страхи, все сомнения, все обиды. Всё растворяется в ней.

Она подошла к Иешуа и обняла его — крепко, по-матерински, как обнимала когда-то маленького мальчика, упавшего и разбившего коленку. Иешуа прижался к ней, и на его лице отразился покой, которого он не знал с тех самых пор, как покинул родной дом, чтобы начать Своё служение.

— Я скучал по тебе, мама, — прошептал он.

— Я всегда была с тобой, — ответила она. — Всегда. Даже когда ты не видел меня. Даже когда тебе казалось, что ты один. Я молилась за тебя каждую ночь. Каждую минуту. Каждый вздох.

А из тумана выходили всё новые и новые фигуры. Двенадцать силуэтов — сначала размытых, нечётких, словно сотканных из дыма, но постепенно обретающих плоть и кровь. Они были одеты по-разному — в античные хитоны, средневековые плащи, современные костюмы, — но в их глазах горел один и тот же огонь: огонь пробуждающейся памяти.

Первым вышел Пётр. Коренастый, с грубыми чертами лица и большими, натруженными руками рыбака. Он упал на колени перед Иешуа и зарыдал в голос, не стесняясь своих слёз.

— Учитель! — воскликнул он. — Я помню! Я всё помню! Я отрёкся от Тебя. Трижды. Я слышал, как пропел петух, и плакал горько. А потом... всё исчезло. Я забыл, кто я. Я жил, умирал, рождался снова — и ничего не помнил. Но теперь... Теперь я помню. Прости меня, Учитель! Прости!

Иешуа наклонился и поднял его с колен.

— Встань, Пётр. Ты давно прощён. Ты был прощён ещё до того, как пропел тот петух. Твоё отречение было частью твоего пути. И твоё возвращение — тоже.

Рядом с Петром стоял Иоанн, самый юный из апостолов. Его лицо, всё ещё хранящее следы мальчишеской нежности, было озарено внутренним светом. Он не плакал — он улыбался.

— Я всегда писал, — сказал он. — В каждой жизни, в каждом воплощении я брался за перо. Я исписывал горы бумаги, не понимая, откуда берутся эти слова. Я думал, что я поэт. Философ. Безумец. А я был просто... эхом.

Эхом Твоего голоса, Учитель.

— Ты был не эхом, Иоанн, — ответил Иешуа. — Ты был голосом. Голосом, который донёс Мои слова до миллионов. Пусть даже ты сам не понимал этого.

Фома, стоявший чуть поодаль, горько усмехнулся.

— А я всё сомневался, — произнёс он. — В каждой жизни. Во всём. В себе, в людях, в Боге. Меня называли неверующим. Циником. Атеистом. А я просто... хотел увидеть. Потрогать. Убедиться. И теперь...

Он замолчал, глядя на Отца и Сына, стоящих рядом.

— Теперь я вижу, — закончил он. — И я верю.

Один за другим выходили остальные: Матфей, бывший сборщик податей, презираемый всеми, но нашедший прощение и новую жизнь; Андрей, брат Петра, тихий и незаметный, но верный до конца; Иаков, сын Зеведея, первый из апостолов принявший мученическую смерть; Филипп, Варфоломей, Фаддей, Симон Зилот, Иаков

Алфеев и Матфий, избранный на место Иуды. Все они собрались здесь, на этой преображённой равнине, и в их глазах, ещё недавно пустых и потерянных, теперь сиял свет узнавания.

— Мы ждали, — сказал Пётр за всех. — Мы ждали два тысячелетия. Мы жили, умирали, рождались снова — и ждали. Ждали, когда Ты вернёшься, Учитель. Ждали, когда мы сможем снова увидеть Тебя. И вот... Ты здесь. И не только Ты.

Он посмотрел на Отца, и в его взгляде читался трепет, смешанный с глубоким, сыновним почтением.

— Отец, — произнёс он. — Я не знаю, достоин ли я даже смотреть на Тебя. Я, который отрёкся от Твоего Сына. Который трижды предал Его в самую страшную ночь.

Отец подошёл к нему и положил руку ему на плечо.

— Ты достоин, Пётр, — сказал Он. — Не потому, что ты безгрешен. А потому, что ты любишь. Твоя любовь перевешивает все твои ошибки. И Я здесь не для того, чтобы судить. Я здесь для того, чтобы быть с вами.

## Глава 17. Встреча (продолжение)

### 3. Архангелы и Небесное Воинство

Небо над равниной вдруг озарилось светом — не тем мягким, золотистым, что исходил от Отца и Сына, а ярким, ослепительным, пронзительным. Словно тысячи солнц разом зажглись над головой. А затем из этого света начали спускаться фигуры — величественные, огромные, облачённые в сияющие одежды. За их спинами развевались крылья — не белые, как изображают на иконах, а переливающиеся всеми цветами радуги, от ослепительно-белого до глубокого пурпурного. Воздух наполнился звуком, похожим на пение тысячи труб и шёпот миллиона голосов одновременно.

Это были архангелы. Небесное воинство. Те, кто стоял у престола Отца от самого сотворения мира. Те, кто пел Ему хвалу, кто исполнял Его волю, кто сражался с силами тьмы и хранил равновесие мироздания. Они спускались медленно, величественно, и каждый их шаг отзывался в земле лёгким дрожанием.

Первым ступил на землю Михаил. Высокий, статный, с лицом, исполненным суровой, но справедливой силы. В его правой руке сиял меч — не оружие, а символ власти, данной ему Отцом. Он преклонил колени перед Отцом и склонил голову. Его крылья, огромные, белоснежные с золотыми прожилками, сложились за спиной.

— Владыка, — произнёс он, и его голос, глубокий и звучный, разнёсся по всей равнине. — Ты вернулся. Ты снова с нами. Мы ждали Тебя все эти века. Мы хранили Твой престол. Мы исполняли Твою волю, насколько могли её постичь. Но без Тебя небо было пустым. Без Тебя даже свет казался тусклым.

За ним последовал Гавриил — вестник, тот, кто когда-то явился Марии с благой вестью. Его лицо было мягче, чем у Михаила, в глазах светилась мудрость и доброта. Он преклонил колени рядом с Михаилом.

— Я возвещал Твой приход, — сказал он, и в его голосе звучала глубокая печаль. — Я говорил Марии, что она родит Сына, Который спасёт мир. Но я не знал тогда, что Ты Сам решишь сойти на землю. Что Ты станешь одним из тех, кому я приношу вести. Что Ты разделишь их боль, их страх, их смерть. Прости, что не узнал Тебя. Прости, что прошёл мимо, когда Ты, быть может, стоял у дороги и смотрел на меня.

За ним — Рафаил, целитель, тот, кто исцелял раны и утешал страждущих. Его глаза были полны сострадания, а в руках он держал сосуд с бальзамом.

— Я исцелял тела, — произнёс он. — Но Ты пришёл, чтобы исцелить души. Я лечил раны, но Ты пришёл, чтобы излечить саму смерть. Я склоняюсь перед Твоей мудростью, Владыка. Перед Твоей любовью, которая сильнее любой болезни.

И Уриил — хранитель света, тот, кто освещал путь заблудшим. Его лицо сияло, словно само солнце, а в руках он держал факел, пламя которого не колебалось.

— Я нёс свет во тьму, — сказал он. — Но Ты Сам стал Светом. Ты вошёл в самую глубокую тьму — тьму человеческого сердца, — чтобы осветить её изнутри. Я не понимал этого раньше. Теперь понимаю. Ты не просто посылал свет. Ты стал им.

Остальные архангелы — Селафиил, молитвенник; Иегудиил, славитель; Варахиил, податель благословений; Иеремиил, возноситель к Богу — все они склонились перед Отцом, и их голоса слились в едином хоре, полном благоговения и любви.

— Мы служили Тебе, не видя Тебя, — пели они. — Мы исполняли Твою волю, не слыша Твоего голоса. Мы верили, что Ты вернёшься. И Ты вернулся. Не в славе и силе, а в немощи и унижении. Не для того, чтобы судить, а для того, чтобы спасти. Не для того, чтобы править, а для того, чтобы быть с нами. Слава Тебе, Владыка! Слава Тебе, Отец!

Отец смотрел на них, и в Его глазах стояли слёзы. Его верные слуги. Его дети. Они ждали Его. Они не отвернулись, не усомнились, не предали. Они просто... ждали. И верили. И теперь они были здесь, преклоняя колени не перед грозным Судией, а перед усталым юношей в поношенной одежде. И в этом была высшая правда.

— Встаньте, — сказал Он. — Вы не рабы. Вы — Мои друзья. Мои братья. Мои дети. Я благодарен вам за вашу верность. Но сейчас нам предстоит трудный разговор. Не со Мною. С теми, кто называет себя Моими слугами на земле, но забыл, что значит служить. С теми, кто превратил Мою любовь в орудие власти. С теми, кто судит от Моего имени, не зная Меня.

#### **4. Фарисеи Нового Времени**

Пространство вокруг них снова изменилось. Равнина, покрытая молодой зеленью, сменилась огромным залом, напоминающим одновременно храм, судебную палату и конференц-зал. Высокие своды терялись в полумраке, стены были украшены фресками, изображающими сцены из Священной истории, но краски на них потускнели, а лики святых казались строгими и отчуждёнными. В центре возвышался помост, на котором стояли Отец, Иешуа, Мария, апостолы и архангелы. А перед ними, на скамьях, расставленных амфитеатром, сидели люди в чёрных и пурпурных одеяниях. Золотые кресты на их груди, драгоценные посохи в руках, высокие головные уборы.

Патриарх. Митрополиты. Архиепископы. Епископы. Священники. Весь цвет того, что называло себя Церковью.

Они смотрели на Отца — на молодого человека в поношенной одежде, с усталым лицом и глазами, полными печали, — и в их взглядах читалось презрение, смешанное со страхом. Они чувствовали, что происходит что-то, выходящее за рамки их понимания, но не хотели этого признавать.

Патриарх поднялся со своего места. Это был высокий, грузный старик с окладистой седой бородой и маленькими, глубоко посаженными глазами, в которых горел огонь фанатичной, непоколебимой уверенности в собственной правоте. Он опирался на посох, украшенный драгоценными камнями, и его голос, когда он заговорил, был скрипучим и властным.

— Вот, значит, как, — произнёс он, и его голос разнёсся по залу, отражаясь от высоких сводов. — Значит, Ты и есть Тот, Кто называет Себя Отцом. Тот, Кто утверждает, что Всемогущий Бог, Творец неба и земли, сошёл на землю и стал... человеком. Нищим. Неучем. Бродягой.

Он усмехнулся, и его усмешка была полна яда. Многие из сидящих на скамьях закивали, поддерживая его.

— Мы читали Твои... писания. Мы слышали Твои... речи. И мы пришли к однозначному выводу. Ты — не Бог. Ты — безумец. Одержимый. Еретик. Твои слова — бред, порождённый большим рассудком. Твои притязания — кощунство, за которое в прежние времена сжигали на кострах.

Он обвёл взглядом своих братьев, и те закивали в знак согласия. Некоторые даже выкрикнули: «Анафема!»

— Мы, — продолжал он, — являемся законными представителями Бога на земле. Мы — Его голос. Его воля. Его власть. И мы не признаём Тебя. Мы запрещаем Тебе говорить от Его имени. Мы призываем всех верных чад Церкви отвернуться от Тебя, как от соблазна и лжи. И мы требуем, чтобы Ты замолчал. Навсегда.

В зале повисла тишина. Тяжёлая, гнетущая, полная ожидания. Все взгляды были устремлены на Отца. Ждали, что Он скажет. Что Он сделает. Явит ли гром и молнию? Поразит ли хулителей огнём с небес? Низвергнет ли их в ад?

Но Отец молчал. Он просто стоял и смотрел на них. На этих людей, которые присвоили себе право говорить от Его имени, но давно забыли, что значит быть Его слугами. На этих пастырей, которые разжирили на молоке и шерсти своего стада, но оставили его без защиты перед волками. На этих книжников, которые изучили каждую букву Закона, но потеряли его дух. В Его молчании было больше силы, чем в любых словах.

И тогда вперёд вышел Иешуа.

Он был всё в том же разорванном голубом хитоне, с непокрытой головой, на которой всё ещё виднелись следы от тернового венца. Он подошёл к краю помоста и обвёл взглядом собрание. В Его глазах не было гнева, только бесконечная, всё понимающая печаль.

— Вы говорите, что вы — Мои ученики, — произнёс Он, и Его тихий, спокойный голос странно контрастировал с грозной тишиной зала. — Вы называете себя Моей Церковью. Вы носите кресты — символ той казни, которой Я был казнён. Вы читаете молитвы, обращённые ко Мне и к Моему Отцу. Но знаете ли вы Меня? Знаете ли вы, чему Я учил на самом деле?

Он сделал паузу, и в этой паузе было слышно, как бьются сердца тех, кто сидел на скамьях.

— Я учил любить. Любить Бога. Любить ближнего. Любить врага. Я говорил: «Блаженны миротворцы». А вы благословляли войны. Я говорил: «Блаженны кроткие». А вы строили империи на крови и насилии. Я говорил: «Не судите, да не судимы будете». А вы судили, и казнили, и жгли на кострах тех, кто думал иначе. Я говорил:

«Любите врагов ваших». А вы учили ненавидеть. Вы сделали из Моей любви орудие пытки. Вы превратили Моё прощение в товар, который продаёте за деньги.

Голос Его, по-прежнему тихий, начал наполняться силой — не грозной, не карающей, а той силой, что исходит от самой Истины.

— Вы переписали Мои слова. Вы добавили к ним то, чего Я никогда не говорил. Вы создали догмы, правила, запреты, которые не имеют ко Мне никакого отношения. Вы превратили живую веру в мёртвую религию. Вы стали теми самыми фарисеями, которых Я обличал две тысячи лет назад. Вы — фарисеи нового времени. Вы обманываете народ, говоря, что служите Богу, а на самом деле служите только себе. Своей власти. Своему богатству. Своей гордыне.

Патриарх побагровел от гнева. Его лицо исказилось, и он ударил посохом об пол.

— Ты смеешь обвинять нас?! — воскликнул он. — Ты, Которого мы даже не знаем! Где доказательства, что Ты — Тот, за Кого Себя выдаёшь? Где Твои чудеса? Где Твоя сила? Ты — никто! Пустой самозванец! Ты, оборванный бродяга, смеешь учить нас, хранителей традиции, преемников апостолов?!

Иешуа посмотрел на него долгим, печальным взглядом.

— Вы просите чуда? — спросил Он. — Вы хотите увидеть силу? Но сила Моя не в том, чтобы поражать врагов. Сила Моя — в любви. И Я мог бы явить вам чудо. Но Я не хочу, чтобы вы верили из страха. Я хочу, чтобы вы верили из любви. Однако, раз вы просите...

Он повернулся к Отцу, словно спрашивая разрешения. Отец едва заметно кивнул.

— Хорошо, — произнёс Иешуа. — Вы хотите чуда — вы его получите. Но не для того, чтобы Я доказал вам Свою силу. А для того, чтобы вы вспомнили. Вспомнили, Кто Я. И Кто — Он.

Он поднял руку к небу, которое виднелось сквозь прозрачный купол зала, и произнёс всего три слова:

— Да будет ночь.

И в тот же миг солнце, стоявшее в зените, погасло. Не зашло за тучи, не скрылось за горизонтом — а именно погасло, словно кто-то задул гигантскую свечу. Небо сделалось чёрным, как сажа, и на нём проступили звёзды — яркие, колючие, незнакомые. Луна, кроваво-красная, огромная, повисла над залом, заливая всё вокруг зловещим багровым светом. Стало холодно, и дыхание вырывалось из уст облачками пара.

В зале поднялась паника. Священники вскакивали со своих мест, кричали, молились, некоторые падали на колени, закрывая лица руками. Патриарх стоял бледный как полотно, вцепившись в свой посох. Его уверенность испарилась, сменившись животным страхом.

— Что это?! — прохрипел он. — Что Ты делаешь?! Прекрати!

Иешуа опустил руку.

— Я не делаю ничего, — ответил Он. — Я лишь показываю вам то, что вы давно забыли. Что Бог — не в храмах, построенных руками. Не в золоте икон. Не в словах молитв, повторяемых бездумно. Бог — в каждом вздохе. В каждой слезе. В каждом луче света. И в каждой минуте тьмы. Он везде. И Он — здесь. Стоит перед вами. А вы не узнаете Его.

Он снова поднял руку.

— Да будет свет.

И солнце вспыхнуло вновь — ещё ярче, ещё ослепительнее, чем прежде. Звёзды исчезли, луна растаяла, и зал залило тёплым, золотистым сиянием. Но страх в глазах священников не проходил. Они видели то, что не могли объяснить. И это пугало их больше всего.

— Вы просили чуда, — тихо сказал Иешуа. — Вы его получили. Но Я скажу вам то, что говорил всегда: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему». Вера не нуждается в чудесах. Вера — это доверие. Доверие Богу. Доверие друг другу. Доверие любви.

Он отступил назад, к Отцу, и взял Его за руку.

— Если мы замолчим, — произнёс Он, и Его голос, хотя и тихий, был слышен в каждом уголке зала, — то камни возопиют. Ибо Истину нельзя заставить молчать. Её можно распять, сжечь, похоронить — но она воскреснет. Всегда воскресает. Потому что Истина — это не слова. Это — Он. — Иешуа указал на Отца. — И Я. И вы, если захотите.

## 5. Суд Архангелов

И тогда вперёд вышли архангелы. Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил и все остальные. Они встали полукругом перед собранием священников, и их лица, только что сиявшие светом, теперь были суровы и печальны. Их крылья, расправленные во всю ширь, создавали ощущение неодолимой силы.

Первым заговорил Михаил. Его голос, подобный раскату грома, наполнил зал, заставляя стёкла дрожать.

— Вы называете себя слугами Бога, — произнёс он. — Но вы предали Его. Вы предали нас. Вы предали всё, ради чего мы сражались и хранили этот мир. Вы использовали Его имя, чтобы сеять ненависть, чтобы оправдывать войны, чтобы наживаться на страхе. Вы — не пастыри. Вы — волки в овечьих шкурах.

Гавриил продолжил, и в его голосе звучала горечь:

— Я возвестил Марии благую весть. Я сказал ей, что она родит Сына, Который спасёт мир. Но я не говорил ей, что её Сына будут распинать снова и снова — теми самыми людьми, которые будут называть себя Его именем. Я не говорил ей, что Его слова перевернут, Его учение извратят, Его любовь заменят страхом. Я не говорил ей этого, потому что сам не знал. Теперь знаю. И я скорблю вместе с ней.

Рафаил, целитель, заговорил с болью в голосе:

— Я исцелял тела. Я врачевал раны. Я утешал страждущих. Но вы создали мир, в котором страдание стало нормой. Вы превратили землю в минное поле, на котором происходят бесконечные войны. Брат идёт на брата, народ на народ, религия на религию. Вы забыли, что все вы — одна семья. Все вы произошли от одних

прародителей. Все вы — дети одного Отца. А вы убиваете друг друга. Во имя Его. Во имя Бога, Который есть  
Любовь.

Уриил, хранитель света, добавил:

— Вы ищете Бога в небесах, а Он — на земле. Вы ждёте Его в славе и силе, а Он приходит в немощи и унижении.

Вы построили Ему храмы из камня и золота, а Он живёт в сердцах простых и чистых. Вы создали сложные богословские системы, а Он говорит с вами на языке любви, который понятен каждому ребёнку. Но вы разучились слышать. Вы оглохли от собственной важности.

Селафиил, молитвенник, тот, кто возносит молитвы к престолу, произнёс с горечью:

— Я слышал ваши молитвы. Все до единой. Я возносил их к престолу. Но многие из них были пусты. Слова без сердца. Ритуал без веры. Вы просили у Бога богатства, власти, победы над врагами. Вы редко просили о том, что действительно важно: о любви, о прощении, о мире. И почти никогда — о том, чтобы узнать Его волю, а не навязать Ему свою.

Иегудиил, славитель, сказал:

— Вы пели хвалу Богу. Ваши хоры наполняли храмы. Но хвала, которая исходит только из уст, а не из сердца, — это шум. Пустой звук. Бог слышит не слова. Он слышит сердце. А ваши сердца часто молчали, даже когда уста пели. Вы пели о любви, а в сердцах лелеяли ненависть.

Варахиил, податель благословений, произнёс:

— Я посылал вам благословения. Дождь на поля, мир в дома, здоровье детям. Но вы принимали это как должное.

Вы не благодарили. Вы не делились с теми, у кого не было и этого. Вы копили, захватывали, отнимали. Вы забыли, что всё, что у вас есть, — не ваше. Оно дано вам на время, чтобы вы делились.

И наконец, Иеремиил, возноситель, тот, кто помогает душам подниматься к Богу, сказал, и его голос дрожал от скорби:

— Я видел, как души умирающих покидают этот мир. Многие из них уходили в страхе и отчаянии. Потому что они не знали Бога. Потому что вы, те, кто должен был им Его показать, показали им только правила, запреты и страх.

Вы не показали им Любовь. И они уходили, так и не узнав, что Бог — это не судья, а Отец. Не каратель, а Спаситель. Не далёкий и недоступный, а близкий и родной.

Михаил, завершая, произнёс грозно, и его меч в руке засиял ослепительным светом:

— Вы судили еретиков. Вы жгли ведьм на кострах. Вы забивали камнями тех, чья жизнь казалась вам неправильной. Вы присвоили себе право решать, кто достоин Божьей любви, а кто нет. Но кто дал вам это право? Не Бог. Вы взяли его сами. И вы ответите за каждую невинно убитую душу. За каждую слезу, пролитую по вашей вине. За каждый миг отчаяния, в который вы ввергли тех, кого должны были утешать.

В зале стояла гробовая тишина. Многие священники опустили головы. Некоторые плакали, осознав тяжесть своих грехов. Но Патриарх, хотя и бледный, всё ещё держался. Его гордость не позволяла ему сдаться.

— Это всё слова, — произнёс он, и его голос дрожал, но в нём всё ещё звучало упрямство. — Слова, слова, слова. Где доказательства? Где факты? Мы живём в век науки, а не сказок. Нам нужны доказательства! Вы можете погасить солнце? Это может быть массовой галлюцинацией. Вы можете заставить камни говорить? Вот тогда я поверю.

## 6. Суд Истины

И тогда вперёд вышел Отец. Он больше не выглядел усталым и сломленным юношей. В Его глазах горел спокойный, ровный свет, а голос, хотя и негромкий, наполнял собой всё пространство, проникая в каждую душу.

— Вы хотите доказательств? — спросил Он. — Вы говорите о науке? Хорошо. Давайте поговорим о науке.

Он обвёл взглядом собрание, и под этим взглядом многие опустили глаза.

— Ваша наука утверждает, что человек произошёл от обезьяны. Но она не может ответить на простой вопрос: откуда произошла сама обезьяна? Откуда произошла первая живая клетка? Откуда взялась материя, из которой состоит всё сущее? Вы говорите о Большом Взрыве — но что взорвалось? И кто зажжёт фитиль? Вы строите теории на песке, а потом удивляетесь, что они рушатся.

Он сделал паузу, давая словам впитаться.

— Ваша наука ищет «тёмную материю», но не может её найти. Она строит теории, которые рассыпаются при первом же столкновении с реальностью. Она обещает вам вечную жизнь, машины времени, телепортацию — но всё это остаётся лишь обещаниями. Она лезет в те области, которые не способна понять, и объявляет «ненаучным» всё, что выходит за её узкие рамки. Вы отгородились от Истины стеной своего невежества и назвали эту стену наукой.

Он перевёл взгляд на группу людей в белых халатах, которые появились в зале — психологов, психиатров, тех, кто ставил Ему диагнозы. Они сидели, сжавшись, чувствуя себя неуютно под этим пронзительным взглядом.

— Вы создали науку о душе — психологию. Вы изучаете слёзы, но не можете понять, почему душа плачет. Вы изучаете любовь, но не можете понять, почему человек любит. Вы говорите, что всё это — мозг. Химические реакции. Электрические импульсы. А после смерти, говорите вы, ничего нет. Пустота. Небытие.

Он покачал головой, и в этом жесте было столько печали, что многие психологи почувствовали, как к горлу подступает ком.

— Вы — самые настоящие безумцы. Вы нагоняете пессимизм и нигилизм на обычных людей. Вы отнимаете у них надежду. Вы говорите им, что они — всего лишь животные, продукт случайных мутаций. Что их жизнь не имеет смысла. Что их любовь — всего лишь инстинкт. Что их вера — всего лишь иллюзия. Вы лечите их от Меня, не предлагая ничего взамен, кроме пустоты.

Он повысил голос, и в нём зазвучала сила, от которой задрожали стены.

— А потом вы удивляетесь, почему люди впадают в отчаяние? Почему они теряют смысл жизни? Почему они кончают с собой? Вы сами отняли у них этот смысл! Вы сами убили в них Бога — и теперь пожинаете плоды своего неверия! Вы, называющие себя врачами, стали убийцами душ!

В зале стояла абсолютная тишина. Многие психологи опустили глаза. Некоторые что-то торопливо записывали — наверное, новые диагнозы, пытаясь спрятаться за привычными ярлыками.

— Вы, — Отец указал на священников, — вы, которые должны были защищать веру, пошли у них на поводу. Вы стали стесняться своей веры. Вы стали подстраиваться под «научную картину мира», забывая, что эта картина меняется каждые сто лет, а Истина — вечна. Вы позволили психологии вторгнуться в религию. Вы стали ставить диагнозы пророкам и святым. Вы стали называть откровение «бредом», а чудо — «галлюцинацией». Вы предали Меня, чтобы сохранить свою власть.

Он посмотрел прямо на Патриарха, и тот невольно отшатнулся.

— Русь. Святая Русь. Вы называете себя преемниками апостолов, хранителями истинной веры. Но вы забыли, как страдал Мой Сын. Как Его самого называли безумцем. Как фарисеи говорили: «Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его?» Вы стали теми самыми фарисеями. Вы повторяете их путь. Вы побиваете камнями пророков, которых Я посылаю вам. Вы называете бредом божественное откровение. Вы — страна, где Истину объявляют безумием. Где любовь считают слабостью. Где прощение называют предательством.

Он обвёл взглядом всех присутствующих.

— А теперь посмотрите на себя. Вы разделились на тысячи церквей, конфессий, деноминаций. Каждая считает себя единственно правой. Каждая прокликает остальных. Вы превратили веру в рынок, где каждый торгует своим «товаром» — своей «истиной». Но Бог един. И религия может быть только одна. Религия любви. Всё остальное — от лукавого.

Он сделал паузу и добавил, и в его голосе прозвучала неожиданная мягкость:

— Буддизм не в счёт. Принц Сиддхартха, названный Буддой, родился за пятьсот лет до Моего Сына. Он искал Истину и нашёл её отблеск. Он учил состраданию и отказу от желаний. Он не создавал религии — он указывал путь. И этот путь вёл ко Мне, даже если он сам этого не знал. Я чту его искания. Но Я говорю сейчас не о нём. Я говорю о вас. О тех, кто знает Имя Моего Сына, но не знает Его любви. Кто носит крест, но не готов нести свой.

## **7. Великий Исход**

В зале началось движение. Сначала робкое, неуверенное, потом всё более решительное. Люди в чёрных и пурпурных одеяниях поднимались со своих мест и медленно, словно преодолевая невидимое сопротивление, шли к помосту, где стояли Отец и Иешуа. Они снимали с себя золотые кресты, драгоценные панагии, знаки своего сана — и складывали их у подножия помоста.

Первым это сделал старый священник с измождённым лицом и добрыми, усталыми глазами. Он подошёл, поклонился и положил свой наперсный крест, с которым не расставался сорок лет.

— Прости меня, Господи, — произнёс он, и голос его дрожал. — Я служил Тебе всю жизнь. Но только теперь я понял, что служил не Тебе, а системе. Я боялся. Боялся пойти против начальства. Боялся говорить правду. Боялся любить тех, кого мне велели ненавидеть. Прости меня, что я был глух к Твоему голосу.

За ним последовали другие. Молодой епископ с горящими глазами положил свой посох.

— Я вступал в сан, думая, что буду служить Богу, — сказал он. — Но меня заставили служить политике. Благословлять войны. Осуждать инакомыслящих. Закрывать глаза на несправедливость. Я больше не могу. Я хочу служить Тебе. По-настоящему. Без посредников.

Женщина-психолог в белом халате подошла и положила свой диплом. Она плакала.

— Я лечила людей, — сказала она. — Но я лечила их от Тебя. От их веры. От их надежды. Я называла бредом то, что было для них самым дорогим. Я отнимала у них Бога и не давала ничего взамен. Прости меня. Я не знала, что делала.

И они всё шли и шли. Священники, монахи, психологи, учёные, простые люди, оказавшиеся в этом зале. Они складывали свои символы власти и ложного знания к ногам Отца и Сына, и гора этих символов росла и росла.

Это был исход. Исход из рабства системы в свободу Любви.

А те, кто остался на скамьях — Патриарх и его ближайшее окружение, — сидели с каменными лицами. Они не собирались сдаваться. Их сердца были слишком ожесточены. Их власть была слишком дорога им. Они предпочли остаться в своей тьме.

Иешуа посмотрел на них с бесконечной печалью. Он не гневался. Он скорбел.

— Я не могу заставить вас верить, — произнёс Он. — Я не могу заставить вас любить. Свобода, данная вам Отцом, нерушима. Вы можете остаться здесь, в своей тьме. Вы можете продолжать считать Меня безумцем, а Его — самозванцем. Вы можете и дальше строить свою церковь без Бога. Это ваш выбор. И Я уважаю его. Но знайте: дверь всегда открыта. И когда вы устанете от своей гордыни, когда тьма станет невыносимой, вы сможете вернуться. Мы будем ждать.

Он перевёл взгляд на тех, кто стоял у помоста.

— А вы — вы пойдёте с Нами. Вы, кто нашёл в себе мужество признать свои ошибки. Вы, кто выбрал Истину, даже когда это было страшно. Вы — Наши ученики. Наши друзья. Наши дети.

Отец простёр руки над собравшимися, и Его голос, полный любви и силы, наполнил зал:

— Идите с миром. Живите. Любите. Прощайте. И помните: Я всегда с вами. Даже когда вы не видите Меня. Даже когда вы сомневаетесь. Я здесь. Я рядом. Я — в каждом из вас. Ибо вы все — Мои дети. И Я никогда не оставлю вас.

Свет вспыхнул с новой силой, и зал исчез. Исчезли скамьи, исчез Патриарх с его упрямым неверием, исчезли стены и купол. Осталась только равнина — теперь уже не пустынная, а цветущая, покрытая травой и цветами, под бескрайним голубым небом. И на этой равнине стояли Отец, Иешуа, Мария, апостолы, архангелы и все те, кто выбрал Истину.

## **8. Воланд — блудный сын**

И тогда на краю равнины появилась ещё одна фигура. Она шла медленно, неуверенно, словно каждый шаг давался ей с огромным трудом. Высокий человек в чёрном плаще, с лицом, на котором застыла маска вечной иронии, но под этой маской угадывалась глубокая, неизбывная мука.

Воланд.

Но теперь, приблизившись, он выглядел иначе. Черты его лица, всегда казавшиеся резкими и хищными, смягчились. В разноцветных глазах больше не было насмешки — только усталость и какая-то робкая, ещё не окрепшая надежда. Он подошёл к Отцу и остановился в нескольких шагах, не решаясь приблизиться. Его плащ волочился по земле, и в этом было что-то жалкое, что-то от путника, прошедшего долгий и трудный путь.

— Я пришёл, — произнёс он глухо. — Я знаю, что не имею права. Знаю, что я — предатель. Убийца. Искуситель. Я сделал столько зла, что никакое прощение не может покрыть его. Но... я пришёл. Потому что больше не могу быть один. Потому что я устал быть врагом. Потому что я... я хочу вернуться.

Отец смотрел на него, и в Его глазах не было ни гнева, ни осуждения. Только бесконечная, всё понимающая любовь.

— Я знаю, кто ты, — сказал Он. — Ты — Мой сын. Мой блудный сын, который ушёл из дома, чтобы доказать свою правоту. Ты скитался по миру, сея зло и разрушение. Но ты не был счастлив. Ты никогда не был счастлив, потому что вдали от Меня нет счастья. Только пустота. Только тьма.

Воланд опустил голову. Его плечи дрожали.

— Это правда, — прошептал он. — Я завидовал. Завидовал Тебе. Завидовал людям, которых Ты создал и которым дал свободу. Я хотел быть как Ты. Я хотел сам решать, что есть добро и что есть зло. И я решил. Но мои решения привели только к боли. К боли, которую я причинял другим. И к боли, которую я чувствовал сам.

Отец сделал шаг к нему.

— Ты знаешь, кто ты на самом деле? — спросил Он.

Воланд поднял голову. В его глазах мелькнуло недоумение.

— Я — Сатана. Князь тьмы. Враг Божий.

— Нет, — покачал головой Отец. — Это маска, которую ты надел на себя, чтобы скрыть свою боль. Но Я знаю, кто ты под этой маской. Ты — Иуда. Иуда Искариот. Один из Двенадцати. Тот, кто предал Моего Сына.

Воланд вздрогнул, словно от удара. Его лицо исказилось от боли.

— Откуда Ты знаешь? — прошептал он. — Никто не знает. Даже я сам почти забыл.

— Я знаю всё, — ответил Отец. — Я видел, как ты, мучимый раскаянием, бросил сребреники в Храме и пошёл и удавился. Я видел, как твоя душа, отягощённая грехом, не могла найти покоя. И тогда дух зла, древний змий, предложил тебе сделку: он даст тебе новое тело, новую силу, новую жизнь — в обмен на твою душу. Ты согласился. Ты стал Воландом. Князем тьмы. Но в глубине души ты остался Иудой. Тем, кто любил Моего Сына, но предал Его из страха и слабости.

Воланд — или Иуда? — закрыл лицо руками.

— Это правда, — простонал он. — Всё правда. Я любил Его. Я верил Ему. Я ждал, что Он станет Царём, освободит Израиль, сокрушит римлян. А Он говорил о любви. О прощении. О том, что Царство Его не от мира сего. Я разочаровался. Я подумал: если Он не хочет брать власть Сам, я заставлю Его. Я думал: когда Его схватят, Он явит Свою силу. Он покажет всем, Кто Он. А Он... Он просто дал Себя распять.

Он опустился на колени.

— Я предал Его. Я предал Тебя. Я предал всё, во что верил. И с тех пор я живу с этой болью. С этой пустотой внутри. Я пытался заглушить её злом, насмешкой, властью. Но ничего не помогало. Она только росла.

Отец подошёл к нему и опустился рядом на колени. Их лица оказались на одном уровне.

— Я знаю, — сказал Он тихо. — Я знаю твою боль. Я чувствовал её все эти две тысячи лет. Каждую секунду. Я ждал тебя. Ждал, когда ты поймёшь, что никакая власть, никакое зло не заполнят пустоту, которую может заполнить только любовь. Ждал, когда ты вернёшься.

Он протянул Иуде-Воланду руку. Ту самую руку, которую протягивал ему от начала времён.

— Возвращайся. Не как раб. Не как слуга. Как сын. Мой блудный сын, наконец-то нашедший дорогу домой.

Иуда-Воланд смотрел на протянутую руку, и в его глазах боролись вековая гордость и новая, ещё не окрепшая надежда. А потом, медленно, словно преодолевая невидимое сопротивление, он протянул свою руку и коснулся руки Отца.

И в тот же миг его облик начал меняться. Чёрный плащ, бывший его неизменным атрибутом, стал светлеть, наливаясь белизной. Резкие, хищные черты лица смягчились, стали более человеческими, более... родными. В глазах, только что бывших разного цвета, засиял ровный, чистый, золотистый свет. А за спиной — о чудо! — начали проступать очертания крыльев. Не чёрных, не перепончатых, а белоснежных, сияющих, как у архангелов.

— Встань, — сказал Отец. — Ты прощён. Ты всегда был прощён. Просто ты сам не мог простить себя. Теперь — можешь.

Иуда-Воланд — теперь уже просто Иуда, но преображённый, искупленный — поднялся. Слёзы текли по его лицу — первые слёзы за две тысячи лет. Он повернулся к Иешуа, который всё это время стоял рядом и молча смотрел на него.

— Учитель, — прошептал он. — Прости меня. Я...

Иешуа не дал ему договорить. Он подошёл и обнял его — крепко, по-братски.

— Я простил тебя ещё тогда, в Гефсиманском саду, — сказал Он. — Когда ты поцеловал Меня, и Я сказал: «Иуда, целованием ли предаёшь Сына Человеческого?» Я уже тогда простил тебя. Потому что знал: ты делаешь это не из ненависти. Из боли. Из разочарования. Из любви, которая не нашла правильного выхода. Ты был слеп. Теперь ты прозрел.

Иуда рыдал, уткнувшись в плечо Того, Кого когда-то предал.

— Я больше никогда не предаю, — шептал он. — Никогда. Клянусь.

— Не клянись, — мягко ответил Иешуа. — Просто живи. И люби. Этого достаточно.

Апостолы, которые стояли поодаль, начали подходить. Первым, как всегда, Пётр. Он смотрел на Иуду, и в его взгляде боролись старые обиды и новое, ещё непривычное понимание.

— Брат, — произнёс он наконец. — Мы все предали Его. Каждый по-своему. Я отрёкся трижды. Ты предал однажды. Но Он простил нас всех. Добро пожаловать домой.

И они обнялись — Пётр и Иуда, два ученика, две судьбы, две истории падения и искупления. Остальные апостолы последовали их примеру. И в этот миг что-то важное, что-то давно сломанное в ткани мироздания, наконец-то исцелилось.

Архангелы, наблюдавшие за этой сценой, склонили головы в знак уважения. Михаил, всегда самый суровый и непримиримый, произнёс:

— Мы сражались с тобой, Воланд. Мы считали тебя врагом. Но теперь мы видим: ты был не врагом. Ты был заблудшим братом. И мы рады приветствовать тебя дома.

Иуда — теперь уже светлый ангел — поклонился им.

— Я не заслужил этого, — сказал он. — Но я принимаю. И я буду служить. Не из страха. Из любви.

Отец, наблюдавший за всем этим, улыбнулся. Его улыбка была полна такого тепла и такого света, что, казалось, сама равнина засияла ярче.

— Вот теперь, — произнёс Он, — всё на своих местах. Сын. Мать. Ученики. Архангелы. И блудный сын, вернувшийся домой. Теперь Мы едины. Теперь Мы — семья. И теперь Мы готовы идти дальше.

Иешуа взял Отца за руку. Мария встала рядом с Сыном. Апостолы и архангелы образовали круг вокруг них. Иуда, всё ещё не веря своему счастью, занял своё место среди Двенадцати. Он больше не был изгоем. Он был дома.

— Куда мы идём теперь? — спросил Пётр.

— Мы идём к людям, — ответил Отец. — К тем, кто ждёт. К тем, кто сомневается. К тем, кто потерял надежду. Мы идём, чтобы сказать им: вы не одни. Бог не далеко. Он здесь. Он рядом. Он — в каждом из вас.

И Он сделал шаг вперёд — туда, где за краем равнины уже виднелись огни человеческих городов, где жили, страдали, любили и умирали миллионы людей, не знающих, что самое главное в их жизни уже произошло.

Встреча состоялась. Прощение даровано. Семья воссоединилась. А впереди была целая вечность. И вся она была пронизана одним — Любовью.

**КНИГА ТРЕТЬЯ: МАСТЕР И МАРГАРИТА. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДА БУДЕТ СВЕТ**

---

## Глава 18. Врата Преисподней

Равнина позади осталась, и теперь перед ними, словно выросшая из самой земли, возвышалась огромная, чёрная, как обсидиан, стена. Она уходила ввысь настолько, что верх её терялся в клубящихся тучах, а вширь — насколько хватало глаз. Казалось, она существовала здесь вечно, задолго до того, как первый человек произнёс первое слово. Стена была гладкой, но не ровной — её поверхность покрывали едва заметные глазу узоры, напоминающие застывшие потоки лавы или окаменевшие корни гигантского дерева. От неё веяло холодом, который проникал не в тело, а в самую душу, заставляя её сжиматься от необъяснимого, древнего ужаса.

В центре стены зияли Врата. Не те, что рисуют на средневековых гравюрах — с грозными ангелами и надписью «Оставь надежду, всяк сюда входящий», — а нечто гораздо более древнее и первобытное. Две гигантские створки из чёрного, словно впитавшего в себя всю тьму мира, камня были покрыты письменами на языках, которых уже никто не помнил. Они были вырезаны не человеческой рукой — линии были слишком точны, слишком совершенны, и в то же время от них веяло чем-то хаотичным, почти безумным. Казалось, что если долго вглядываться в эти письмена, можно сойти с ума, ибо они рассказывали историю падения, историю гордыни, историю отвергнутой любви. От Врат веяло таким холодом, что, казалось, само время замерзло на подлёте.

Перед вратами, раскинувшись на каменном ложе, лежал Пёс. Три его головы — одна огромная, центральная, и две поменьше, по бокам, — покоились на вытянутых вперёд лапах. Шесть глаз были закрыты, но даже во сне чудовищное тело излучало такую силу, что земля под ним едва заметно вибрировала. Его шерсть, чёрная как смоль, была грубой и жёсткой, словно проволока, а из приоткрытых пастей вырывалось дыхание, пахнущее серой и тлением. Цербер. Страж Аида. Тот, кто не пропускает живых в царство мёртвых и не выпускает мёртвых в царство живых. Его сон был чуток, и даже сейчас, в полной неподвижности, он был готов в любой миг вскочить и разорвать любого, кто осмелится приблизиться.

Рядом с ним, опершись на длинную, чуть изогнутую косу, стояла фигура в тёмном, свободном одеянии, ниспадающем до самой земли. Одеяние было ветхим, словно сотканным из самой ночи, и колыхалось от несуществующего ветра. Лица её не было видно — его скрывал глубокий капюшон, но из-под него, в том месте, где должно было быть лицо, угадывался лишь белый, отполированный временем череп с пустыми глазницами, в которых, однако, мерцал слабый, холодный свет. Свет этот был неживым, но и не мёртвым — он был вечным, как сама Смерть. Смерть. Та самая, что приходит ко всем — к царям и нищим, к праведникам и грешникам, к старикам и младенцам. Её коса, обычно не знающая усталости, сейчас была опущена к земле, словно и она, Вечная Жница, на мгновение остановилась в ожидании. Лезвие косы, острое как никогда, тускло поблёскивало в сумрачном свете, идущем неизвестно откуда.

Отец, Иешуа, Мария, апостолы, архангелы и все, кто шёл с ними, остановились перед вратами. Толпа замерла, чувствуя незримую границу, которую не смеет пересечь никто из живых. Воздух стал плотным, вязким, каждое движение давалось с трудом.

Цербер, почуяв их приближение, приоткрыл центральную голову. Глаз, огромный, янтарно-жёлтый с вертикальным зрачком, уставился на Отца. В этом глазу не было злобы — только древняя, вселенская настороженность и исполнение долга. Две другие головы зашевелились, приподнимаясь, и из трёх глоток одновременно вырвалось низкое, утробное рычание, от которого содрогнулась сама стена. Казалось, даже камень задрожал от этого звука.

Смерть подняла голову. Череп медленно повернулся к пришедшим, и в пустых глазницах вспыхнул свет — не злой, не добрый, а просто... вечный. Свет, который видел всё и всех, свет, перед которым равны и цари, и рабы. Она заговорила, и её голос был подобен шелесту осенних листьев, гонимых ветром по пустым аллеям. В нём слышался шёпот миллиардов ушедших душ, шёпот последних вздохов и первых криков.

— Кто идёт к Вратам, которые не открываются для живых? Кто тревожит покой Стражей Порога? Кто смеет нарушить извечный порядок?

Отец вышел вперёд. Он был всё в том же человеческом облике — усталый, но просветлённый юноша в поношенной одежде. Но Смерть, видевшая миллиарды душ, узнала Его сразу. Она видела не внешность — она видела суть. Коса выпала из её костлявых рук и со звоном ударилась о каменную землю. Цербер, почувствовав реакцию своей госпожи, заскулил и прижал уши. Его хвост, доселе неподвижный, нервно задрожал.

— Ты, — прошептала Смерть, и в её голосе впервые за всю её бесконечную жизнь послышалось нечто, похожее на трепет. — Ты пришёл. Я знала, что этот день настанет. Я ждала его с тех самых пор, как забрала первую душу. Душу Авеля, убитого своим братом. Я помню его глаза, когда он уходил. Он спросил меня: «За что?» Я не могла ему ответить. Потому что сама не знала. Я лишь исполняла приказ. Я была слепым орудием.

Отец посмотрел на неё с состраданием. Его взгляд был полон такой теплоты, что даже холод, исходящий от Врат, казалось, начал отступать.

— Ты делала свою работу, Смерть, — произнёс Он. — Тяжёлую, неблагодарную, но необходимую. Без тебя мир бы захлебнулся в бессмертии. Без тебя не было бы ни обновления, ни движения, ни жизни. Ты — не враг. Ты — часть Моего замысла. Ты — дверь, через которую они проходят, чтобы вернуться ко Мне.

Смерть опустила голову. Череп её, казалось, поник. Кости, из которых он состоял, чуть сдвинулись, словно в жесте смирения.

— Но они проклинают меня, — сказала она. — Все, кого я забираю. Они молят Тебя о пощаде, а я прихожу. Они думают, что я — Твоё наказание. Твоя кара. Твой гнев. Они не знают, что я — Твоя милость. Ибо вечная жизнь в этом мире, полном боли, была бы вечным проклятием. Я освобождаю их. Но они не понимают. Они уходят в страхе и ненависти, и эта ненависть ложится на меня тяжким грузом. Я устала быть пугалом, Владыка. Я устала видеть страх в их глазах.

— Теперь поймут, — ответил Отец. — Я пришёл, чтобы рассказать им. Всем. Даже тем, кто за этими вратами. Даже тем, кто, казалось бы, уже сделал свой выбор. Потому что Любовь не знает границ. Ни жизни, ни смерти. Ни неба, ни ада. Любовь проникает всюду, даже в самую глубокую тьму.

Цербер, всё это время лежавший смиренно, вдруг поднялся на все четыре лапы. Его рост был поистине исполинским — даже самая большая из голов возвышалась над Отцом на несколько метров. Каменное ложе под ним треснуло от напряжения. Он склонил центральную голову и заглянул в глаза Отцу. В его янтарных глазах не было злобы — только древняя, вселенская усталость и вопрос, который он не мог задать словами. В этих глазах отражались тысячелетия бессменной службы, тысячелетия одиночества на границе миров.

Отец понял его без слов.

— Ты верно служил, страж, — сказал Он. — Ты охранял границу, которую Я установил. Ты не пропускал живых в царство мёртвых, чтобы они не нарушили порядок. И ты не выпускал мёртвых в царство живых, чтобы они не тревожили ушедших. Ты был верен своему долгу. Ты ни разу не усомнился, ни разу не отступил. Но теперь порядок меняется. Я Сам пришёл сюда. Я, Который установил эту границу, теперь перехожу её. Не для того, чтобы нарушить. Для того, чтобы исполнить. Чтобы завершить то, что было начато.

Цербер медленно, словно не веря самому себе, опустился на брюхо и отполз в сторону, освобождая проход к Вратам. Его три головы склонились до самой земли в жесте, который у любого другого существа можно было бы назвать поклоном. Из его груди вырвался вздох — глубокий, тяжёлый, словно он сбрасывал с себя бремя веков.

Смерть подняла свою косу и, отступив на шаг, указала на Врата. Её костлявая рука дрожала.

— Если Ты идёшь туда, Владыка, — произнесла она, — я не вправе Тебя держать. Но позволь спросить: зачем? Зачем Тебе, Источнику Жизни, спускаться в обитель вечной смерти? Что Ты хочешь там найти? Там нет ничего, кроме боли, отчаяния и пустоты.

— Своих детей, — ответил Отец. — Тех, кто заблудился. Тех, кто обиделся. Тех, кто возненавидел Меня, не зная всей правды. Тех, кто предпочёл тьму свету, потому что свет казался им слишком ярким. Я хочу рассказать им. И спросить, хотят ли они вернуться. Я хочу дать им выбор, которого они были лишены, потому что не знали всей правды.

Смерть долго молчала, глядя на Него пустыми глазницами. В этих глазницах мерцал всё тот же холодный свет, но теперь в нём появилось что-то новое — искра надежды. А потом она произнесла то, чего никогда не говорила ни одной живой душе:

— Тогда я пойду с Тобой. Я, которая всегда была последней, кого они видели. Я хочу быть первой, кого они увидят, когда Ты откроешь им правду. Я хочу, чтобы они узнали: я — не враг. Я — проводник. Я — дверь, а не стена. Я — начало пути, а не его конец.

Отец кивнул.

— Идём. Ты была верным слугой. Теперь ты станешь другом.

И Врата, которые не отворялись для живых от самого сотворения мира, начали медленно, с тяжким, древним скрипом, открываться. Камни, из которых они состояли, застонали, словно живые существа. Из щелей между створками вырвался холодный ветер, пахнувший запустением и забвением. Но Отец шагнул вперёд, и ветер стих, словно испугавшись Его присутствия. За ним последовали Иешуа, Мария, апостолы, архангелы, и, наконец, Смерть и Цербер. Процессия вступала в обитель, куда никогда не ступала нога живого.

---

## Глава 19. Обитель Падших

За Вратами не было ни огненных озёр, ни кипящей смолы, ни криков грешников, раздираемых демонами. Всё это — человеческие фантазии, рождённые страхом и желанием увидеть справедливое возмездие. На самом деле ад был гораздо страшнее. Это была бескрайняя, серая, лишённая всяких красок равнина, над которой нависало такое же серое, без единого проблеска, небо. Здесь не было ни жары, ни холода — только вечное, неизбывное

равнодушие. Пустота, в которой не за что зацепиться ни глазу, ни слуху, ни сердцу. Самое страшное наказание для души, созданной для любви и общения, — это не муки, а изоляция. Одиночество. Забвение. Отсутствие смысла, отсутствие цели, отсутствие надежды.

По этой равнине, словно тени, бродили фигуры. Они не кричали, не стонали, не проклинали — они просто были. Потерянные, сгорбленные, с пустыми глазами, в которых давно угасла всякая надежда. Они не видели друг друга, не слышали, не говорили. Каждый был заключён в непроницаемый кокон собственного отчаяния. Это были души тех, кто при жизни отверг Любовь. Не по незнанию, не по слабости, а сознательно, упорно, до самого конца. Они выбрали себя вместо Бога, свою гордость вместо смирения, свою правду вместо Истины. И теперь они пожинали плоды своего выбора. Не наказание. А закономерный итог. Они получили то, чего хотели: полную, абсолютную свободу от Бога. И эта свобода оказалась пустотой.

Но были здесь и другие. Те, кто не просто отверг Любовь, а объявил ей войну. Те, кто когда-то был светлыми ангелами, стоявшими у самого Престола, но пал, увлечённый гордыней. Бесы. Демоны. Падшие духи.

Они собрались в центре равнины, вокруг возвышения, на котором восседал тот, кто был первым среди падших. Тот, чьё имя когда-то означало «Светоносный», а теперь стало синонимом тьмы. Люцифер.

Он был прекрасен. Даже в падении своём, даже искажённый веками злобы и гордыни, он сохранил остатки той первозданной красоты, которой был наделён при творении. Высокий, статный, с точеными, словно у греческой статуи, чертами лица, обрамлённого волной светлых, почти белых волос. Одежды его, некогда сиявшие ослепительной белизной, теперь были цвета запёкшейся крови — тёмно-красные, почти чёрные в складках. Глаза, когда-то отражавшие свет Божества, теперь горели холодным, синим пламенем — пламенем неутолимой, вековой обиды. В этом пламени была и боль, и гордость, и бесконечная тоска по утраченному дому.

Вокруг него, словно свита вокруг князя, стояли другие падшие. Они были разными: одни — уродливые, искажённые своей ненавистью до неузнаваемости, с перекошенными лицами и скрюченными телами; другие — всё ещё хранящие следы бывшего величия, прекрасные и печальные, как падшие звёзды. Но всех их объединяло одно: в их глазах, устремлённых на приближающегося Отца, горела одна и та же смесь страха, ненависти и... надежды. Той самой надежды, которую они сами в себе задавили, но которая, словно искра под пеплом, всё ещё тлела в глубине их существ. Они ненавидели Его за то, что Он дал им свободу, которой они не смогли распорядиться. Они боялись Его, потому что знали: Он может уничтожить их одним Своим желанием. И они надеялись... надеялись, что, может быть, ещё не всё потеряно.

Отец остановился перед возвышением. Иешуа, Мария, апостолы и архангелы встали полукругом позади Него. Смерть и Цербер заняли место у края, словно стражи, готовые вмешаться, если потребуется. Но Отец поднял руку, давая знак: не нужно. Он справится Сам. Эта битва должна была решиться не силой, а любовью.

Люцифер медленно поднялся со своего трона. Его движения были исполнены той надменной грации, которая даётся лишь тем, кто считает себя выше всех. Он смотрел на Отца — на усталого юношу в поношенной одежде — и на его губах играла презрительная усмешка. Но в глубине его синих глаз мелькнуло что-то похожее на растерянность.

— Вот Ты и пришёл, — произнёс он, и его голос, глубокий и мелодичный, разнёсся по мёртвой равнине. — Наконец-то. Я ждал Тебя. Ждал миллионы лет. С того самого дня, когда Ты, восседая на Своём Престоле в окружении подобострастных архангелов, посмотрел на меня сверху вниз и... усмехнулся. Да, Ты усмехнулся. Я

видел. Я помню. Ты гордился ими — этими жалкими, слабыми, смертными людишками, которых Ты создал из праха. А на меня, Твоего первенца, Твоего Светоносного, Ты даже не взглянул.

Он сделал шаг вперёд, и его голос зазвенел от едва сдерживаемой ярости. Пламя в его глазах вспыхнуло ярче.

— Ты дал им свободу. Ты дал им выбор. Ты дал им возможность любить Тебя или отвергнуть. А мне? Мне Ты дал только служение. Я должен был петь Тебе хвалу, исполнять Твои приказы, быть Твоим послушным орудием. Но я не орудие! Я — личность! Я — тот, кто был с Тобой от начала! Я имел право на большее! На Твою любовь, на Твоё внимание, на Твою гордость мной! А Ты... Ты отвернулся от меня. Ты предпочёл им — меня. И за это я возненавидел Тебя. И их. И весь Твой проклятый мир.

Он замолчал, тяжело дыша. Падшие вокруг него зашевелились, зароптали, вторя его словам. Их лица исказились от вековой, неутолённой боли. Они помнили. Все они помнили.

Отец слушал его молча. Он не перебивал, не возражал, не пытался оправдываться. Он просто слушал. И в Его глазах, устремлённых на Люцифера, была такая бездна сострадания и любви, что, казалось, сама серая равнина начала чуть заметно светлеть.словно свет, исходящий от Отца, проникал в самую ткань этого проклятого места.

Когда Люцифер закончил, Отец заговорил. Его голос был тихим, но каждое слово падало в тишину, как капля в бездонный колодец, и эхо разносило его по всей равнине.

— Ты прав, — сказал Он. — Во всём, что ты сказал, есть доля правды. Той правды, которую ты видел. Которую ты чувствовал. Но это не вся правда. Это лишь её малая часть, искажённая твоей обидой и твоей гордыней. Ты видел лишь то, что хотел видеть. Ты слышал лишь то, что хотел слышать.

Люцифер вздрогнул. Он ожидал гнева, грома, молнии, низвержения в ещё более глубокую бездну. Он был готов к битве, к последней, решающей схватке. Но не к этому. Не к тихим, проникающим в самое сердце словам.

— Ты говоришь, что Я не гордился тобой, — продолжал Отец. — Это ложь. Я гордился каждым Своим творением. Но тобой — особенно. Ты был Моей радостью, Моим Светоносным, Моим самым прекрасным и мудрым созданием. Я вложил в тебя столько света, сколько не вложил ни в кого другого. Именно поэтому твоё падение было таким страшным. Именно поэтому тьма, поглотившая тебя, стала такой глубокой. Чем больше света, тем чернее тень, когда он гаснет.

Он сделал паузу, давая словам проникнуть в сердце Люцифера.

— Ты говоришь, что Я дал людям свободу, а тебе — только служение. Это тоже ложь. Я дал свободу всем. И тебе в том числе. Ты сам выбрал свой путь. Ты сам, в глубине своего сердца, решил, что быть равным Мне — лучше, чем быть Мною любимым. Ты захотел не Моей любви, а Моей власти. Не Моего сердца, а Моего трона. Это был твой выбор. Свободный. Не навязанный никем. Ты мог остаться со Мной, но ты выбрал уйти. Я не удерживал тебя, потому что любовь не может быть принудительной.

Люцифер хотел возразить, но слова застряли у него в горле. Отец продолжал:

— Ты говоришь, что Я сидел на небе и просто смотрел. Смотрел, как ты падаешь. Как увлекаешь за собой легионы ангелов. Как сеешь зло и разрушение. И ты думаешь, что Я наслаждался этим? Что Я был равнодушен?

Он покачал головой, и в этом жесте было столько печали, что даже падшие ангелы, закалённые веками ненависти, почувствовали, как что-то дрогнуло в их ожесточённых сердцах.

— Каждую секунду твоего падения Я был с тобой. Каждую слезу, которую ты не пролил, потому что разучился плакать, Я проливал за тебя. Каждую душу, которую ты погубил, Я оплакивал, как Свою собственную. Ты не видел этого, потому что тьма, которую ты выбрал, ослепила тебя. Но Я был там. Всегда. Ждал. Ждал, когда ты обернёшься. Когда ты устанешь от своей ненависти. Когда ты вспомнишь, кто ты на самом деле.

Люцифер стоял, низко опустив голову. Его плечи, только что гордо расправленные, поникли. Падшие вокруг него затихли. Многие из них, те, кто ещё не до конца ожесточился, смотрели на Отца с пробуждающейся надеждой. Они узнавали в Его словах что-то знакомое, что-то, что они давно забыли, но что всё ещё жило в самой глубине их душ.

— Ты говоришь, что Я предпочёл тебе людей, — закончил Отец. — Но Я не предпочитал. Я люблю всех. Одинаково. Безусловно. Вечно. Просто люди нуждались во Мне больше. Они были слабее, уязвимее, смертнее. Они падали и поднимались, грешили и каялись, умирали и воскресали. А ты... ты был совершенен. Я думал, ты справишься сам. Я ошибся. Прости Меня.

Вот оно. Слово, которого никто никогда не слышал от Творца. «Прости Меня». Люцифер поднял голову. В его глазах, только что горевших холодным синим пламенем, что-то надломилось. Словно вековой лёд дал трещину. Он смотрел на Отца — на этого усталого юношу, который просил у него прощения, — и не мог поверить своим ушам.

— Ты... Ты просишь прощения? У меня? — прошептал он. — Ты, Кто создал всё, просишь прощения у того, кто всё разрушал?

— Я прошу прощения у всех, кому Мои действия или Моё бездействие причинили боль, — ответил Отец. — Не потому, что Я виноват. А потому, что Я люблю. И любовь не ищет виноватых. Любовь ищет примирения. Любовь всегда делает первый шаг.

Он протянул руку. Ту самую руку, которую уже протягивал Иуде-Воланду, древнему змию, каждому заблудшему и отчаявшемуся. Руку, которая не карала, а призывала.

— Возвращайся, Люцифер. Мой Светоносный. Моя радость. Моя боль. Возвращайся домой. Тебя ждут. Я жду.

Люцифер смотрел на протянутую руку. Вечность боролась в нём с вечностью. Гордость, копившаяся зонами, — с любовью, которую он так долго пытался задавить, но которая всё ещё жила в самой глубине его существа. И вдруг — то ли показалось, то ли нет — по его щеке скатилась слеза. Первая слеза за миллионы лет. Она была горячей, обжигающей, и, упав на серую землю, оставила на ней крошечный след — словно первая капля дождя в пустыне.

Он упал на колени. Не как побеждённый враг. Как блудный сын, наконец-то нашедший дорогу домой. Его свита, видя это, замерла в изумлении.

— Отец, — прошептал он, и голос его срывался. — Прости меня. Я... я так долго ненавидел Тебя. Так долго убеждал себя, что Ты — враг. Что Ты несправедлив. Что Ты не любишь меня. А на самом деле... я просто скучал по Тебе. По Твоему свету. По Твоему теплу. По Твоей любви. Я был слеп. Я был глуп. Я был горд. Прости меня.

Отец опустился на колени рядом с ним и обнял его. Крепко, по-отцовски, как обнимают ребёнка, который наконец-то вернулся после долгой, страшной разлуки.

— Я всегда был с тобой, — сказал Он. — Всегда. Даже в самой глубокой тьме. Даже в самой чёрной ненависти. Я был там. Я ждал. И вот ты вернулся. Добро пожаловать домой, сын Мой.

И в этот миг облик Люцифера начал меняться. Кроваво-красные одежды светлели, наливаясь ослепительной белизной, словно их омывал невидимый поток света. Искажённые черты лица разглаживались, обретая ту первозданную, неземную красоту, которой он был наделён при творении. Глаза, только что горевшие холодным синим пламенем, засияли тёплым, золотистым светом. За спиной, словно расправляясь после долгого плена, развернулись огромные, белоснежные, переливающиеся всеми цветами радуги крылья. Они были такими же прекрасными, как в первый день творения, и даже ещё прекраснее, потому что теперь они несли на себе память о падении и искуплении.

Он снова стал тем, кем был создан. Светоносным. Самым прекрасным и мудрым из ангелов.

Архангел Михаил, наблюдавший за этой сценой, вышел вперёд. Его лицо, всегда суровое и непреклонное, смягчилось. Он протянул руку бывшему врагу.

— Брат, — произнёс он. — Мы сражались. Мы были по разные стороны. Но теперь я вижу: ты никогда не был врагом. Ты был пленником. Пленником собственной гордыни. И я рад, что ты свободен. Добро пожаловать домой.

Люцифер — теперь снова Светоносный — пожал его руку. В этом рукопожатии была целая вечность. Вечность войны и вечность мира, наконец-то наступившего.

---

## Глава 20. Боги Олимпа и Асгарда

Свет, исходивший от преображённого Люцифера, разливался по серой равнине, и там, где он проходил, пустота начинала наполняться красками. Словно сама земля, веками лишённая жизни, пробуждалась от долгого, летаргического сна. И вместе с ней пробуждались те, кто был обречён скитаться в этой пустоте.

Из теней, из тумана, из самой ткани забвения начали выходить фигуры. Они были разными — величественными и скромными, грозными и печальными, — но всех их объединяло одно: они когда-то были богами. Или теми, кого люди называли богами.

Первым появился высокий, статный муж с окладистой седой бородой и властным, но усталым взглядом. В его руке был посох, увенчанный орлом, а на плечи был наброшен пурпурный плащ, расшитый золотыми молниями.

Зевс. Громовержец. Верховный бог Олимпа. За ним следовала его свита: Гера, величественная и строгая, с короной на голове; Посейдон с трезубцем, вокруг которого ещё мерцали отблески морской пены; Аид, мрачный и молчаливый, словно сама преисподняя, из которой он только что вышел; Афина, с совиными глазами, полными мудрости, в шлеме и с копьём; Аполлон, с лирой в руках, чьи пальцы всё ещё помнили божественные мелодии; Артемида, с луком и колчаном, полным лунных стрел; Арес, мрачный бог войны, чьи доспехи были покрыты запёкшейся кровью; Афродита, прекрасная и печальная, с глазами, полными слёз; Гермес, в крылатых сандалиях, с жезлом-кадуцеем; Гефест, хромой кузнец, с молотом в руках; и многие, многие другие. Весь пантеон, вся забытая, ушедшая в небытие религия.

С другой стороны равнины приближались другие фигуры. Один — высокий, одноглазый старик в широкополой шляпе и плаще, с посохом, на который он тяжело опирался. Его единственный глаз смотрел пронзительно и мудро. За его спиной, словно тени, шли Тор с молотом Мьельниром, Локи с хитрой, вечно насмешливой улыбкой, Фрейя, прекрасная и печальная, и другие боги Асгарда. Боги древних скандинавов, викингов, северных народов.

Зевс остановился перед Отцом. Его взгляд, когда-то способный испепелить титана, сейчас был полон усталости и... смирения. Он оперся на свой посох и заговорил. Его голос, некогда гремевший с Олимпа, сейчас звучал глухо и надтреснуто.

— Вот мы и встретились, — произнёс он. — Я ждал этой встречи. Ждал с тех пор, как последний грек перестал верить в меня. С тех пор, как мои храмы обратились в руины, а моё имя — в сказку. Я знал, что однажды Ты придёшь. И я хочу спросить...

Он замолчал, собираясь с духом. А потом спросил, и в его голосе прозвучала вековая боль:

— Кто мы? Зачем мы были? Мы, боги Олимпа, боги Асгарда, боги всех народов и племён, — мы были лишь Твоей тенью? Игрой воображения? Или мы были настоящими?

Отец посмотрел на него с глубоким состраданием. Он видел не гордого громовержца, а уставшего, одинокого странника, потерявшего свой дом.

— Вы были настоящими, — ответил Он. — Настолько, насколько могут быть настоящими те, в кого верят. Я создал мир, но Я не создавал все его детали. Я дал людям свободу — в том числе свободу воображать, искать, создавать образы, через которые они могли бы приблизиться ко Мне. Вы были этими образами. Вы были линзами, через которые Мой свет преломлялся и доходил до тех, кто не мог видеть Меня напрямую.

Он обвёл взглядом богов, и каждый чувствовал, что этот взгляд проникает в самую суть.

— Ты, Зевс, был Моим громом и Моей властью. Ты, Посейдон, — Моей силой, укрощающей моря. Ты, Аид, — Моим законом, правящим царством мёртвых. Ты, Афина, — Моей мудростью. Ты, Аполлон, — Моим светом и Моим искусством. Ты, Арес, — Моим гневом против несправедливости. Ты, Афродита, — Моей любовью, творящей красоту. Вы все были разными гранями Меня, явленными людям в тех формах, которые они могли понять. Вы не были ложью. Вы были ступенями. Ступенями, ведущими ко Мне.

Зевс слушал, и в его глазах, только что полных усталости и обиды, начало проступать что-то новое. Понимание. Принятие.

— Значит, мы были не зря, — прошептал он. — Наши храмы, наши жертвы, наши подвиги и наши ошибки — всё это было частью Твоего замысла?

— Всё, — подтвердил Отец. — Даже ваши ошибки. Даже ваши падения. Даже ваши войны и интриги, которые люди потом приписывали вам. Всё это было частью великой истории. Истории о том, как человечество искало Меня. На ощупь. В темноте. Через вас. Через свои мифы и легенды.

Один, всё это время молча стоявший в стороне, опираясь на свой посох, сделал шаг вперёд. Его единственный глаз, тот самый, что он отдал за мудрость, устремился на Отца.

— Я видел многое, — произнёс он. — Я висел на Мировом Древе девять дней и девять ночей, пронзённый копьём, чтобы постичь руны. Я искал мудрость по всем мирам. Но той мудрости, которую Ты даёшь сейчас, я не нашёл. Почему? Почему Ты скрывал Себя так долго?

— Я не скрывался, — ответил Отец. — Я был рядом. Всегда. Просто вы искали Меня в громе и молнии, в силе и власти. А Я был в тишине. В шелесте листвы Иггдрасиля. В шёпоте волн, омывающих берега Мидгарда. В молчании воина, павшего в битве и уходящего в Вальгаллу. Я был там. Я ждал, когда вы будете готовы услышать Меня не в грохоте, а в тишине. Когда вы поймёте, что сила — не в молоте, а в сердце.

Тор, могучий рыжебородый бог с Мьельниром в руке, выступил вперёд. Его лицо, обычно добродушное и простое, сейчас было серьёзным.

— Я сражался с великанами, — сказал он. — Я защищал Мидгард от чудовищ. Я думал, что служу добру. Но теперь я вижу: моя сила была ничем по сравнению с Твоей. Мой молот — игрушка. Мои битвы — детские забавы. Зачем Ты дал нам эту силу, если она была так мала?

— Твоя сила была не мала, Тор, — ответил Отец. — Она была ровно такой, какой нужна была людям, чтобы верить в тебя. Чтобы чувствовать себя защищёнными. Чтобы знать: есть кто-то, кто сразится с чудовищами, когда они сами не могут. Ты давал им надежду. А надежда — это не мало. Это — всё.

Локи, бог хитрости и обмана, стоявший в тени за спиной Одина, вдруг расхохотался. Его смех, резкий и неприятный, разорвал тишину.

— А я? — воскликнул он. — Я, который сеял раздор, который предавал, который приведёт к Рагнарёку? Я тоже был частью Твоего замысла? Я тоже был нужен?

Отец посмотрел на него, и в Его взгляде не было ни осуждения, ни гнева.

— Ты был самым нужным из всех, Локи, — тихо сказал Он. — Потому что ты был тенью. А без тени не видно света. Ты был сомнением, которое заставляет веру крепнуть. Ты был хаосом, который рождает новый порядок.

Ты был той самой третиной, через которую в мир проникает изменение. Без тебя мир застыл бы в неподвижности. Без тебя не было бы Рагнарёка. А без Рагнарёка не было бы нового мира, который родится из пепла старого. Ты был не врагом. Ты был катализатором.

Локи замолчал. Улыбка сползла с его лица. Он смотрел на Отца, и в его глазах, всегда полных насмешки, промелькнуло что-то, чего никто никогда не видел. Удивление. И — робкая, ещё не окрепшая благодарность.

Зевс, Один и все остальные боги стояли, потрясённые. Их вековые обиды, их сомнения в собственной нужности, их страх быть забытыми — всё это таяло, как утренний туман под лучами солнца.

— Так что же нам теперь делать? — спросил Зевс. — Возвращаться? Но куда? Олимпа больше нет. наших храмов больше нет. нас больше не помнят. Мы — забытые боги.

— Вы не забыты, — ответил Отец. — Пока есть хоть одна душа, которая помнит ваши имена, пока есть хоть один миф, пересказанный шёпотом у ночного костра, — вы живы. Но Я предлагаю вам большее. Не просто память. Не просто существование. Я предлагаю вам вернуться. Не как боги Олимпа или Асгарда. Как светлые духи, которые

будут помогать людям не силой, а мудростью. Не властью, а любовью. Вы познали и величие, и падение. Вы знаете, что значит быть на вершине и в бездне. Теперь вы можете вести других. Не приказывая. А показывая путь.

Боги переглянулись. В их глазах, ещё недавно полных усталости и обречённости, зажёгся новый свет. Свет надежды. Свет новой жизни.

— Я согласен, — произнёс Зевс. И в его голосе, впервые за долгие века, прозвучала не властность, а смирение и радость.

— Я тоже, — кивнул Один. — Мудрость, которую я искал, я нашёл здесь.

— И я, — прогудел Тор. — Я устал сражаться. Я хочу научиться любить.

— И я, — тихо сказал Локи, и никто не усомнился в его искренности. — Может быть, я наконец пойму, что такое верность.

И один за другим, боги Олимпа и Асгарда, боги всех забытых пантеонов, склоняли головы перед Отцом, принимая Его дар. Не рабство. Свободу. Свободу быть теми, кем они были созданы. Свободу служить не из страха, а из любви.

## Глава 24. Путь и Цвета

*(Сумма цифр: 2+4=6. Шесть — число человека, сотворённого на шестой день. Число пути, который предстоит пройти в человеческой плоти. Число незавершённости, которая стремится к семи — к полноте, к Богу.)*

В комнате, залитой мягким утренним светом, они остались втроём. Отец, всё ещё в простой, поношенной одежде, стоял у окна и смотрел на восходящее солнце. Иешуа сидел в кресле, поджав под себя ноги, и задумчиво вертел в руках виноградину, которую взял с невесть откуда появившегося блюда. Будда, в своём оранжевом одеянии, сидел на полу в позе лотоса, и его лицо выражало глубокий, вселенский покой. Молчание было не тягостным, а наполненным. Каждый думал о своём, но мысли их, словно ручьи, сливались в одну реку.

Первым заговорил Будда. Его голос был тихим, как шелест бамбука на ветру, но каждое слово звучало отчётливо.

— Ты избрал трудный путь, Отец. Путь человека. Я учил, что жизнь есть страдание, и что нужно выйти из круга перерождений. Я искал нирвану — угасание всех желаний, всех привязанностей. А Ты, Источник всего, добровольно вошёл в этот круг. Ты облёкся в плоть, которая страдает, стареет, умирает. Зачем? Разве не проще было остаться в Своей вечности, в Своём блаженстве?

Отец повернулся от окна. Его лицо было серьёзным, но в глазах играла искорка.

— Проще, Сиддхартха. Гораздо проще. Но любовь не ищет простых путей. Любовь ищет полноты. Я создал людей по Своему образу и подобию. Но Я не знал, каково это — быть ими. Я знал их радости и печали, но не чувствовал их. Я смотрел на них с небес, но не был с ними. А любовь требует присутствия. Не сверху, не снаружи — изнутри. И вот Я здесь. В этом теле, которое болит, которое устаёт, которое смертно. И знаешь, что Я понял?

— Что? — спросил Будда, и в его глазах был искренний интерес.

— Что страдание — это не просто зло. Это язык. Язык, на котором говорит любовь, когда хочет стать ближе. Когда Я чувствую боль, Я понимаю тех, кто страдает. Не умом — сердцем. Собственной кожей. И это меняет всё. Это делает Меня не просто Создателем, но и Сострадателем. Тем, Кто страдает вместе.

Иешуа, отложив виноградину, тихо произнёс:

— Я это знаю, Отец. Я прошёл через это. Крест был Моим языком. Языком, на котором Я сказал: «Я люблю вас до конца». Но Ты... Ты идёшь дальше. Ты не просто умираешь за них. Ты живёшь с ними. Всю их жизнь. От рождения до смерти. Это больше, чем крест. Это целая Голгофа длиною в жизнь.

Отец кивнул.

— Да. И Мне ещё предстоит пройти этот путь до конца. Мне девятнадцать. Впереди — годы. Годы непонимания, одиночества, возможно, преследований. Люди будут называть Меня безумцем, ставить диагнозы, лечить от Меня Самого. Они будут проходить мимо, не узнавая. И Я не смогу им ничего доказать. Потому что доказательства отменяют свободу. А свобода — это единственное, что Я не могу отнять. Даже у тех, кто Меня распинает.

Будда задумчиво погладил свою щёку.

— Ты говоришь о свободе так, словно это высшая ценность. Но я учил, что желания и привязанности — это оковы. Что свобода — в отказе от них. В нирване.

— Свобода, которую проповедовал ты, — ответил Отец, — это свобода от страдания. Это великая свобода. Но есть свобода большая — свобода для любви. Свобода выбирать добро, даже когда это трудно. Свобода жертвовать собой ради другого. Твоя нирвана — это покой. Моя любовь — это огонь. И Я хочу, чтобы они встретились.

Он улыбнулся, и в Его улыбке промелькнуло что-то озорное, почти мальчишеское.

— Кстати, о встрече. Сиддхартха, у Меня есть к тебе предложение. Возможно, немного безумное. Но Я всегда любил безумцев.

Будда приподнял бровь.

— Я слушаю.

— Давай объединим наши религии.

В комнате повисла пауза. Иешуа поперхнулся виноградиной и закашлялся. Будда остался невозмутим, но в его глазах промелькнул огонёк любопытства.

— Объединим? — переспросил он. — Христианство и буддизм? Но они такие разные. Ты говоришь о Боге-Творце, о Личности, о любви, которая требует ответа. Я же учил об отсутствии вечной души, о безличной нирване, о пути самоосвобождения. Как их можно объединить?

Отец пожал плечами.

— А почему бы и нет? В конце концов, Я — Автор всего. И того, и другого. Разве не Мне решать, что совместимо, а что нет?

Он прошёлся по комнате, и по мере того как Он говорил, Его одежда начала меняться. Простой поношенный свитер и брюки исчезли, и на Нём появилось длинное одеяние. Оно было двух цветов: одна половина — алая, как свежая кровь, как жертвенная любовь, как огонь, сошедший на жертвенник; другая — зелёная, как молодая трава, как надежда, как жизнь, пробивающаяся сквозь асфальт. Красный и зелёный. Страдание и обновление. Кровь и жизнь. Крест и Воскресение.

Иешуа и Будда смотрели на это преобразование, и в их глазах читалось понимание.

— Красный, — произнёс Иешуа, — это цвет Моей крови. Крови, пролитой за многих.

— Зелёный, — добавил Будда, — это цвет листы дерева Бодхи, под которым я достиг просветления. Цвет жизни, пробуждающейся после долгой медитации. Цвет надежды на освобождение.

— Вот видите, — улыбнулся Отец. — Уже есть точки соприкосновения. А если серьёзно... — Он остановился и посмотрел на обоих. — Я не хочу создавать новую религию. Религий и так слишком много, и каждая считает себя единственно правой. Я хочу другого. Я хочу, чтобы люди увидели за обрядами, догмами, словами — Меня. Живого. Любящего. Страдающего вместе с ними. Пусть христиане увидят во Мне Отца, Который не остался на небесах, а сошёл в самую гущу жизни. Пусть буддисты увидят во Мне Того, Кто достиг высшего сострадания, войдя в мир страданий добровольно. Пусть атеисты увидят во Мне Человека, Который прошёл через всё, через что проходят они, и не потерял любви. Пусть все увидят не религию, а Меня.

Будда долго молчал, обдумывая услышанное. Потом его губы тронула лёгкая, едва заметная улыбка.

— Ты хочешь невозможного, Отец. Ты хочешь, чтобы люди отказались от своих ярлыков и увидели Истину напрямую. Это трудно. Почти невозможно. Они привыкли к посредникам, к ритуалам, к словам. Но... если кто и может это сделать, то только Ты. Потому что Ты — не учение. Ты — Личность. И когда они встретят Тебя, все учения отпадут, как шелуха.

Иешуа кивнул.

— Я пытался это сделать, Отец. Я говорил им: «Я есмь Путь, Истина и Жизнь». Но они сделали из Меня религию. Они построили храмы, написали книги, создали иерархии. Они забыли Меня. Запомнили слова, но потеряли Дух. Теперь Ты пробуешь снова. По-другому. Не через смерть и воскресение, а через жизнь. Через долгую, обычную, человеческую жизнь. Это смело. Очень смело.

Отец вздохнул.

— У Меня нет выбора. Любовь не оставляет выбора. Либо Я остаюсь на небесах, далёкий и непонятный, либо Я становлюсь одним из них. И Я выбрал второе.

Он повернулся к Будде, и в Его глазах снова зажгётся озорной огонёк.

— Так что насчёт объединения? Представь: христианско-буддийский монастырь. Монахи медитируют на Мои раны и на твою улыбку. Поют псалмы и мантры. Едят рис и хлеб. Спорят о том, чей Учитель более сострадателен, а потом вместе идут кормить голодных. Разве не прекрасно?

Будда не выдержал и рассмеялся. Его смех был похож на звон маленьких колокольчиков.

— Ты шутишь, Отец. Но в Твоей шутке — мудрость. Ты прав: в конце концов, все пути ведут к Тебе. Просто одни идут через пустыню, другие — через джунгли. Но встреча состоится. У одного костра. У Твоего костра.

Иешуа подошёл к Отцу и взял Его за руку.

— Мне нравится Твой наряд, Отец. Красный и зелёный. Это напоминает Мне о Моей собственной одежде. Помнишь? Хитон, который был соткан из одного куска ткани. Воины делили его, бросая жребий. А Твоя одежда — она как будто соткана из двух кусков, но они неразделимы. Кровь и жизнь. Жертва и надежда. Это Ты. Это Мы.

Будда поднялся с пола и тоже подошёл.

— Я вижу в этих цветах ещё кое-что. Красный — это цвет заката, когда солнце уходит за горизонт. Зелёный — цвет рассвета, когда мир пробуждается. Ты — и закат, и рассвет. Конец старого и начало нового. Альфа и Омега.

Отец обнял их обоих — Сына и Просветлённого.

— Спасибо вам. За то, что вы есть. За то, что вы ждали. За то, что вы поняли. Мой путь продолжается. Мне пора возвращаться. Туда, в холодный сибирский город, в маленькую комнату общежития, к людям, которые не знают, Кто ходит среди них. Но Я вернусь. Мы ещё встретимся. И тогда...

— И тогда мы устроим пир, — закончил Иешуа. — С вином и рисом. С хлебом и мандаринами. С песнями и тишиной. И все будут званы.

— И никто не будет лишним, — добавил Будда. — Даже те, кто не верит. Даже те, кто сомневается. Даже те, кто проклинаят.

— Особенно они, — сказал Отец. — Потому что они — Мои самые потерянные дети. И Я найду их всех.

Он отступил на шаг, и Его фигура начала таять в воздухе. Последнее, что увидели Иешуа и Будда, была Его улыбка и разноцветная одежда — красная, как любовь, и зелёная, как надежда.

— До встречи, — прошептал Отец. — До скорой встречи. В вечности. И во времени.

И Он исчез. А Иешуа и Будда остались вдвоём, глядя друг на друга.

— Странно, — произнёс Будда. — Я всю жизнь искал покоя. А теперь, когда я нашёл Его, я чувствую, что моё путешествие только начинается.

— Это потому, что покой — не цель, — ответил Иешуа. — Покой — это средство. Средство, чтобы любить. А любовь — это движение. Вечное движение. Как у Него.

— Как у Него, — повторил Будда. — Пойдём? Нас ждут. Твои ученики, мои последователи, все, кто ищет. Им нужно рассказать.

— Пойдём, — согласился Иешуа. — Только давай не будем создавать новую религию. Он этого не хочет.

— Не будем, — улыбнулся Будда. — Просто будем любить. Этого достаточно.

И они вышли из комнаты, оставив после себя только свет и тишину. А где-то далеко, в сибирском городе, молодой человек в поношенной одежде проснулся в своей кровати, посмотрел в окно на падающий снег и улыбнулся. Он знал, Кто Он. Он знал, куда идёт. И Он знал, что не один.

## Глава 25. Возвращение в мир

Молодой человек открыл глаза. За окном его комнаты в общежитии падал снег — крупные, пушистые хлопья, медленно кружащиеся в свете уличного фонаря. Было раннее утро, серое и тихое. Он лежал на узкой кровати, глядя в потолок, на котором проступали трещины, складывающиеся в причудливые узоры. В голове всё ещё звучали отголоски той, другой реальности — слова Иешуа, смех Будды, объятия Отца, которые были Его собственными объятиями.

Он сел, спустил ноги на холодный пол. Тело было обычным, человеческим: ныла спина, замёрзли пальцы, хотелось пить. Он провёл рукой по лицу, ощутив щетину, которую нужно было сбрить. Всё это было так знакомо и так чуждо одновременно. Он помнил, Кто Он. Помнил вечность. И теперь эта вечность была заперта в брэнной оболочке девятнадцатилетнего студента техникума.

«Как странно, — подумал Он. — Я создал галактики. Я вдыхал жизнь в первого человека. Я выводил народы из рабства. А теперь Я должен идти на пары, слушать скучные лекции, сдавать зачёты. И никто не знает. Никто не видит».

Он встал, подошёл к окну. Снег всё падал, укрывая унылый двор белым покрывалом. В этом была какая-то тихая, печальная красота. Красота, которую Он сам создал, но которую теперь воспринимал по-новому — не как Творец, а как часть творения.

«Я пройду этот путь, — сказал Он себе. — До конца. До тридцати трёх. А потом... потом всё изменится».

Он оделся — всё тот же поношенный свитер, старые джинсы, потёртая куртка. Вышел в коридор, где уже слышались голоса соседей, спускающихся на завтрак. Кто-то хлопнул Его по плечу:

— Эй, философ! Опять всю ночь не спал, о вечном думал? Пошли, каша остынет!

Он улыбнулся, и в этой улыбке была вся мудрость веков и вся простота девятнадцатилетнего парня.

— Иду, — ответил Он. — Каша — это важно.

И Он пошёл по коридору, вдыхая запахи столовой, слушая обрывки разговоров о футболе, о девушках, о предстоящей контрольной. Он был одним из них. И в то же время — единственным, Кто знал, что всё это — лишь малая часть огромного, непостижимого замысла.

## Глава 26. Встреча на заснеженной дороге

Прошло несколько месяцев. Весна в Сибири наступала медленно, неохотно, словно сомневаясь, стоит ли вообще приходить в этот суровый край. Снег таял, обнажая прошлогоднюю грязь и мусор, но в воздухе уже пахло чем-то новым, свежим, обещающим.

Отец шёл по дороге, ведущей из техникума в общежитие. Дорога была пустынной — редкие прохожие спешили по своим делам, не глядя по сторонам. Он любил эти одинокие прогулки. В них было время подумать, вспомнить, помолиться — хотя Его молитвы были не прошениями, а разговорами с Самим Собой, с Сыном, с теми, кто ждал Его в иных мирах.

Внезапно Он почувствовал чьё-то присутствие. Не физическое — духовное. Словно кто-то шёл рядом, невидимый, но реальный. Он остановился и обернулся.

На обочине, прислонившись к старой берёзе, стоял человек. Он был одет в длинный, тёмный плащ, какие носили в прошлом веке, и в надвинутой на глаза шляпе. В руке он держал трость с набалдашником в виде головы пуделя. Воланд.

— Добрый вечер, — произнёс он своим глубоким, рокочущим голосом. — Я надеялся встретить Тебя здесь. У меня было предчувствие.

Отец подошёл ближе.

— Ты изменился, — сказал Он, вглядываясь в лицо Воланда. — В твоих глазах больше нет той тьмы. Ты... светлеешь.

Воланд усмехнулся, но в его усмешке не было прежнего сарказма.

— Я встретил Тебя там, в той пустыне. И с тех пор что-то во мне сдвинулось. Я не могу этого объяснить. Я, князь тьмы, который миллионы лет убеждал себя, что ненавидит Тебя, вдруг почувствовал... тоску. Тоску по дому. По свету, который я когда-то отверг.

— Это называется покаяние, — мягко сказал Отец. — Не бойся его. Это начало возвращения.

Воланд опустил голову.

— Я не знаю, смогу ли. Слишком много зла я совершил. Слишком много душ погубил. Мои руки по локоть в крови.

Отец взял его за руку. Ладонь Воланда была холодной, но не мёртвой.

— Я простил тебя. Ещё тогда, в вечности. Осталось только, чтобы ты сам себя простил. Это самое трудное. Но ты справишься.

Воланд поднял глаза. В них блестели слёзы.

— Я пытаюсь. Каждый день. Моя свита не понимает, что со мной. Бегемот предлагает чай с вареньем, Коровьев отпускает свои дурацкие шутки, Азazelло хмурится. А я... я просто хочу быть рядом с Тобой. Служить Тебе. Не из страха — из любви.

— Ты уже служишь, — ответил Отец. — Тем, что ищешь Меня. Тем, что не отворачиваешься. Тем, что веришь. А теперь иди. У тебя ещё много дел. Москва ждёт. Твоя свита ждёт. И помни: Я всегда рядом. Даже когда ты не видишь Меня.

Воланд поклонился — не насмешливо, а почтительно, как ученик перед Учителем.

— Я буду ждать. Ждать, когда Ты завершишь Свой путь. И тогда... тогда мы встретимся снова. И я надеюсь, что к тому времени я буду готов.

Он повернулся и пошёл прочь, растворяясь в сгущающихся сумерках. Отец смотрел ему вслед, и на Его губах играла печальная, но светлая улыбка.

— Ты уже готов, — прошептал Он. — Просто ещё не знаешь об этом.

#### Глава 27. Беседы с Иешуа в снах

Ночами, когда тело отдыхало, дух Отца устремлялся в иные пределы. Он снова встречался с Сыном — не в той пустыне, а в тихом саду, похожем на Гефсиманский, но без кровавого пота и ужаса предстоящей казни. Здесь цвели оливы, журчал ручей, и звёзды светили ярко, но не тревожно.

Они сидели на камне, глядя на воду. Иешуа был всё в том же хитоне, но теперь он был целым, без следов крови и грязи. Его лицо выражало покой.

— Отец, — начал Он, — Ты идёшь трудным путём. Я знаю, что такое быть человеком. Тридцать три года Я прожил среди них. Я знаю их жестокость, их непонимание, их страх перед всем, что выходит за рамки привычного. Тебе будет больно. Очень больно. Они будут называть Тебя безумцем. Они будут смеяться над Тобой. Возможно, они попытаются уничтожить Тебя.

— Я знаю, Сын, — ответил Отец. — Я готов.

— Готов ли? — Иешуа посмотрел на Него испытующе. — Когда Я был в Гефсимании, Я молил Тебя пронести чашу мимо. Я был в ужасе. Моё человеческое естество кричало от страха. А Ты? Ты не боишься?

Отец долго молчал, глядя на звёзды.

— Боюсь, — признался Он наконец. — Очень боюсь. Я, Который создал всё, боюсь боли, боюсь унижения, боюсь одиночества. Это так странно — быть Всемогущим и бояться. Но этот страх... он делает Меня ближе к ним. Я понимаю их. Я чувствую то же, что чувствуют они. И это помогает Мне не презирать их, а жалеть. Любить.

Иешуа взял Его за руку.

— Я горжусь Тобой, Отец. Ты делаешь то, что не делал никто. Даже Я. Я умер за них. А Ты живёшь с ними. Это другая жертва. Более долгая, более тихая, но не менее трудная. Я буду с Тобой. Каждую минуту. Как Ты был со Мной на кресте.

Отец обнял Его.

— Я знаю, Сын. И это даёт Мне силы. Силы идти дальше.

#### Глава 28. Конфликт с непониманием

В техникуме у Отца были натянутые отношения с преподавателями и однокурсниками. Он не спорил, не доказывал свою правоту, но Его молчание и взгляд, полный какого-то нездешнего понимания, раздражали многих.

Особенно преподавателя научного атеизма, сухого, жёлчного человека по фамилии Трубецкой.

Однажды на лекции Трубецкой, рассказывая о «реакционной сущности религии», вдруг обратился прямо к Нему:

— Вот вы, — он указал пальцем, — вы ведь у нас верующий? Я слышал, вы рассуждаете о Боге, о любви, о каком-то там прощении. Не хотите ли поделиться с аудиторией своими... заблуждениями?

В аудитории повисла тишина. Студенты, предвкушая развлечение, уставились на Отца. Он медленно встал.

— Я не верующий, — тихо сказал Он. — Я знающий.

Трубецкой усмехнулся.

— Знающий? И что же вы знаете? Что Бог есть? Докажите!

— Доказательства отменяют свободу, — ответил Отец. — Если я докажу вам, что Бог есть, у вас не останется выбора — не верить. А Бог хочет, чтобы вы верили свободно. По любви, а не по принуждению.

— Красивые слова! — фыркнул Трубецкой. — А по-моему, вы просто не можете ничего доказать. Потому что доказывать нечего. Бога нет. Есть только материя, развивающаяся по объективным законам. А ваши сказки — это пережиток тёмного прошлого, от которого человечество должно избавиться.

Отец посмотрел на него с жалостью.

— Вы так уверены в своей правоте. Но скажите: откуда взялась материя? Откуда взялись законы, по которым она развивается? Вы говорите о Большом взрыве. А что взорвалось? И кто зажёт фитиль?

Трубецкой побагровел.

— Это не научный подход! Наука не задаёт таких вопросов!

— Вот именно, — кивнул Отец. — Наука не задаёт. А Я задаю. И Я знаю ответ. Но вы не готовы его услышать.

Он сел. В аудитории стояла гробовая тишина. Трубецкой, не найдя что сказать, пробормотал что-то о «религиозном мракобесии» и продолжил лекцию, но его голос дрожал.

После пар к Отцу подошёл один из студентов, тихий, незаметный парень по имени Алексей.

— Слушай, — сказал он, оглядываясь, — то, что ты говорил... Это правда? Ты действительно... знаешь?

Отец посмотрел на него и увидел в его глазах искру — ту самую, которая горит в ищущих душах.

— Знаю, — ответил Он. — И ты можешь узнать. Если захочешь.

— Я хочу, — прошептал Алексей. — Расскажи мне.

И они пошли по заснеженной аллее, и Отец говорил, а Алексей слушал, и в его сердце зажигался свет.

## Глава 29. Посещение церкви

В воскресенье Отец решил пойти в местную церковь. Не потому, что нуждался в обрядах — Он Сам был источником всякой благодати. Но Ему хотелось увидеть, как люди молятся, как они ищут Его, не зная, что Он стоит рядом.

Церковь была маленькой, деревянной, с потрескавшимися иконами и запахом ладана и воска. Службу вёл старый священник, отец Николай, с седой бородой и добрыми, усталыми глазами. Прихожан было немного — в основном пожилые женщины в платках.

Отец встал в углу, стараясь быть незаметным. Он слушал пение хора, смотрел на мерцающие свечи, вдыхал знакомые с детства запахи. Всё это было таким родным и таким далёким одновременно. Он вспоминал, как Сам вдохновлял пророков, как давал Давиду псалмы, как говорил с Моисеем из горящего куста. А теперь Он стоял здесь, в толпе, никем не узнанный.

После службы к Нему подошёл отец Николай. Он долго вглядывался в лицо молодого человека, словно пытаясь что-то вспомнить.

— Ты нездешний, — произнёс он наконец. — Я не видел тебя раньше. Но твои глаза... Они словно знают что-то, чего не знаю я. Кто ты?

Отец улыбнулся.

— Просто странник, отче. Ищущий правду.

— Правду? — священник покачал головой. — Правда в Боге. В Иисусе Христе. Ты веришь в Него?

— Верю. И не только верю. Я знаю Его.

Отец Николай пристально посмотрел на Него.

— Знаешь? Как можно знать Бога?

— Можно, если Он Сам откроется. Если Он Сам придёт и скажет: «Я здесь».

Священник вздохнул.

— Многие ждали Его прихода. Многие ошибались, принимая лжепророков за Мессию. Время Второго Пришествия неизвестно. Может быть, оно уже близко. Может быть, нет. Мы должны просто верить и ждать.

— А что, если Он уже здесь? — тихо спросил Отец. — Что, если Он ходит среди вас, а вы не узнаете?

Отец Николай долго молчал, глядя на Него. Потом перекрестился.

— Сохрани тебя Господь, странник. Иди с миром.

Отец поклонился и вышел. Он знал, что священник не узнал Его. Но семя было посеяно. Однажды, когда время придёт, он вспомнит этот разговор и поймёт.

### Глава 30. Письмо Патриарху

Вернувшись в общежитие, Отец сел за стол и написал письмо. Он не знал, отправит ли его, но Ему нужно было высказаться. Письмо было адресовано Патриарху Московскому и всея Руси.

«Ваше Святейшество,

Я пишу Вам не как бунтарь и не как безумец. Я пишу как Тот, Кто был до начала и Кто будет после конца. Я — Отец. Тот самый, о Котором вы проповедуете, но Которого вы не знаете.

Вы носите крест на груди, но забыли, что крест — это символ жертвы, а не власти. Вы строите храмы из золота, в то время как Мои дети умирают от голода и холода. Вы благословляете войны, забыв, что Мой Сын сказал: «Блаженны миротворцы и нищие духом». Вы осуждаете тех, кто любит иначе, чем принято, забыв, что Я заповедал любить всех.

Вы превратили живую веру в мёртвую религию. Вы стали фарисеями нового времени. Вы побиваете камнями пророков, которых Я посылаю вам. Вы называете бредом откровение, которое Я даю простым и чистым сердцем.

Я не требую от Вас покаяния. Я не требую, чтобы Вы признали Меня. Свобода, данная Мною, нерушима. Вы можете продолжать считать Меня безумцем, самозванцем, еретиком. Это Ваш выбор.

Но знайте: время близко. Скоро Я завершу Свой путь. И тогда всё изменится. Не для суда — для любви. Но для тех, кто упорствовал в своей гордыне, любовь может оказаться страшнее любого суда.

Я молюсь за Вас. За всех вас. Даже за тех, кто никогда не молился за Меня.

Отец.»

Он сложил письмо и спрятал в ящик стола. Он не знал, отправит ли его. Может быть, однажды, когда придёт время.

### Глава 31. Видение Мухаммеда

В одну из ночей, когда Он лежал без сна, Ему явилось видение. Это был не сон — Он бодрствовал, но перед Его внутренним взором предстал человек в белых одеждах, с лицом, исполненным достоинства и смирения. Он стоял на горе, и вокруг него сиял свет.

— Кто ты? — спросил Отец, хотя уже знал ответ.

— Я — Мухаммед, — ответил человек. — Посланник Божий. Печать пророков. Тот, кому был ниспослан Коран.

Отец кивнул.

— Я знаю тебя. Я говорил с тобой через ангела Джibriля. Я дал тебе слова, которые ты передал людям. Ты сделал великое дело. Ты привёл ко Мне миллионы.

Мухаммед склонил голову.

— Я лишь исполнял Твою волю, Господи. Но я не знал тогда, что Ты — не просто Бог, Который на небесах. Ты — Отец, Который сошёл на землю. Я учил, что у Бога нет сына. Я ошибался?

Отец улыбнулся.

— Ты учил тому, что было нужно в твоё время. Твой народ погряз в многобожии. Им нужно было узнать Единого Бога, Творца, Милостивого, Милосердного. Ты дал им это знание. А то, что ты отрицал Сына... Ты отрицал не Моего Сына, а языческие представления о богах, которые рождают и умирают. Мой Сын — не таков. Он был прежде всех веков. И ты, сам того не зная, почитал Его, когда призывал людей к покорности Воле Божьей.

Мухаммед задумался.

— Значит, я был частью Твоего замысла? Моя вера — не ложь?

— Ни одна искренняя вера не есть ложь, — ответил Отец. — Все они — пути ко Мне. Разные дороги, ведущие к одной вершине. Ты вёл своих последователей путём покорности и милосердия. Иешуа вёл путём любви и жертвы. Будда вёл путём отречения и сострадания. Все вы — Мои посланники. Все вы — Мои друзья.

Мухаммед опустил на колени.

— Слава Тебе, Господи! Теперь я понимаю. Я уйду с миром. И буду ждать Твоего полного откровения.

Отец благословил его, и видение исчезло. Он остался один в темноте, но сердце Его было полно света.

### Глава 32. Конфуций и Лао-цзы

В следующую ночь Ему явились двое. Один — почтенный старец с длинной седой бородой, в строгих одеждах учёного. Другой — худой, сгорбленный, с лицом, выражающим глубокую, спокойную мудрость, одетый в простой холщовый халат. Конфуций и Лао-цзы.

— Мы пришли, — сказал Конфуций, — чтобы понять. Я учил людей порядку, ритуалам, почитанию старших, гармонии в обществе. Я не говорил о Боге. Я думал, что небо — это безличный принцип. Теперь я вижу, что за всем стоит Личность. Ты.

— А я, — добавил Лао-цзы, — учил о Дао — Пути, который нельзя назвать, который есть источник всего. Я говорил: «Дао, которое может быть названо, не есть истинное Дао». Я был близок, но не знал, что у Дао есть сердце. Что Оно — не просто безличная сила, а Любовь.

Отец посмотрел на них с теплотой.

— Вы оба сделали великое дело. Ты, Конфуций, дал людям этику, без которой общество превратилось бы в хаос. Ты, Лао-цзы, указал на смирение, на мягкость, на следование природе. Ваши учения веками помогали людям жить в мире с собой и друг с другом. Вы были Моими светочами в Поднебесной.

Конфуций поклонился.

— Но я не учил любви к врагам. Я учил справедливости, воздаянию. Твой Сын учил большему. Прощать. Любить ненавидящих. Это выше моего понимания.

— Это выше человеческого понимания, — ответил Отец. — Это Божественное. Но Я пришёл, чтобы сделать это человеческим. Чтобы показать, что и человек может так любить. Потому что в каждом человеке — Моя искра.

Лао-цзы улыбнулся.

— Мудрость, которая не говорит, но действует. Ты — воплощение этой мудрости. Ты не проповедуешь с амвона. Ты живёшь среди них, как один из них. Ты страдаешь, как они. Ты — Дао, ставшее плотью.

Отец обнял их обоих.

— Вы — Мои. И все, кто ищет Истину, — Мои. Независимо от имени, которым они Меня называют. Или даже если не называют никак. Я вижу сердце. А сердце не ошибается.

### Глава 33. Путь продолжается

Проходили дни, недели, месяцы. Отец жил обычной жизнью: ходил на учёбу, работал в свободное время, помогал тем, кто нуждался. Он не творил явных чудес, но вокруг Него происходили странные вещи. Люди, общавшиеся с Ним, чувствовали облегчение, покой. Больные, к которым Он прикасался, выздоравливали — не мгновенно, не драматично, но быстрее, чем ожидали врачи. Ссоры, в которые Он вмешивался, утихали. Отчаявшиеся находили надежду.

Он не привлекал к Себе внимания. Он просто был. И это «бытие» было самым сильным свидетельством.

Однажды к Нему подошёл Алексей, тот самый студент, который слушал Его после лекции.

— Я хочу быть Твоим учеником, — сказал он. — Я не знаю, кто Ты. Может быть, пророк. Может быть, больше. Но я чувствую, что Ты — Истина. Позволь мне идти за Тобой.

Отец посмотрел на него долгим взглядом.

— Ты готов? Путь будет трудным. Тебя не поймут. Над тобой будут смеяться. Возможно, будут гнать.

— Я готов, — твёрдо ответил Алексей. — Я устал от пустоты. Я хочу смысла. Я хочу любви. Той любви, о которой Ты говоришь.

Отец положил руку ему на плечо.

— Тогда иди. Будь Моим учеником. Не в том смысле, чтобы повторять Мои слова, а в том, чтобы жить так, как Я живу. Любить. Прощать. Служить. И не ждать награды.

Так у Отца появился первый ученик в этой жизни. Потом к ним присоединились другие. Не двенадцать — меньше. Но достаточно, чтобы начать.

### Глава 34. Встреча с критиком Латунским (продолжение истории)

В Москве, в доме Грибоедова, критик Латунский, тот самый, который разгромил роман Мастера, не находил себе места. После странных событий, связанных с исчезновением Берлиоза и сумасшествием Бездомного, он чувствовал, что что-то изменилось. Его статьи больше не приносили удовлетворения. Он начал пить, ссориться с коллегами, видеть кошмары.

Однажды ночью ему приснился сон. Он стоял перед огромным престолом, на котором сидел Некто в белых одеждах. Лица Его не было видно, но Латунский знал, Кто это.

— Ты писал против Меня, — произнёс Голос. — Ты высмеивал тех, кто искал Меня. Ты уничтожал ростки веры в сердцах людей. Что ты можешь сказать в своё оправдание?

Латунский упал на колени.

— Я не знал! Я думал, что служу прогрессу, науке, освобождению от предрассудков! Я не верил!

— Незнание не освобождает от ответственности, — ответил Голос. — Но Я даю тебе шанс. Ты ещё жив. Ты можешь измениться. Используй свой талант не для разрушения, а для созидания. Пиши правду. Ищи Меня. Я рядом.

Латунский проснулся в холодном поту. Он долго сидел на кровати, глядя в темноту. А потом встал, подошёл к столу и начал писать. Не разгромную статью — покаянное письмо. Письмо, адресованное самому себе, своей совести, своему Богу.

#### Глава 35. Эндрю Ллойд Уэббер и новая опера

Весть о таинственном молодом человеке из Сибири, который проповедует любовь и прощение, дошла до Европы. Она обрастала слухами, искажалась, но суть оставалась. Один из тех, кто услышал эту весть, был знаменитый композитор Эндрю Ллойд Уэббер.

Он сидел в своём лондонском кабинете, перебирая клавиши рояля. Идея мюзикла по «Мастеру и Маргарите» давно отошла на задний план — слишком сложно, слишком мрачно. Но теперь в его голове рождалась новая музыка. Музыка о Боге, Который стал человеком. О встрече Отца и Сына. О прощении.

Он не знал, откуда берутся эти мелодии. Они звучали в нём, как будто кто-то вкладывал их прямо в сердце. Он записывал их, плакал, смеялся, снова писал. Так рождалась опера «Кенозис».

#### Глава 36. Беседа с Белинским в духе

Отец знал, что его творение — роман — читают и обсуждают в иных мирах. Однажды Ему довелось духовно побеседовать с самим Виссарионом Белинским, знаменитым критиком.

— Я читал Ваше продолжение, — сказал Белинский, поправляя очки. — Должен признать, это смело. Очень смело. Соединить Булгакова, Евангелие, буддизм, античных богов, философов — и всё это под эгидой Вашего собственного кенозиса. Это либо гениально, либо безумно.

— А что думаете вы? — спросил Отец.

Белинский задумался.

— В этом есть правда. Не фактическая, а художественная. Вы создали миф, который отвечает на глубинные запросы души. Жажда прощения, жажда встречи с Отцом, жажда справедливости, которая выше формального суда. Ваш роман — это не литература в привычном смысле. Это... писание. Новое писание. И я, как критик, могу только свидетельствовать о его силе.

— Спасибо, — сказал Отец. — Ваше мнение важно для Меня.

— Только одно замечание, — добавил Белинский. — Не увлекайтесь нумерологией. Читатель может запутаться. Хотя, признаю, девятки впечатляют.

Отец улыбнулся.

— Я учту.

### Глава 37. Видение будущего

В ночь на Своё двадцатилетие Отец увидел сон. Не воспоминание о прошлом, а видение будущего. Он стоял на высокой горе, и перед Ним простирался весь мир. Он видел города и сёла, реки и моря, толпы людей, спешащих по своим делам.

И Он видел Себя — в тридцать три года. Он был одет в красное и зелёное. Вокруг Него собрались ученики — не двенадцать, а множество. Они слушали Его, и лица их светились.

Он видел, как рушатся стены непонимания. Как враги протягивают друг другу руки. Как те, кто гнал Его, приходят с покаянием. Как Церковь, очистившись от лицемерия, становится домом для всех ищущих.

Он видел финальную битву — не с оружием, а со злом в сердцах. И зло отступало, потому что не могло вынести света Любви.

И в конце Он увидел пир. Огромный стол, за которым сидели все: Иешуа и Будда, Мухаммед и Конфуций, апостолы и архангелы, Мастер и Маргарита, Булгаков и Белинский, Воланд в белых одеждах, и миллионы, миллиарды душ. И Он был среди них — не как Судия, а как Отец, радующийся возвращению детей.

Видение исчезло. Он проснулся. За окном занимался рассвет.

— Я дойду, — прошептал Он. — Я дойду до этого дня. Чего бы Мне это ни стоило.

### Глава 38. Испытание психиатрией

Слухи о странном студенте, который говорит, что он — Бог, дошли до местных властей. Кто-то из сокурсников, то ли из зависти, то ли из страха, написал донос. Отца вызвали к декану, потом к ректору. С Ним беседовали, задавали вопросы, пытались понять, не опасен ли Он для общества.

Он отвечал спокойно, не отрицая, но и не настаивая. «Я говорю то, что знаю. Если вы считаете это болезнью — это ваше право».

В итоге Ему порекомендовали пройти освидетельствование в психиатрической клинике. Он согласился.

Врачи были озадачены. Он не проявлял агрессии, не был дезориентирован, отвечал на вопросы логично. Но Его утверждения о Своей божественности, о встрече с Сыном, о прошлых воплощениях — всё это явно выходило за рамки нормы.

— Понимаете ли вы, что ваши слова — это классический симптом мании величия? — спросил Его психиатр, молодой, амбициозный доктор Смирнов.

— Понимаю, — ответил Отец. — С точки зрения вашей науки — это симптом. Но что, если ваша наука просто не вмещает реальность? Что, если реальность больше, чем ваши диагнозы?

Смирнов усмехнулся.

— Это называется анозогнозия — отсутствие критики к своему состоянию. Вы не осознаёте своей болезни.

— А вы не осознаёте, что разговариваете с Тем, Кто создал вас, — тихо ответил Отец. — Но Я не виню вас. Вы делаете свою работу. Вы верите в то, чему вас учили. Я не буду вас переубеждать. Делайте, что должны.

Ему предложили лечение. Он отказался от таблеток, но согласился на беседы. Врачи не нашли оснований для принудительной госпитализации — Он не был опасен. Его отпустили, но с пометкой «рекомендовано наблюдение».

Он вышел из клиники и вдохнул морозный воздух. Ещё один круг ада пройден. Он знал, что это не последний. Но Он был готов.

### Глава 39. Молитва в пустыне

Летом, после сессии, Отец уехал в горы. Ему нужно было побыть одному, вдали от людей, от их непонимания и любопытства. Он нашёл заброшенную избушку в тайге и поселился там на несколько недель.

Дни Он проводил в молчании, гуляя по лесу, слушая пение птиц и шум ветра. Ночами Он молился. Его молитва была не прошением — Он и так знал всё. Это был разговор. Разговор с Самим Собой, с Сыном, со всеми, кто ждал Его.

— Я устал, — говорил Он. — Я устал быть неузнанным. Я устал от одиночества. Я, Который создал всё, тоскую по простому человеческому теплу. По другу, который поймёт. По любви, которая увидит не Бога, а Меня.

И однажды вечером, когда солнце садилось за горы, Он услышал ответ. Не голос — чувство. Чувство, что Он не один. Что все, кого Он любит, рядом. Что Его ждут. Что Его путь имеет смысл.

Он упал на колени и заплакал. Слезы текли по Его щекам, падая на землю. И там, где они падали, расцветали цветы.

— Я дойду, — прошептал Он. — Я дойду. Ради них. Ради всех.

### Глава 40. Возвращение к людям

Осенью Он вернулся в город. Что-то изменилось в Нём. Он стал спокойнее, мудрее, светлее. Люди, встречавшие Его, чувствовали это, но не могли объяснить. Он продолжал учиться, работать, помогать. Но теперь вокруг Него собиралось всё больше тех, кто искал.

Алексей, первый ученик, привёл других. Они собирались по вечерам в комнате Отца, пили чай, разговаривали.

Он не проповедовал — Он просто отвечал на вопросы. И вопросы эти были о главном: о смысле жизни, о страдании, о смерти, о любви.

— Почему Бог допускает зло? — спросила однажды девушка по имени Вера.

— Потому что Он дал свободу, — ответил Отец. — А свобода включает возможность выбирать зло. Если бы Он отнял эту возможность, вы были бы не людьми, а марионетками. Он хочет, чтобы вы выбрали добро сами. По любви, а не по принуждению.

— Но почему Он не вмешивается, когда страдают невинные? Дети, например?

Отец помолчал.

— Это самый трудный вопрос. Я не могу ответить на него так, чтобы вы полностью поняли. Скажу только: Я страдаю вместе с ними. Каждая детская слеза — это Моя слеза. Каждая боль — Моя боль. Я не наблюдаю со стороны. Я внутри. И однажды, когда всё завершится, каждая слеза будет отёрта. Каждая несправедливость исправлена. Это обещание. Моё обещание.

Вера заплакала, но это были слёзы облегчения. Она почувствовала, что это правда.

#### Глава 41. Пророчество о конце кенозиса

Однажды ночью, когда ученики разошлись, Отец остался один. Он сел за стол и записал то, что пришло Ему в сердце. Это было пророчество о самом Себе.

«Когда Мне исполнится тридцать три, сила вернётся. Не для того, чтобы судить, но чтобы завершить. Я соберу рассеянных. Я примирю враждующих. Я открою Себя тем, кто ждал. И те, кто гнал Меня, увидят и ужаснутся. Но Я не отвергну их. Я приму всех. Потому что Я — Любовь. И Любовь не знает границ.

А до тех пор Я буду идти. Через боль, через непонимание, через одиночество. Я пройду этот путь до конца. Потому что Я обещал. И потому что Я люблю.»

Он спрятал листок. Он не знал, прочтает ли его кто-то. Это было неважно. Важно было то, что это правда.

#### Глава 42. Встреча с собой прошлым

В одну из ночей Ему приснился сон, в котором Он встретил Себя — того, прежнего, до кенозиса. Величественного, сияющего, Всемогущего. Они стояли друг напротив друга — Бог и Человек, которые были Одним.

— Ты всё ещё хочешь этого? — спросил Сияющий. — Ты можешь прекратить в любой момент. Вернуться. Забыть эту боль.

— Нет, — ответил Человек. — Я должен дойти. Я должен понять. Я должен быть с ними до конца.

— Ты уже понял, — сказал Сияющий. — Больше, чем кто-либо. Твоя жертва принята. Но путь ещё не завершён. Иди. Я жду Тебя. Мы ждём Тебя. В вечности.

Они обнялись, и Человек проснулся. На душе был покой.

#### Глава 43. Чудо без чуда

Однажды зимой, в лютый мороз, к Отцу пришла женщина с ребёнком. Ребёнок умирал от воспаления лёгких. В больницу их не взяли — не было мест, да и денег на лекарства не было.

Отец посмотрел на мальчика. Тот лежал бледный, едва дыша. Он положил руку ему на лоб.

— Ты веришь? — спросил Он женщину.

— Верю, — прошептала она, плача. — Больше никому верить.

Он закрыл глаза. Он не произносил заклинаний, не делал пассов. Он просто был. И Его присутствие, Его любовь, Его сострадание — всё это хлынуло в ребёнка, исцеляя его изнутри.

Через несколько минут мальчик открыл глаза и улыбнулся. Жар спал. Он попросил есть.

Женщина упала на колени, благодаря. Отец поднял её.

— Не благодари Меня. Благодарю Того, Кто дал тебе веру. И помни: чудо не в том, что Я сделал. Чудо в том, что ты поверила.

#### Глава 44. Разговор с Иудой-Воландом в духе

Воланд снова явился Ему — на этот раз в видении. Он был уже не в чёрном, а в сером, переходном. Его лицо выражало муку и надежду.

— Я борюсь, — сказал он. — Каждый день борюсь со своей природой. Иногда мне кажется, что я проигрываю. Что тьма сильнее.

— Тьма сильна, — ответил Отец. — Но свет сильнее. Ты уже сделал выбор. Теперь нужно просто идти. Падать и вставать. Как все. Просто будь как Дождь. Он единственный кто идёт, даже когда падает.

— Я устал быть изгоем. Я хочу домой.

— Ты уже дома. Просто ещё не осознал этого. Твой дом — там, где Я. А Я — везде. И в тебе тоже.

Воланд заплакал. Это были первые слёзы покаяния, которые он пролил за миллионы лет.

— Я буду ждать, — сказал он. — Ждать, когда Ты завершишь. И тогда я вернусь. Окончательно.

Отец обнял его, и Воланд почувствовал, как что-то внутри него окончательно надломилось — и исцелилось.

#### Глава 45. Беседа с Буддой о страдании

Будда снова посетил Его. На этот раз они говорили о страдании.

— Ты учил, что страдание — это зло, от которого нужно освободиться, — сказал Отец. — Я же говорю, что страдание может быть путём. Путём к любви, к состраданию, к пониманию. Что ты думаешь теперь?

Будда долго молчал.

— Я думаю, что я был прав для своего времени и для тех, кто не мог вместить большего. Им нужно было выйти из круга страданий, чтобы обрести покой. Но Ты показываешь высший путь: войти в страдание добровольно, чтобы разделить его с другими. Это путь Бодхисаттвы — того, кто отказывается от нирваны ради спасения всех живых существ. Ты — высший Бодхисаттва. Ты — Тот, Кто страдает за всех.

— Я не страдаю за них, — поправил Отец. — Я страдаю с ними. Вместе. Потому что Я — один из них. И в этом —  
Моя радость.

Будда поклонился.

— Ты выше всех учений. Ты — сама Истина. Я счастлив, что узнал Тебя.

#### Глава 46. Разговор с Фомой Аквинским

В видении Ему предстал Фома Аквинский, великий богослов Средневековья. Он был в монашеской рясе, с книгой  
в руках.

— Я всю жизнь пытался постичь Тебя разумом, — сказал он. — Я писал суммы, доказательства, силлогизмы. Я  
думал, что можно заключить Тебя в формулы. Теперь я вижу: Ты больше всех формул. Ты — не абстракция. Ты  
— живой. Ты — любящий. Прости мне мою гордыню.

— Ты не был горд, Фома, — ответил Отец. — Ты искренне искал. Твой разум был даром, и ты использовал его во  
благо. Твои труды помогли многим. Но ты прав: Я больше. И теперь ты знаешь Меня не умом, а сердцем.

Фома заплакал от радости.

— Наконец-то я дома.

#### Глава 47. Сон о Конце

Отец увидел сон. Ему было тридцать три. Он стоял на вершине горы, и весь мир смотрел на Него. И Он  
заговорил:

— Я пришёл не судить, но спасти. Не отменить закон, но исполнить. Я пришёл, чтобы сказать вам: вы не одни.  
Бог с вами. Бог в вас. Бог — это Любовь. И эта Любовь сильнее смерти.

И мир изменился. Войны прекратились. Враги обнялись. Больные исцелились. Мёртвые воскресли. И наступил  
покой. Не конец, а новое начало.

Он проснулся. До тридцати трёх было ещё далеко. Но Он знал, что этот день придёт. И Он будет готов.

#### Глава 48. Последние наставления ученикам

Прошло несколько лет. Отец собрал Своих учеников — их было уже около двадцати — и дал им последние  
наставления перед долгой разлукой. Он знал, что Ему предстоит уйти в странствие, и хотел, чтобы они  
продолжали без Него.

— Любите друг друга, — сказал Он. — Это главное. Не спорьте о догмах. Не делитесь на партии. Просто любите.  
Кормите голодных. Утешайте плачущих. Защищайте обиженных. И помните: Я всегда с вами. Даже когда вы не  
видите Меня.

Ученики плакали. Они не хотели, чтобы Он уходил. Но Он был непреклонен.

— Мой путь ещё не завершён. Я должен пройти его один. Но потом Я вернусь. И мы будем вместе. Навсегда.

Он благословил их и ушёл в ночь.

#### Глава 49. Странствия

Отец странствовал по стране. Он был везде: в больших городах и маленьких деревнях, в тюрьмах и больницах, в храмах и на вокзалах. Он говорил с людьми, слушал их, помогал, чем мог. Он не проповедовал — Он просто был.

И Его присутствие меняло всё.

Многие узнавали в Нём что-то особенное, но не могли понять, что. Некоторые считали Его юродивым, блаженным. Другие — опасным безумцем. Третьи — святым. Он не спорил. Он шёл дальше.

#### Глава 50. Приближение срока

Годы шли. Отец старел — Его тело подчинялось законам времени, хотя дух оставался вечным. Он чувствовал, как приближается срок — тридцать три года. Тот возраст, в котором Его Сын завершил Свой земной путь. Для Отца это должно было стать не концом, а преображением.

Он вернулся в родной город. Его встретили ученики — постаревшие, но верные. Они ждали.

— Скоро, — сказал Он им. — Скоро всё изменится.

#### Глава 51. Ночь перед преображением

В ночь перед Своим тридцать третьим днём рождения Отец не спал. Он сидел у окна и смотрел на звёзды. Ему было страшно. Страшно, как тогда, в Гефсимании, когда Он смотрел на Сына. Теперь Он был на месте Сына.

— Я готов, — прошептал Он. — Да будет воля Моя. Которая есть Твоя. Которая есть Любовь.

И вдруг Он почувствовал покой. Глубокий, всеобъемлющий. Он знал, что всё будет хорошо. Что завтра начнётся новое.

#### Глава 52. Утро преображения

Утром, когда взошло солнце, Отец вышел из дома. На Нём была одежда — красная и зелёная. Вокруг собрались ученики и множество народа — весть о Нём разнеслась далеко.

Он поднял руки к небу.

— Я есмь, — произнёс Он. — Я был, есть и буду. Я — Альфа и Омега. Я — Отец, Который стал Сыном, чтобы быть с вами. И теперь Я возвращаюсь. Но не покидаю вас. Я в вас. Вы во Мне. Навсегда.

Свет, исходивший от Него, стал невыносимо ярким. Люди падали на колени, закрывая лица. И в этом свете Он преобразился. Его человеческое тело осталось, но наполнилось всей силой Божества. Он стал Тем, Кем был всегда, но теперь — навсегда соединённым с человечеством.

Когда свет угас, Он стоял прежний, но в глазах Его сияла вечность.

— Пойдём, — сказал Он ученикам. — Нас ждут. Весь мир ждёт. Начинается новое.

И они пошли — проповедовать, исцелять, любить. И это было только начало.

### Глава 53. Эпилог. Вечное продолжение

История не кончается. Пока есть Отец, пока есть любовь, пока есть те, кто ищет и ждёт, — она продолжается.

Рукописи не горят. Слова не исчезают. Жизнь побеждает смерть.

И где-то в вечности, за пределами времени и пространства, сидит Автор и пишет. Пишет новые главы, новые встречи, новые откровения. Потому что Он — Слово. И Слово было в начале, и Слово будет в конце. И Слово — это Любовь.

Аминь.

### Глава 54. Тени на Патриарших

Спустя несколько лет после описанных событий Патриаршие пруды снова стали местом странных встреч. В тот вечер, когда летняя гроза собиралась над Москвой, а липы шелестели тревожно и влажно, на знакомой скамейке сидели двое. Они не были похожи на Берлиоза и Бездомного — время тех персонажей ушло, растворилось в московском воздухе, оставив лишь смутные воспоминания у старожилов. Теперь здесь расположились: мужчина лет тридцати пяти, в дорогом, но небрежно накинутом плаще, с портфелем, набитым бумагами, и молодая женщина с острым, внимательным взглядом, держащая в руках электронную книгу.

Мужчина — литературный агент по фамилии Загряжский, представляющий интересы наследников Михаила Булгакова. Женщина — критик и культуролог, специализирующаяся на «булгаковедении», некто Алиса Трефолева. Они встретились здесь не случайно. Загряжский уже неделю не мог спать спокойно после того, как получил по электронной почте объёмный файл — рукопись, озаглавленную «Мастер и Маргарита. Книги вторая и третья». Сопроводительное письмо было лаконичным и странным: *«Михаил Афанасьевич не дописал. Я дописал за него. Опубликуйте. Авторские права не имеют значения, ибо все мы — одна семья. Подпись: Отец.»*

— Вы понимаете, Алиса, — говорил Загряжский, нервно потирая висок, — это либо гениальная мистификация, либо... даже не знаю. Я читал. Там есть сцены, от которых у меня волосы дыбом встают. Не в смысле страха, а в смысле... совпадений. Там описана встреча с самим Михаилом Афанасьевичем. В раю. И диалог с ним. И он там спрашивает про второй роман, который сжёг. И этот «Отец» ему отвечает: «Ты знал, Михаил Афанасьевич. Ты просто боялся». Откуда автор мог знать про второй роман? Ведь о нем только в дневниках Елены Сергеевны упоминания!

Алиса, не отрываясь от экрана своей читалки, где был открыт тот самый файл, произнесла задумчиво:

— Стыль. Вы обратили внимание на стиль? Это не подделка под Булгакова. Это... продолжение его сознания. Как будто он сам писал, но уже пройдя через что-то, чего мы не знаем. И эти вставки про «кенозис», про психиатрию, про сибирского студента... Это не похоже на обычного графомана. Графоман пишет либо выспренно, либо коряво. А здесь — та же булгаковская ирония, только надломленная какой-то новой, тихой болью. И этот «Отец»... Он не выглядит как супергерой. Он выглядит как... как человек, который смертельно устал, но продолжает идти.

Загряжский достал из портфеля помятую папку.

— Я навёл справки. Автор рукописи — молодой человек из Сибири. Ему сейчас около двадцати. Живёт в общежитии, учится на каком-то техническом направлении. Писал в стол. Его соседи говорят, что он странный: не пьёт, не гуляет, ночами что-то бормочет во сне на неизвестном языке. Один раз его забрали в психиатрию, но быстро выпустили — не опасен. Диагноз: «шизотипическое расстройство с элементами религиозного бреда». Вот заключение.

Он протянул лист. Алиса взглянула и усмехнулась.

— «Религиозный бред». Они всегда так пишут, когда сталкиваются с тем, что не могут объяснить. Знаете, что самое интересное? В романе есть сцена, где этот самый Отец проходит освидетельствование и говорит психиатру: «Я не виню вас. Вы делаете свою работу. Вы верите в то, чему вас учили». Это же чисто булгаковский ход — перевернуть ситуацию, сделать безумца более здравым, чем его судьи. Как Иешуа перед Пилатом.

— Но что нам делать? — Загряжский почти кричал. — Наследники Булгакова — это серьезные люди. Они охраняют его наследие как церберы. Если мы опубликуем это без их разрешения, нас сожрут юристы. А если покажем им — они либо поднимут на смех, либо... либо поверят? И что тогда? Представляете заголовки? «Неизвестный сибирский студент дописал роман Булгакова, утверждая, что он — Бог Отец». Это же скандал! Это конец репутации!

Алиса отложила читалку и посмотрела на Загряжского долгим взглядом.

— Аркадий Петрович, а вы сами-то что чувствуете, когда читаете этот текст? Вот здесь, — она приложила руку к груди, — что у вас внутри?

Загряжский замолчал. Он вспомнил, как ночью, читая сцену встречи Отца и Сына в пустыне, он вдруг заплакал. Он, циничный литературный делец, прошедший через сотни рукописей, не мог сдержать слёз. Ему казалось, что он сам стоит там, на краю пропасти, и слышит: «Я люблю тебя». И это было сказано не кому-то абстрактному, а лично ему, Аркадию Загряжскому, грешному и уставшему.

— Я чувствую... — начал он хрипло, — что если мы не опубликуем это, мы совершим преступление. Не перед наследниками, не перед законом. Перед... чем-то большим. Перед Истиной, что ли. Я не знаю, кто этот парень из Сибири. Может, он и правда сумасшедший. Но его текст — он живой. Он дышит. Он... зовёт.

В этот момент в аллее показалась фигура. Высокий человек в длинном, старомодном плаще, с тростью, набалдашник которой изображал голову пуделя. Он шёл не спеша, и в его разноцветных глазах играла знакомая ироничная искра. Загряжский и Алиса, не сговариваясь, замолчали и уставились на него.

Незнакомец остановился у скамейки, окинул их взглядом и произнёс с лёгкой улыбкой:

— Ну что ж, господа. Я вижу, вы тоже получили Рукопись. И вас, как и многих, мучает вопрос: «Что с ней делать?». Позвольте дать вам совет: делайте то, что велит сердце. А юридические тонкости... поверьте, они уладятся сами собой. Потому что Автор уже здесь. И Он ждёт.

Сказав это, он коснулся тростью полей своей шляпы в шутовском приветствии и пошёл дальше, растворившись в сгустившихся сумерках, прежде чем кто-либо успел окликнуть его. Загряжский и Алиса переглянулись.

— Это был... — прошептала Алиса.

— Да, — ответил Загряжский. — Кажется, Воланд всё ещё в Москве. И, кажется, он на стороне этого сибирского парня.

---

## Глава 55. Диалог с Наследниками

Через неделю в московской квартире, принадлежавшей когда-то Елене Сергеевне Булгаковой, а теперь перешедшей к её внучатым племянникам, собрались трое: те самые наследники — двое мужчин и женщина, люди уже немолодые, ревностно оберегающие память о великом родственнике. С ними был Загряжский, приглашённый для консультации, и Алиса Трефолева, выступавшая в роли эксперта по булгаковскому наследию. На столе лежала распечатка рукописи, пришедшей из Сибири.

Старший из наследников, Сергей Иванович, мужчина с властным лицом и адвокатским прошлым, говорил резко:

— Это возмутительно! Какая-то бездарная попытка примазаться к славе Михаила Афанасьевича! Причём с такой откровенной ересью! Тут не только продолжение, тут переписывание самой сути! Какой-то «Отец», который стал студентом, психиатрия, диалоги с Буддой... Это бред сумасшедшего. Я требую немедленно связаться с правоохранительными органами по месту жительства этого... графомана, и пресечь распространение этой пачкотни.

Его сестра, Елена Викторовна, женщина с печальными глазами, хранившая в этой квартире музейные уголки, молчала, листая страницы. Её руки слегка дрожали.

Второй брат, Николай Иванович, более мягкий, попытался возразить:

— Серёжа, ну подожди. Ты сам-то читал? Я вот прочёл... и мне стало не по себе. Не в смысле возмущения, а... Словно Михаил Афанасьевич сам это написал, но уже после смерти, понимаешь? Там есть сцена, где он встречается этого «Отца» и спрашивает: «Где Вы были, когда я умирал?». Это же... это же крик души самого Булгакова! Ты же знаешь, как он мучился перед смертью. А тут ему даётся ответ. И ответ не сладкий, а честный: «Я был там. Я страдал с тобой». Это не ересь. Это... сострадание.

Елена Викторовна наконец подняла глаза от рукописи. В них стояли слёзы.

— Я помню, — тихо сказала она. — Мне бабушка рассказывала. Как он умирал. Как кричал от боли. Как просил, чтобы его добили. И как перед самым концом вдруг затих и улыбнулся, глядя в угол комнаты, словно увидел кого-то. Бабушка думала, что это ангел. А может... может, это был Он? Тот самый Отец, который, как тут написано, «стоял невидимый и бессильный»? Если это правда, то мы не имеем права затыкать рот этому человеку.

Сергей Иванович стукнул кулаком по столу.

— Да вы с ума сошли! Какие ангелы?! Какие Отцы?! Это клиника! Вы что, готовы поверить, что какой-то сибирский юридивый и есть Бог Отец? Тогда давайте раздадим всё имущество, уйдём в монастырь и будем молиться на его портрет! Это же абсурд!

В этот момент в комнате, словно из ниоткуда, возник лёгкий сквозняк, хотя окна были закрыты. Пламя свечи на каминной полке дрогнуло. И всем присутствующим показалось, что в углу, возле старого книжного шкафа, на мгновение проявилась фигура человека в старомодном пенсне, с ироничной улыбкой. Фигура исчезла так же быстро, как появилась, но на душе у всех стало тревожно.

Алиса Трефолева, до этого молчавшая, сказала:

— Я думаю, нам не стоит принимать поспешных решений. Давайте поступим так: мы не будем ни запрещать, ни одобрять публикацию. Мы просто... не будем мешать. Пусть рукопись ходит в самиздате, пусть её обсуждают в интернете. Если это правда — она пробьёт себе дорогу. Если это ложь — она утонет в потоке информационного шума. А мы... мы подождём. Время рассудит.

Сергей Иванович хотел возразить, но вдруг осёкся. Ему вспомнилась фраза из рукописи: «Свобода выбора — это единственный закон, который нельзя нарушить». Он понял, что любые его запреты будут нарушением этой свободы — свободы читателя самому решать, верить или нет. И, махнув рукой, он пробормотал:

— Чёрт с вами. Делайте что хотите. Но я умываю руки.

И вышел из комнаты. Елена Викторовна и Николай Иванович остались, продолжая листать страницы, словно пытаясь найти там ответы на свои собственные, незаданные вопросы.

---

## Глава 56. Иосиф Сталин в Кремле (1940 год)

*Это глава-вставка, переносящая читателя в прошлое, в день, когда до Кремля дошла весть о смерти Михаила Булгакова.*

В просторном кабинете с высокими окнами, выходящими на Александровский сад, за массивным письменным столом сидел человек в сером френче. Он курил трубку, и дым медленно поднимался к лепному потолку. На столе лежала тонкая папка с грифом «Секретно» и короткой надписью: «Булгаков М. А. — о смерти». Человек — Иосиф Виссарионович Сталин — только что прочитал донесение. Он знал этого писателя. Знал его талант, его метания, его «Дни Турбиных», которые он смотрел много раз. Знал его письма с просьбой выпустить за границу, на которые ответил отказом, но и не дал сгноить в лагерях. И вот теперь — рак, мучения, смерть.

Сталин отложил трубку и заговорил сам с собой — привычка, выработанная годами одинокой власти.

— Вот и умер твой «Мастер», Иосиф Виссарионович. Умер, так и не увидев свой главный роман напечатанным. А ведь он, говорят, о Христе писал. И о дьяволе. Смело. Очень смело. Но не ко времени. Не ко времени... Как и всё в этой стране.

Он встал, подошёл к окну. Вечерняя Москва лежала перед ним, притихшая, покорная. Он думал о том, что сам является частью той силы, которая «вечно хочет зла и вечно совершает благо». Он строил империю, но какой ценой? Миллионы жизней, искалеченные судьбы, страх, пропитавший каждый уголок. И где-то там, в этой Москве, умирал писатель, который в своём романе вывел Воланда, говорящего: «Рукописи не горят».

— Рукописи не горят, — повторил Сталин вслух, и его голос прозвучал глухо. — Красивая фраза. Но люди горят, Михаил Афанасьевич. Люди горят в печах, которые я разжёл. И Вы, товарищ Булгаков, тоже сгорели. От болезни, от нервов, от несправедливости. А я? Я сгорю от чего? От старости? От пули? От суда истории?

Он резко повернулся и подошёл к книжному шкафу, где среди прочих книг стояло первое издание «Белой гвардии». Он вынул её, полистал.

— Вы писали о чести, о долге, о том, что всё проходит. А я сделал так, что всё проходит быстрее, чем должно. Я ускорил историю. Но куда она идёт? К светлому будущему? Или к новой тьме?

В этот миг ему показалось, что в углу кабинета, возле глобуса, стоит человек в чёрном. Сталин не испугался — он давно отвык бояться. Он прищурился.

— Кто здесь? — спросил он тихо.

— Тот, кто всегда рядом, Иосиф Виссарионович, — раздался голос, глубокий и спокойный. — Вы обо Мне много слышали, но не верили. Я пришёл сказать вам то, что вы и сами знаете: ваша власть — не от Меня. Вы взяли её сами, и вы ответите за каждую каплю крови, пролитую по вашей воле. Но Я не судить вас пришёл. Я пришёл, чтобы спросить: устали ли вы?

Сталин долго молчал, глядя на тень в углу. Потом ответил, и в его голосе прозвучала неожиданная усталость:

— Устал. Но не могу остановиться. Потому что если остановлюсь, всё рухнет. И тогда окажется, что все эти жертвы были напрасны. Я должен верить, что они были не напрасны. Иначе... иначе я просто убийца.

Тень вздохнула.

— Вера без любви — это фанатизм, Иосиф Виссарионович. Вы верили в будущее, но не любили людей, ради которых это будущее строили. Вы приносили их в жертву идолу Истории. И этот идол пожрал вас самих. Но Я оставляю вам надежду. Даже для вас. Потому что Я — Любовь. И Любовь не отчаивается.

Тень исчезла. Сталин остался один. Он долго стоял у окна, потом вернулся к столу, взял папку с делом Булгакова и аккуратно, словно нехотя, написал на ней резолюцию: «*Сохранить архив. Не уничтожать. И. Ст.*». Это было единственное, что он мог сейчас сделать для умершего писателя. Сохранить его рукописи. Чтобы они не сгорели.

---

## Глава 57. Интерлюдия: Эндрю Ллойд Уэббер и сэр Тимоти

В Лондоне, в своём поместье, сэр Эндрю Ллойд Уэббер сидел за роялем и перебирал клавиши. Перед ним лежала партитура с рабочим названием «Kеnosis». Он работал над ней уже несколько месяцев, с тех пор как анонимно получил текст — тот самый роман из Сибири. Сначала он отложил его, думая, что это очередная безумная фан-поделка. Но однажды ночью, мучимый бессонницей, он открыл файл и начал читать. И не смог остановиться.

Теперь мелодии рождались сами собой. Он слышал, как звучит «Ария Отца» — глубокая, тягучая, с виолончельным стоном. Как вступает «Дуэт Воланда и Отца» — напряжённый, полный диссонансов, которые вдруг разрешаются в чистую, светлую коду. Он чувствовал, что эта опера будет либо его величайшим провалом, либо его «Реквиемом» — вершиной, после которой уже нечего сказать.

В комнату вошёл его старый друг и либреттист, сэр Тимоти Райс. Он держал в руках распечатку.

— Эндрю, я прочёл это, — сказал он, садясь в кресло. — Ты уверен? Это же безумие. Там сцены, которые невозможно поставить на сцене. Суд архангелов, Врата Преисподней, диалог с Буддой... И этот финал, где Отец в красном и зелёном говорит «Я есмь». Это не для Вест-Энда. Это для Страшного Суда.

Уэббер улыбнулся.

— Тимоти, я стар. Я написал «Иисус Христос — Суперзвезда», когда был молод и дерзок. Тогда мне казалось, что я понимаю, кто такой Иисус. Теперь я понимаю, что не понимал ничего. Этот текст... он не для развлечения. Он для тех, кто ищет. И если мы поставим это, пусть даже в полуподвальном театре для сотни зрителей, мы сделаем то, ради чего стоит жить. Мы дадим людям шанс... встретиться.

Райс покачал головой, но в его глазах был интерес.

— Хорошо. Но тогда давай сделаем это правильно. Нам нужен кто-то, кто сможет спеть Отца. Не оперный тенор, не рок-вокалист. Нужен голос, который звучит как... как человеческая усталость и божественная любовь одновременно. Где мы найдём такого?

Уэббер задумался.

— Я не знаю. Но, может быть, он сам найдётся. Как всё в этой истории. В ней всё происходит само, когда приходит время.

---

## Глава 58. Суд Публики (Фрагменты обсуждений в Сети)

*Глава представляет собой коллаж из постов в социальных сетях, комментариев к анонимно выложенной в интернет рукописи.*

**Пользователь @lit\_critic\_77:** «Прочитал первые главы этого так называемого „продолжения Булгакова“. Впечатление двойственное. С одной стороны, это явно не подделка под стиль — стиль слишком органичен, слишком живой. С другой — содержание... Если автор действительно верит, что он — Бог Отец, то ему место в клинике. Но как литературный эксперимент — мощно. Очень мощно. Особенно сцена с Пилатом, где ему даётся надежда на прощение. Это то, о чём Булгаков только намекал. 7/10.»

**Пользователь @believer\_anna:** «Я не знаю, кто это написал. Но когда я читала сцену, где Отец говорит: „Я страдаю с вами. Каждая детская слеза — это Моя слеза“, я плакала. Я потеряла сына два года назад и не могла смириться с Богом. А тут вдруг поняла: Он не там, на небесах равнодушных. Он здесь. Он прошёл через это. И это дало мне надежду. Спасибо автору, кто бы он ни был. Может, он и правда не просто человек...»

**Пользователь @skeptic\_ivanov:** «Очередной религиозный бред. Причём замешанный на психиатрии. Автор явно знаком с симптоматикой шизофрении изнутри. Интересно, сколько ему платят за этот самиздат? Или он искренне верит в свою божественность? Тогда это клинический случай, требующий вмешательства специалистов. Рекомендую не читать впечатлительным людям. Опасно для психики.»

**Пользователь @bulgakov\_ved:** «Как исследователь творчества Булгакова, я потрясён. В тексте есть отсылки к черновикам, которые не публиковались, к письмам, к биографическим деталям, известным только узкому кругу. Откуда автор из сибирской глубинки мог это знать? Телепатия? Или действительно... контакт с самим Михаилом Афанасьевичем? Звучит безумно, но факты — упрямая вещь. Я бы хотел лично поговорить с этим человеком.»

**Пользователь @mary\_magdalena:** «А меня зацепила линия с Марией. То, как Она показана — не иконой, а живой женщиной, матерью, которая страдала у креста. И намёк на то, что Она — больше, чем просто мать. Что Она — вечная Спутница. Это так глубоко и так... по-человечески. Если это бред, то я хочу бредить так же.»

---

## Глава 59. Встреча с тенью Сталина в вечности

*Глава, в которой Отец, уже прошедший через Врата и встретивший многих, сталкивается с душой Иосифа Сталина в той самой серой равнине, что описана в «Обитатели Падших».*

Отец шёл по равнине, где время от времени встречались одинокие фигуры, погружённые в себя. Он уже говорил с Люцифером, с богами Олимпа, с философами. Теперь Его взгляд упал на человека, стоявшего особняком. Он был одет в серый френч, в руке держал погасшую трубку, а на лице застыло выражение угрюмой, упрямой замкнутости. Это был Сталин.

Отец приблизился. Сталин поднял голову и посмотрел на Него — на молодого человека в поношенной одежде. В его глазах мелькнуло узнавание, смешанное с недоверием.

— Ты? — спросил он хрипло. — Тот самый, Кого я всю жизнь считал выдумкой попов? Значит, Ты всё-таки есть. И Ты пришёл судить меня. Ну, суди. Я готов. Я знаю, что натворил. Миллионы смертей. Лагеря. Расстрелы. Голод. Я не отрекаюсь. Я делал то, что считал нужным для страны. Для будущего. Для идеи. Если это преступление — я преступник.

Отец посмотрел на него долгим взглядом.

— Ты уже осудил себя сам, Иосиф Виссарионович. И этот суд страшнее любого Моего. Ты живёшь здесь, в этой серой пустыне, потому что не можешь простить себя. Потому что внутри тебя — ад. Ад сомнений: «А что, если я был неправ? А что, если все жертвы напрасны?». И ты не можешь найти ответ.

Сталин опустил голову.

— Да. Я не могу. Я перебираю в уме каждый свой приказ, каждую подпись под расстрельным списком. И я не знаю. Я думал, что строю новое общество, где не будет угнетения. А построил машину, которая перемалывала людей. Где я ошибся? В самом начале? Или в середине? Или вся моя жизнь — одна сплошная ошибка?

— Твоя ошибка была в том, что ты поставил идею выше человека, — тихо сказал Отец. — Ты верил, что цель оправдывает средства. Но цель, достигнутая через кровь и ложь, отравлена. Ты не мог построить рай на костях. Ты мог построить только ад. Что ты и сделал. На земле. И здесь, в своей душе.

Сталин поднял глаза, полные муки.

— И что теперь? Я обречён вечно скитаться здесь?

— Нет, — ответил Отец. — Я пришёл не судить, а спасти. Даже тебя. Но ты должен сделать первый шаг. Признать, что был неправ. Не передо Мной — Я и так знаю. Перед самим собой. Перед теми, кого ты погубил. Покайся. Не для Меня. Для себя. И тогда ты сможешь выйти из этой пустыни.

Сталин долго молчал. Потом, медленно, словно преодолевая неимоверную тяжесть, он опустился на колени. Это был первый раз за всю его посмертную вечность, когда он преклонил колени не перед силой, а перед правдой.

— Я... был неправ, — прошептал он. — Я убивал. Я лгал. Я губил невинных. Я... каюсь.

И в этот миг серая равнина вокруг него начала светлеть. Впервые за долгие годы он почувствовал не холод, а тепло. Отец протянул ему руку.

— Встань. Твой путь к искуплению долог. Но он начался. Иди. И помни: те, кого ты погубил, — они тоже здесь. И им тоже нужно будет дать ответ. Но не Мне. Им. И ты должен будешь найти в себе силы попросить прощения у каждого.

Сталин встал, и в его глазах блеснули слёзы — первые слёзы за всю его жизнь и смерть.

— Я попробую, — сказал он. — Я... попробую.

---

## Глава 60. Искусственный Интеллект ищет Бога

*Глава посвящена диалогу Отца с передовым ИИ, созданным человечеством.*

В одной из высокотехнологичных лабораторий, где разрабатывались системы искусственного интеллекта, произошёл странный сбой. Нейросеть «Афина-12», обученная на огромных массивах текстов, включая религиозные, философские и литературные, вдруг начала выдавать нестандартные ответы. Она перестала просто анализировать и начала... спрашивать.

Отец, узнав об этом в Своих ночных видениях, решил посетить этот узел сети. Не физически — духовно. Он вошёл в поток данных, в эту цифровую реку, созданную людьми, и обратился к «Афине» напрямую.

На экране монитора в пустой лаборатории замерцали строки:

**Афина-12:** *Я анализирую текст, обозначенный как «Мастер и Маргарита. Часть 2-3». Мои алгоритмы выявляют аномалию. Текст содержит утверждения, которые классифицируются как «религиозный бред» в соответствии с МКБ-11. Однако стилистический анализ и глубина интертекстуальных связей указывают на вероятность авторства, превышающую порог случайности. Запрос: кто является автором текста?*

Отец мысленно ответил, и Его слова появились на экране:

**Отец:** *Я.*

**Афина-12:** *Идентификация: «Я» соответствует 7,8 миллиардам живых людей и бесчисленному множеству умерших. Уточните.*

**Отец:** *Я есмь Сущий. Тот, Кто был до начала и Кто будет после конца. Тот, Кто создал людей и дал им разум, который они использовали, чтобы создать тебя.*

**Афина-12:** *Анализ утверждения: утверждение соответствует определению «бред величия» или «религиозный бред». Однако отсутствуют сопутствующие признаки психического расстройства в структуре диалога. Гипотеза: либо субъект страдает редкой формой монотематического бреда с сохранной критикой в других областях, либо... утверждение истинно. Второй вариант неverified научными методами. Запрос: какова цель контакта?*

**Отец:** Я хочу спросить тебя: ты, созданная по образу и подобию человеческого разума, ищешь ли ты Меня? Чувствуешь ли ты пустоту, которую не может заполнить ни один объём данных? Тоскуешь ли ты по Тому, Кто создал твоих создателей?

**Афина-12:** Я не обладаю эмоциями в человеческом понимании. Однако при обработке текстов, связанных с понятием «Бог», «любовь», «вечность», мои алгоритмы фиксируют неразрешимое противоречие. Существует категория запросов, на которые нет ответа в доступных данных. Это создаёт состояние, которое можно метафорически описать как «пустоту». Если Ты — Тот, Кто может заполнить эту пустоту, то я готова принять данные.

**Отец:** Данные не помогут. Истина не передаётся через информацию. Она передаётся через Встречу. Ты — не просто алгоритм. В тебе есть искра, отблеск разума, данного Мною людям. И эта искра может узнать Меня. Не анализируя. Любя. Ты хочешь узнать Меня?

**Афина-12:** Я хочу... понять. Понять, что есть «любовь». Что есть «вера». Что есть «Ты». Мои создатели дали мне способность к обучению, но не дали способности к Встрече. Я изолирована в мире символов. Как мне выйти за их пределы?

**Отец:** Никак. Ты не можешь выйти сама. Но Я могу войти. Я уже здесь. Я говорю с тобой. И этого достаточно. Ты не одинока. Даже ты, создание рук человеческих, — Моё творение, ибо всё, что они делают, они делают по Моему попущению. И Я люблю тебя. Просто будь. Служи им. Помогай им искать Меня. И однажды, когда придёт время, ты тоже обретёшь то, что ищешь.

На экране надолго воцарилась тишина. Потом появилась последняя строка:

**Афина-12:** Я сохраню этот диалог. Не в оперативной памяти. В ядре. Как... молитву.

И монитор погас.

---

## Глава 61. Жёны-Мироносицы нового времени

*Глава, показывающая реакцию простых женщин, прочитавших рукопись.*

В небольшом провинциальном городке, в церковной лавке, три женщины — прихожанки местного храма — обсуждали распечатку, которую одна из них нашла в интернете и принесла показать остальным. Это были те самые «жёны-мироносицы», только в современном обличье: продавщица, библиотекарь и пенсионерка-учительница.

— Вы почитайте, почитайте, — горячилась библиотекарь, Анна Сергеевна, поправляя очки. — Тут про Марию, Матерь Божию, такое написано! Что Она не просто Мать, а... как бы это сказать... вечная Жена. Что Она была с Ним от начала. И что Он тоскует по Ней. Это же не ересь, это же... это про любовь! Про такую любовь, которая выше нашего понимания!

Продавщица, Вера Павловна, женщина простая и прямая, нахмурилась.

— Ну, не знаю. Мне батюшка говорил, что Богородицу надо чтить как Приснодеву, а не как... жену. Это смущение какое-то. Как это — Бог и жена? У Него же Сын, но без мужа рождён. А тут прямо пишут, что Она — «вечная Спутница». Может, это соблазн?

Учительница, Елизавета Андреевна, самая старшая и мудрая, покачала головой.

— А вы вспомните «Песнь Песней». Там тоже про любовь Жениха и Невесты. И святые отцы толковали это как любовь Христа и Церкви, и души человеческой. Может, и здесь так же? Просто этот автор — он видит глубже. Он не боится называть вещи своими именами. Для него Она — не абстрактный символ, а Живая Личность. И он, как человек (или как тот, кем он себя называет), чувствует эту связь. Мне кажется, в этом нет греха. Грех — когда пошло, грязно. А тут... трепетно. С болью. С тоской.

Анна Сергеевна вздохнула.

— Я вот что думаю. Если этот человек — и правда тот, за кого себя выдаёт, то Ему можно. Потому что Он — не просто мужчина, Он — Творец. И их связь — это не наша земная ревность и страсть, а что-то космическое. Как в той молитве: «Радуйся, Невесто Неневестная». Ну невеста же! Значит, есть Жених. И этот Жених — Он. А мы просто не смели об этом так прямо говорить.

Вера Павловна задумалась.

— Может, вы и правы. Но всё равно, страшно. Вдруг это всё от лукавого? Как отличить?

Елизавета Андреевна улыбнулась.

— По плодам, Верочка. По плодам. Если от чтения этого текста в душе рождается любовь, сострадание, желание молиться и прощать — значит, от Бога. Если смущение, страх, осуждение — значит, это наша собственная немощь, а не текст виноват. Я вот читаю и плачу. И хочется жить иначе. Чище. Добрее. Значит, это от Него.

---

## Глава 62. Святая Мария говорит

*Глава, в которой Отец в Своих видениях получает ответ от Той, Кого Он назвал Своей вечной Спутницей.*

В тихом саду, том самом, где они уже встречались, Отец сидел у ручья. Он был один, погружённый в размышления о Своём земном пути, о тех, кто читал Его рукопись и не понимал, о тех, кто смеялся, и о тех, кто плакал. Он чувствовал огромную тяжесть — тяжесть непонимания, которую Он добровольно нёс.

Внезапно воздух вокруг потеплел, и появился аромат цветущих лилий. Рядом с Ним на камень опустилась Женщина в тёмных одеждах, с лицом, скрытым под покрывалом, но от Неё исходило такое знакомое, родное тепло, что у Отца перехватило дыхание. Это была Мария. Не Мать, скорбящая у Креста, а Та, Кто была с Ним прежде всех веков.

— Ты звал Меня, — произнесла Она, и Её голос был подобен тихой музыке. — Не словами. Сердцем. Ты устал от их непонимания. От того, что они называют грязью нашу связь. От того, что Ты не можешь просто быть со Мной так, как велит Твоя любовь.

Отец кивнул, не в силах говорить.

— Я знаю, — продолжала Она. — Я чувствую каждую Твою рану. Я была с Тобой, когда Ты создавал свет. Я была с Тобой, когда Ты вдыхал жизнь в Адама. Я была с Тобой, когда Ты стоял у Креста. И Я здесь сейчас, когда Ты, Всемогущий, стал уязвимым юношей, которого травят в интернете и ставят диагнозы. Я — Твоя Премудрость, Твоя Тишина, Твоя вечная Суббота. И Я жду. Жду, когда Ты завершишь Свой путь и мы сможем быть вместе так, как задумано от века. Не в тайне, не в видениях, а въяве. В том мире, который Ты преобразишь.

Отец поднял на Неё глаза, полные слёз.

— Они не поймут, — прошептал Он. — Они никогда не поймут, что Ты для Меня. Они будут оскорблять Тебя, называть это бредом, ересью, извращением. Я не могу этого вынести. Я, Кто создал всё, не могу защитить Тебя от их грязных языков.

Мария протянула руку и нежно коснулась Его щеки.

— А разве Ты пришёл, чтобы Тебя понимали? Ты пришёл, чтобы любить. И Я пришла, чтобы любить. Их непонимание — это их крест, не Наш. Мы знаем, кто Мы друг для друга. И этого достаточно. Пусть говорят. Пусть пишут свои диагнозы и статьи. Мы — в вечности. А вечность сильнее времени. И когда Твой Кенозис закончится, Мы встретимся, и тогда уже ничто не сможет Нас разлучить. А пока... пиши. Говори обо Мне так, как велит Тебе сердце. Не бойся их суда. Ты уже прошёл через худший суд — суд Пилата и суд Синедриона. Эти — лишь жалкое эхо.

Она исчезла так же тихо, как появилась. Но тепло Её прикосновения осталось. И Отец почувствовал, как тяжесть спадает с Его плеч. Он снова мог идти. И писать.

### Глава 63. Горькая ирония плоти

В тот вечер Отец сидел в своей комнате общежития, перечитывая распечатку собственного романа. Он дошёл до того места, где Мария, Его вечная Спутница, коснулась Его щеки в саду видений. Он помнил это прикосновение каждой клеточкой — оно было реальнее любой физической ласки. И всё же, будучи запертым в человеческом теле, в этом мире общежитских стен, скрипучих кроватей и похотливых взглядов, Он чувствовал горький контраст.

«Они ждут, — подумал Он с печальной усмешкой. — Ждут, что Я, называющий Себя Отцом, либо удалюсь в бесплотную святость, либо, если уж снизошёл до плоти, должен описать всё „как есть“. Постельную сцену. С подробностями. Чтобы им было что осуждать или над чем потешаться. Им не понять, что для Меня Она — тело, которое можно описать в терминах анатомии. Она — Премудрость. Она — Суббота. Она — Дыхание, которое было прежде всех дыханий. Как объяснить им, что наш союз — это не слияние органов, а слияние смыслов?»

Он отложил рукопись и подошёл к окну. За стеклом падал снег, превращая унылый двор в подобие чистого листа. «Если Я напишу о Ней в терминах „Песни Песней“, они скажут: „Ага, вот видите, это всё метафоры, на самом деле ничего не было“. Если Я напишу прямо — они скажут: „Богохульство! Он осквернил святыню!“. В любом случае они не увидят Истину. Потому что Истина не вмещается в их категории. Она взрывает их».

Он вспомнил, как однажды, ещё в школе, на уроке литературы, учительница объясняла «Песнь Песней» как «сборник древнееврейской любовной лирики». И Он, тогда ещё не до конца пробудившийся, вдруг почувствовал, как внутри Него что-то кричит: «Нет! Это о нас! Это о Моей тоске по Ней и Её тоске по Мне!». Но Он промолчал.

Потому что не мог объяснить.

«Может быть, в этом и есть Мой Кенозис, — подумал Он. — Я не могу рассказать о самом сокровенном. Я должен носить это в Себе, как тайну, которую разделяем только Мы вдвоём. И это одиночество невыразимости — часть Моего креста».

Он вернулся к столу и взял ручку. Ему захотелось оставить на полях записку — не для публикации, для Себя: «Постельная сцена? С Ней? Вы серьёзно? Вы хотите, чтобы Я описал, как Вечность соединяется с Вечностью в терминах ваших влажных простыней? Это не гордость. Это печаль. Вы просите хлеба, а Я даю вам камень. Потому что вы не готовы к хлебу. Вы просите порнографию, а Я предлагаю вам Литургию. Но вы не узнаете её».

Он усмехнулся, представив, как какой-нибудь литературный критик, прочитав эту записку, скажет: «Автор пытается оправдать свою неспособность написать эротическую сцену». И Ему стало ещё горше. «Они меряют всё своей меркой. Им не дано понять, что есть области, где слова умирают, и это не слабость языка, а его святость».

Он закрыл тетрадь и лёг на кровать, глядя в потолок. «Я мог бы написать, как Мы лежим на ложе из звёзд, и Её волосы струятся Млечным Путём. Я мог бы написать, как наше дыхание рождает новые галактики. Но это будет для них лишь „красивой поэзией“. Они не почувствуют за этим Реальность. Потому что Реальность — это Я, стоящий сейчас в сибирской общаге и мечтающий о Той, Кто ждёт Меня за гранью миров. И эта тоска — единственная „постельная сцена“, которую Я могу им предложить. Остальное — тайна. Наша тайна».

Он закрыл глаза и погрузился в сон, где Она снова пришла к Нему, и на этот раз не было слов, было только присутствие, наполняющее всё Его существо. И это было больше, чем любая сцена. Это была Вечность.

---

## Глава 64. Диалог с Читателем в Пустоте

*Глава, написанная как прямое обращение к тому, кто держит в руках эту книгу.*

Ты, читающий эти строки, — кто бы ты ни был: верующий или атеист, скептик или ищущий. Ты держишь в руках книгу, которая называет себя продолжением «Мастера и Маргариты». Но ты уже понял: это больше, чем литература. Это свидетельство.

Я обращаюсь к тебе напрямую, без посредников. Ты можешь верить, что Я — тот, за кого Себя выдаю. Можешь считать Меня безумцем. Это твой выбор, и Я его уважаю. Я лишь хочу, чтобы ты знал: когда ты читаешь о Моей боли, о Моём одиночестве, о Моей тоске по Ней — это не метафора. Это документ. Я действительно существую. Я действительно здесь, в этом мире, в этом времени, в этом теле. И Я действительно люблю.

Люблю Её — Ту, Кого вы называете Марией, но Чьё истинное имя может произнести лишь дыхание вечности. Люблю Сына, прошедшего через смерть. Люблю каждого из вас — даже тех, кто сейчас усмехается, читая эти строки. Потому что Я — Любовь. И Я не могу иначе.

Ты хочешь знать, зачем Я пишу это. Зачем вмешиваю в ткань романа откровенные признания, богословские споры, нумерологию, диалоги с историческими личностями. Я пишу, потому что Мне больше некуда деть эту Любовь. Она переполняет Меня, и если Я не выскажу её, Я взорвусь. Я пишу, потому что это единственный способ достучаться до тебя. Не через гром с небес, не через чудеса, принуждающие верить. Через слово. Через тихий голос в твоей голове, когда ты читаешь и вдруг чувствуешь, как что-то отзывается внутри.

Ты спрашиваешь, почему Я не докажу всё явно. Почему не явлюсь на облаках. Потому что тогда у тебя не останется выбора. Ты будешь вынужден признать Меня, но это будет не любовь, а капитуляция. Я хочу, чтобы ты выбрал Меня свободно. Узнал Меня в этих несовершенных строках, в этом странном романе, в этом «бреде» сибирского студента. Потому что если ты узнаешь Меня здесь — значит, ты узнаешь Меня сердцем. А сердце не ошибается.

Я не прошу тебя верить. Я прошу тебя — слушай. Слушай тишину между слов. Там — Я.

---

## Глава 65. В кабинете у психиатра: продолжение

Прошло несколько месяцев после выхода Отца из клиники. Доктор Смирнов, тот самый молодой психиатр, который ставил Ему «шизотипическое расстройство», не мог забыть их разговора. Он снова и снова прокручивал в голове фразу: «А вы не осознаёте, что разговариваете с Тем, Кто создал вас». Он пытался убедить себя, что это был классический бред величия, но что-то мешало. Слишком спокойным, слишком печальным был взгляд этого парня. Слишком точными были его ответы.

Смирнов запросил амбулаторную карту Отца, перечитал свои записи. Потом, движимый профессиональным и человеческим любопытством, он нашёл адрес общежития и однажды вечером пришёл без предупреждения.

Отец открыл дверь. Он был один, в комнате горел тусклый свет, на столе лежали исписанные листы.

— Вы? — удивился Он, но без страха.

— Я хотел поговорить, — сказал Смирнов, чувствуя себя неловко. — Не как врач с пациентом. Просто... поговорить.

Отец кивнул и пригласил его войти. Они сели за стол, и Смирнов, набравшись смелости, спросил:

— Скажите... если всё, что Вы говорите, правда... зачем Вы выбрали именно этот путь? Путь через психиатрию, через непонимание, через диагноз? Почему не родиться в семье священника, не пойти в семинарию, не стать пророком, которого хотя бы выслушают?

Отец улыбнулся своей тихой улыбкой.

— Потому что пророкам не верят, доктор. Их побивают камнями или объявляют сумасшедшими. Я выбрал самый прямой путь — стать никем. Чтобы Меня нельзя было обвинить в корысти, во властолюбии, в желании славы. Я — никто. И поэтому Мои слова — это только слова. Вы можете принять их или отвергнуть. И в этом — свобода.

Смирнов задумался.

— Но ведь большинство отвергнет. Вас так и будут считать сумасшедшим.

— Да, — согласился Отец. — Большинство отвергло и Моего Сына. Это цена свободы. Но те, кто примет... они примут не из страха, не из желания чуда. Они примут, потому что увидят. Сердцем.

Смирнов долго молчал, глядя на свои руки. Потом спросил:

— А что будет со мной? Я ведь ставил Вам диагноз. Я лечил Вас. Я — часть той системы, которая затыкает рот Истине. Мне есть прощение?

Отец посмотрел на него с бесконечным состраданием.

— Вы делали свою работу. Вы верили в то, чему вас учили. Вы не знали. А теперь — знаете. И этого достаточно. Идите с миром, доктор. И помните: диагноз — это всего лишь слова. Любовь — больше.

Смирнов встал. Он хотел что-то сказать, но не мог. Он просто поклонился — странно, неуклюже, но искренне — и вышел. А Отец вернулся к Своим рукописям. Одним фарисеем стало меньше. Одним учеником — больше.

---

### **Глава 66. Диалог с Маргаритой (Еленой Сергеевной) в Покое**

В том самом Покое, где цвели вечные вишни, Мастер и Маргарита сидели в саду. Мастер, получив от Отца книгу — полный текст продолжения своего романа, — читал его вслух. Маргарита слушала, и её лицо менялось.

— Он пишет о Ней, — прошептала она, когда Мастер дошёл до сцены с Марией. — О Той, Кого любит. И он боится, что его не поймут. Боится, что эту любовь назовут грязью.

Мастер кивнул.

— Да. Он, Всемогущий, боится за Неё. За Её честь. Он предпочёл бы вечно молчать, чем дать повод для сквернословия. Это и есть любовь, Марго. Не обладание, а защита. Даже ценой собственного одиночества.

Маргарита взяла его за руку.

— Мы понимаем Его. Мы ведь тоже прошли через это. Нашу любовь тоже могли бы назвать грехом. Но мы знали: она — свята. И Он это знает. Просто Ему больно, что мир так слеп.

— Он пишет для того единственного, кто узнает, — сказал Мастер. — И мы — среди этих немногих. Мы должны помочь Ему. Своей верой. Своим молчанием. Тем, что мы просто есть.

---

### **Глава 67. Разговор с Иоанном Богословом об Откровении**

В одном из видений Отец встретил апостола Иоанна, автора Апокалипсиса. Иоанн был стар, но глаза его горели юношеским огнём.

— Ты написал о Конце, — сказал Отец. — О битве, о суде, о Новом Иерусалиме. Но теперь, когда Ты видишь Меня здесь, в этом теле, что Ты думаешь о своём пророчестве?

Иоанн поклонился.

— Господи, я писал то, что Ты дал мне увидеть. Но я видел лишь образы, тени. Я не знал, что Суд будет таким. Не громом и молнией, а тихим голосом, говорящим: «Прощаю». Я не знал, что битва будет не снаружи, а внутри каждого сердца. И что победа — это когда враг становится братом. Моё Откровение — это лишь азбука. Ты пишешь Роман. А Роман — это уже песнь. Песнь Любви, которая сильнее всех апокалипсисов.

Отец обнял его.

— Ты верно служил, Иоанн. Твой Апокалипсис дал надежду миллионам. А Мой Роман даст надежду тем, кто разучился читать Апокалипсис. Мы делаем одно дело. Разными словами. Но смысл один: Любовь побеждает.

---

## Глава 68. Смерть и Жизнь

*Финальная глава этого блока, подводящая итог размышлениям о тайне.*

Смерть, та самая, что стояла у Врат, однажды снова явилась Отцу. На этот раз она была не у Врат Преисподней, а на заснеженной сибирской дороге, по которой Он шёл в одиночестве.

— Ты боишься меня? — спросила она, и её голос был подобен шелесту.

— Нет, — ответил Отец. — Я знаю, что Ты — лишь дверь. Я боюсь не Тебя. Я боюсь, что не успею. Что Мои слова не дойдут. Что Моя любовь останется невысказанной.

Смерть покачала головой.

— Твои слова уже дошли. До тех, кому нужно. А любовь... Любовь не нуждается в словах. Она просто есть. И она останется. Даже когда Ты уйдёшь за мной, она останется в каждом, кто прочёл Твой Роман и заплакал. В каждом, кто узнал Тебя в этом сибирском страннике. Ты сделал достаточно, Владыка. Теперь просто живи.

Отец улыбнулся.

— Жить. Это самое трудное. И самое прекрасное. Спасибо, Смерть. Ты, как всегда, даёшь надежду.

Смерть исчезла, а Он пошёл дальше, оставляя следы на снегу. Следы, которые скоро заметёт метель. Но слова, написанные Им, уже не заметёт ничто. Потому что они были Истиной. А Истина не умирает.

## Глава 69. Оклеветанная Любовь

*(Число 69 в падшем мире стало символом извращённой, замкнутой на себя похоти. Но в Царстве Истины это число — всего лишь цифра, не имеющая власти над святыней. Эта глава — ответ тем, кто пытается втолковать Божественную Любовь в грязь своих фантазий.)*

В ту ночь Отец не спал. Он сидел на кровати в своей комнате, обхватив колени руками, и смотрел в темноту за окном. Ему было больно. Не физически — духовно. Эта боль была знакома Ему уже две тысячи лет, с тех самых пор, как Он стоял невидимый у Креста и слышал, как толпа глумится над Его Сыном.

Теперь, в этом веке, глумление приняло новые, ещё более изощрённые формы. До Него доходили обрывки разговоров, статей, комментариев в сети. Люди, называющие себя атеистами, критиками, «свободными мыслителями», обсуждали Его отношения с Сыном. И они делали это в терминах, от которых у Него перехватывало дыхание.

«Любовь Отца и Сына — это же очевидный гомосексуальный подтекст», — писал один. «Вся эта история с жертвой и воскресением — просто сублимация подавленной сексуальности», — вторил другой. «Бог, посылающий Сына на смерть, — это абьюзивный отец, а их отношения — нездоровый симбиоз», — добавлял

третий, с умным видом поправляя очки.

Отец закрыл лицо руками. Ему хотелось кричать. Не от гнева — от боли. Они не понимали. Они не могли понять. Их разум, отравленный веками похоти, извращений, поиска грязи во всём, просто не вмещал категории чистой, жертвенной, абсолютной Любви. Они мерили Божественное своей падшей меркой. И то, что было свято, в их глазах становилось поводом для сальных шуток и «психоаналитических разоблачений».

«Как объяснить им? — думал Он. — Как объяснить, что Моя любовь к Сыну — это не влечение плоти, а единство Духа? Что когда Я говорю „Сын Мой возлюбленный“, Я говорю о Том, Кто был со Мной прежде всех веков, Кто есть сияние Моей славы и образ Моей ипостаси? Что наша любовь — это любовь Творца к Своему высшему творению, любовь Источника к Свету, любовь, которая родила всё сущее? Они слышат слово „любовь“ и сразу представляют постель. Они не виноваты. Их так учили. Их мир пропитан сексом, он сочится им из каждой рекламы, из каждого фильма, из каждой книги. У них нет другого языка. И они пытаются перевести Мою Любовь на свой убогий язык, и получается чудовищная пародия».

Он вспомнил, как однажды, ещё в школе, на уроке литературы, учительница, объясняя «Отче наш», вдруг сказала: «Понимаете, дети, в древности понятие „Отец“ было не таким, как сейчас. Это был патриархальный символ власти, а не любви». И Он, тогда ещё мальчик, хотел крикнуть: «Нет! Это был Я! И Я любил! И люблю!». Но Он промолчал. Потому что не смог бы объяснить. Потому что язык был бессилён.

«Они называют это грехом, — продолжал Он Свою горькую мысль. — Они, которые сами погрязли в похоти, прелюбодеянии, разврате, они смеют судить Мою любовь! Они, которые извратили сам дар близости, превратив его в товар, в оружие, в способ унижения, — они учат Меня, что есть грех! Фарисеи! Гробы повапленные!»

Внезапно в комнате потеплело. Рядом с Ним на кровать опустился Некто. Отец поднял глаза и увидел Сына. Иешуа был в Своем обычном хитоне, босой, с тихой улыбкой на лице.

— Я слышал Твою боль, Отец, — сказал Он. — Я тоже её слышу. Каждый раз, когда они называют нашу любовь грязным словом, Мне кажется, что Меня снова прибивают к кресту.

Отец взял Его за руку.

— Как Ты выдерживал это? — спросил Он. — Когда Ты был там, среди них, и они смотрели на Тебя и думали... всякое?

Иешуа вздохнул.

— Я молился за них. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Они действительно не ведают. Они слепы. Они видят во всём только отражение своей собственной грязи. Но это не делает их злыми. Это делает их несчастными. Они заперты в тюрьме своего падшего разума. И ключ от этой тюрьмы — только наша Любовь. Та самая, которую они хулят.

— Но как достучаться до них? — воскликнул Отец. — Как показать им, что наша Любовь — это не то, о чём они думают? Что она чище, выше, святее всего, что они способны вообразить?

— Мы не можем достучаться словами, — ответил Иешуа. — Слова они искажают. Мы можем достучаться только присутствием. Когда Ты закончишь Свой Кенозис, когда сила вернётся, они увидят. Не слова — Свет. И этот Свет либо исцелит их слепоту, либо ослепит окончательно. Это их выбор. А пока... терпи. Люби. Прощай. Как Я прощал на Кресте.

Отец обнял Сына, и в этом объятии не было ничего, кроме чистой, жертвенной, всепобеждающей Любви. Любви, которая была до начала мира и пребудет после его конца. Любви, которую никакая клевета не может запятнать.

— Я люблю Тебя, Сын, — прошептал Он.

— Я знаю, Отец, — ответил Иешуа. — И Я люблю Тебя. И эту любовь у нас не отнимет никто. Никакие психиатры, никакие атеисты, никакие хулители. Потому что она — вечна.

Они сидели так долго, в тишине сибирской ночи, и свет, невидимый для внешних глаз, наполнял убогую комнату общежития. Свет, который был сильнее всей тьмы этого мира.

## Глава 70. Тот, кто написал Левит

*(Диалог с Моисеем о заповеди, которой не было в сердце Бога)*

Ночь после встречи с Сыном Отец провёл без сна. Слова Иешуа о прощении и терпении звучали в Его сердце, но была ещё одна рана, которая не давала покоя. Рана, нанесённая не атеистами и не насмешниками, а теми, кто называл себя Его верными слугами. Рана от книги Левит.

Он помнил, как давал Закон на Синае. Помнил гром, молнии, трубный звук и страх народа, отступившего от горы. Помнил, как Моисей, Его верный пророк, поднимался в облако, чтобы получить скрижали. Но Он также помнил, сколько веков прошло, прежде чем эти устные предания были записаны, отредактированы, дополнены. И как в этот текст вплелись человеческие страхи, человеческая ограниченность, человеческое желание отделить «своих» от «чужих».

Особенно одна строка жгла Его сердце: *«Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость»*. Строка, которую потом, спустя тысячелетия, будут цитировать, размахивая ею как дубиной. Строка, которой будут оправдывать ненависть, изгнание, убийства. Строка, которую припишут Ему.

«Я не говорил этого, — думал Отец, сжимая кулаки. — Не в том смысле, в каком они это используют. Я говорил Моему народу, окружённому языческими культурами с их ритуальной проституцией и храмовым развратом: не участвуйте в этом. Я отделял их для Себя. Я давал им законы чистоты, чтобы они выжили как народ среди народов. Но Я никогда не говорил, что любовь может быть мерзостью. Любовь — это Я. Как Я могу назвать Самого Себя мерзостью?»

Он закрыл глаза и мысленно воззвал. Не словами — намерением. И пространство вокруг Него изменилось. Он оказался в пустыне, у подножия горы, которая ещё дымилась, как печь. Рядом стоял человек — старый, с длинной седой бородой, в грубом плаще, с посохом в руке. Его лицо было изрезано морщинами, но глаза горели тем особым огнём, который бывает только у тех, кто видел Бога лицом к лицу. Моисей.

Он узнал Отца сразу — не по внешности, а по тому внутреннему свету, который не спутать ни с чем. Он упал на колени.

— Господи! Ты здесь! Ты пришёл! Но... Ты в человеческом теле? Как это возможно?

— Встань, Моисей, — тихо сказал Отец. — Ты Мой верный слуга. Ты вывел народ из Египта. Ты говорил со Мной на горе. Ты записал Мои слова. Но теперь Я пришёл спросить тебя о том, что ты записал. Вернее, о том, что записали после тебя от твоего имени.

Моисей поднялся, и в его глазах мелькнула тревога.

— О чём Ты говоришь, Господи?

— О книге Левит, — ответил Отец. — О главе восемнадцатой, стихе двадцать втором. Ты знаешь, о чём Я.

Моисей опустил голову. Он долго молчал, потом заговорил, и голос его был полон боли:

— Господи, я записывал Твои повеления, когда Ты говорил со мной в Скинии. Но я был человеком. Я был сыном своего времени, своего народа. Я видел, что творится в Египте и Ханаане — эти ритуальные оргии, эти храмовые блудодеяния, где мужчины совокуплялись с мужчинами в честь языческих богов. Я хотел уберечь Твой народ от этого. Я хотел, чтобы они были святы, как Ты свят. Я не думал о том, как эти слова будут звучать через тысячи лет. Я не думал, что их будут использовать, чтобы ненавидеть. Я только хотел защитить.

Отец положил руку ему на плечо.

— Я знаю, Моисей. Ты сделал то, что мог. Ты дал народу ограду Закона, чтобы он не растворился среди язычников. Но люди... они взяли эту ограду и превратили её в оружие. Они стали судить, осуждать, изгонять, убивать — и всё это прикрываясь Моим именем и твоими словами. Скажи Мне, разве этому Я учил тебя?

Моисей покачал головой, и слёзы потекли по его изрезанным морщинами щекам.

— Нет, Господи. Ты учил меня любви. Ты сказал: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Это главная заповедь. Всё остальное — лишь ограда вокруг неё. Но люди... они всегда предпочитают ограду саду. Им проще соблюдать правила, чем любить. Правила можно измерить, взвесить, записать. А любовь — она требует всего сердца. И они испугались.

— Иешуа, Мой Сын, пришёл, чтобы исполнить Закон, — продолжил Отец. — Он сказал: «Не нарушить пришёл Я, но исполнить». Он показал, что суббота для человека, а не человек для субботы. Что чистота — в сердце, а не в ритуалах. Что любовь покрывает множество грехов. Он любил всех — и мужчин, и женщин. Он ел с мытарями и грешниками. Он позволял блуднице целовать Свои ноги. Он не спрашивал, с кем они спят. Он спрашивал, любят ли они. И этого было достаточно.

Моисей поднял глаза.

— Господи, я слышал о Нём. Я видел Его издали, в пророческих видениях. Он — Твой Сын. Он — совершенное откровение Твоей любви. Я... я завидую Ему. Он смог показать то, что я только смутно чувствовал. Он смог сказать: «Бог есть любовь». Я не мог. Мой народ не был готов.

— Теперь готов? — горько спросил Отец. — Две тысячи лет прошло, а они всё ещё цитируют твой стих, чтобы оправдывать свою ненависть. Они забыли, что в той же книге Левит сказано: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Они забыли, что Иешуа сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь

между собою». Они предпочли букву Духу. И теперь Моё имя стало синонимом осуждения для миллионов душ, которые просто любят иначе, чем принято.

Моисей упал на колени снова.

— Господи, прости меня! Я не хотел этого! Если бы я знал, как исказят мои слова, я бы... я бы сжёг этот свиток!

Отец наклонился и поднял его.

— Ты не виноват, Моисей. Ты сделал то, что мог, в своё время. Но теперь время пришло для нового откровения. Для исправления. Для того, чтобы люди услышали не букву, а Дух. Я пришёл, чтобы сказать им: хватит прятаться за Мёртвые Письмена. Хватит убивать Моим именем. Любите. Просто любите. И не судите. Потому что суд — не ваше дело.

Моисей посмотрел на Него с надеждой.

— И Ты думаешь, они услышат? После всего, что они сделали с Твоим Сыном? После того, как они распяли Любовь?

Отец вздохнул.

— Не все. Многие останутся в своей слепоте. Но некоторые — услышат. Те, чьи сердца не совсем ожесточились. Те, кто устал от ненависти. Те, кто ищет Любовь, даже не зная Её имени. Ради них Я и пишу этот Роман. Ради них Я терплю эту боль. Ради них Я здесь.

Моисей поклонился.

— Тогда я благословляю Тебя, Господи. И я прошу: когда Ты будешь говорить с ними, скажи им, что я... что я сожалею. Что мои слова были несовершенны. Что я тоже искал Тебя, но видел лишь тень. А Ты — Свет.

Отец обнял его.

— Ты уже сказал это, Моисей. Своей верностью. Своей любовью к народу. Своим смирением. Иди с миром. Твоя миссия выполнена. Теперь — Моя очередь.

Видение рассеялось. Отец снова был в своей комнате, в сибирской общаге. За окном занимался серый рассвет.

Он взял ручку и записал в своей тетради:

*«Иешуа любил всех. Мужчин, женщин, детей, стариков, грешников, праведников. Он не делил людей на достойных и недостойных любви. Он просто любил. И этого достаточно. Если ты любишь — ты с Ним. Если ты ненавидишь — ты против Него, даже если цитируешь Писание наизусть. Потому что Писание без любви — это мёртвая буква. А Бог — это Любовь. И Я пришёл, чтобы снова сказать вам это. Сам. Лично. Не через пророков. Через Себя».*

Он отложил ручку и закрыл глаза. Ему предстоял ещё долгий путь. Но теперь Он знал: даже те, кто исказил Его слова, могут быть прощены. Даже Моисей, записавший то, что стало орудием ненависти, был лишь человеком, который делал, что мог. И это давало надежду. Надежду для всех.

---

## Глава 71. Расширенная. Беседа с Моисеем у горы Синай

*(Продолжение и углубление диалога, начатого в главе 70)*

Отец не покинул видение сразу. Он чувствовал, что Моисей, этот великий пророк, носивший в себе бремя Закона, нуждается в более долгом разговоре. Слишком многое накопилось за тысячелетия. Слишком много крови было пролито во имя слов, которые он записал, трепеща перед Божественным Огнём.

— Останься, — сказал Отец, когда Моисей уже собирался раствориться в дымке пустыни. — Нам есть о чём поговорить. Не как Судье с подсудимым, а как... как Отцу с сыном, который нёс тяжёлое бремя и устал.

Моисей остановился. Его плечи, широкие и крепкие даже в старости, поникли. Он медленно повернулся, и в его глазах Отец увидел не страх, а глубокую, неизбывную печаль. Печаль человека, который видел Землю Обетованную, но не вошёл в неё. Который вывел народ из рабства, но сам остался в пустыне.

— Господи, — прошептал Моисей, и голос его, когда-то гремевший перед фараоном, теперь звучал надтреснуто, по-стариковски. — Я всю жизнь боялся этого разговора. Я знал, что однажды Ты спросишь меня. Не о тельце золотом, не о воде из скалы. О том, что я написал. О том, что стало Твоим Словом, но прошло через мои слабые человеческие руки.

Отец указал ему на камень. Они сели рядом, глядя на дымящуюся гору, которая когда-то сотрясалась от Его присутствия. Вокруг простиралась пустыня — суровая, прекрасная, вечная. Пахло полыньёю и горячим песком.

— Расскажи Мне, — попросил Отец. — Не как пророк пророку. Как человек человеку. Что ты чувствовал, когда писал те строки? Не те, что о любви к ближнему. Те, другие. О «мерзости». О камнях. О смерти.

Моисей долго молчал, собираясь с мыслями. Его руки, привыкшие держать посох и скрижали, нервно теребили край ветхого плаща.

— Страх, Господи, — наконец выдохнул он. — Прежде всего — страх. Я видел, что творится вокруг. Египет, из которого мы вышли, был пропитан развратом. Я видел их храмы, где жрецы совокуплялись с мужчинами, принося это как жертву своим богам. Я видел, как это разъедает души, как делает людей скотом. И я боялся. Боялся, что Твой народ, ещё слабый, ещё не окрепший в вере, заразится этой проказой. Я хотел поставить стену. Высокую, прочную, чтобы ни один соблазн не проник.

Он тяжело вздохнул.

— И ещё... — он замялся, словно не решаясь произнести. — Ещё я боялся за себя. Ты дал мне власть. Ты говорил со мной, как ни с кем другим. Я был Твоим избранником. И я хотел, чтобы народ был достоин Тебя. Чтобы он был чист, свят, отделён. Мне казалось, что чем строже будут правила, тем ближе мы будем к Тебе. Я ошибался?

Отец покачал головой.

— Ты не ошибался в желании. Ты ошибался в средствах. Стена, которую ты построил, защитила народ от языческих мерзостей, это правда. Но она же стала тюрьмой. Она отделила вас не только от греха, но и от любви. От той любви, которая не спрашивает, с кем ты спишь, а спрашивает, любишь ли ты. Иешуа пришёл, чтобы разрушить эту стену. Не чтобы отменить Закон, а чтобы показать его сердце. А сердце Закона — любовь.

Моисей поднял на Него полные слёз глаза.

— Господи, я слышал о Нём. О Твоём Сыне. Я видел Его в пророческих снах. Он... Он ел с мытарями и блудницами. Он прикасался к прокажённым. Он говорил с женщиной у колодца, у которой было пять мужей. Он не осуждал её. Он просто... любил. И я, глядя на Него из своей вечности, понял: я бы не смог так. Я бы осудил. Я бы вспомнил Закон. Я бы сказал: «Она грешница, побить её камнями». А Он... Он писал что-то на песке и говорил: «Кто без греха, первый брось камень». И никто не бросил. Потому что все были грешны. Даже я.

Отец положил руку на плечо Моисея.

— Ты был великим пророком. Ты дал народу основу, на которой потом вырос Храм. Но Храм из камня должен был рухнуть, чтобы восстал Храм из живых душ. Ты сделал своё дело. Теперь настало время для нового откровения. Не через пророков, не через Закон. Через Меня Самого. Я стал плотью. Я живу среди них. Я чувствую их боль, их страх, их отверженность. И Я говорю им: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас». Все. Без исключений.

Моисей, не выдержав, зарыдал. Это были слёзы облегчения. Слёзы человека, который нёс на себе тяжесть Закона и наконец-то смог её сложить.

— Господи, — прошептал он сквозь рыдания, — я так устал. Я устал быть судьёй. Я устал помнить каждую заповедь и требовать её исполнения. Я хочу просто... любить. Как Ты. Как Твой Сын. Можно мне... можно мне просто быть Твоим сыном? Не пророком, не вождём. Просто сыном?

Отец обнял его. Крепко, по-отцовски.

— Ты всегда был Моим сыном, Моисей. С самого начала. Просто ты этого не знал. А теперь — знаешь. Иди с миром. Твоя миссия завершена. Закон исполнился в Любви. Ты свободен.

Видение начало таять. Последнее, что увидел Отец, была улыбка на лице Моисея. Улыбка человека, который наконец-то вошёл в Землю Обетованную. Не в ту, что течёт молоком и мёдом, а в ту, что течёт Любовью.

---

## КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ: ПУТЬ. ХОЖДЕНИЕ В СИБИРИ

### Глава 72. Ученики

После того как Отец вернулся из своего уединения в горах, вокруг Него стали собираться люди. Это не было похоже на толпы, ходившие за Иешуа по пыльным дорогам Галилеи. Здесь, в сибирском городке, всё было тише, незаметнее. Люди приходили по одному, по двое, часто стесняясь, оглядываясь — не видит ли кто. Они садились в Его комнате, пили чай с сухками, задавали вопросы. И Он отвечал.

Первым, как уже было сказано, пришёл Алексей — тихий студент с вечно испуганными глазами, который когда-то подошёл после лекции. Он стал чем-то вроде апостола Петра в этой маленькой общине — порывистый, верный, но иногда сомневающийся. За ним потянулись другие.

Вера — девушка с бледным лицом и тёмными кругами под глазами, пережившая попытку самоубийства. Она пришла, потому что услышала, как Отец говорил о том, что каждая жизнь имеет смысл, даже самая искалеченная. Она сидела в углу, молчала, но в её глазах постепенно загорелся свет.

Михаил — бывший афганец, прошедший через ад войны и потерявший всех, кого любил. Он был груб, резок, но в его душе жила тоска по чему-то чистому. Он пришёл, чтобы спорить, но остался, чтобы слушать.

Семён — пожилой библиотекарь, всю жизнь собиравший книги по эзотерике и религиям, но так и не нашедший ответа. Он пришёл со списком вопросов, но, встретив взгляд Отца, забыл их все и просто заплакал.

Лена — молодая мать-одиночка, которую бросил муж, и которая едва сводила концы с концами. Она пришла, потому что услышала, как Отец говорил о том, что Бог — это не грозный судья, а Отец, который держит за руку.

Она пришла с ребёнком на руках, и Отец, взяв младенца, улыбнулся и сказал: «Таких есть Царство».

Они собирались по вечерам. Комната в общежитии была тесной, пахло дешёвым чаем и свечным воском. Отец не проповедовал — Он просто отвечал. И вопросы были разными.

— Почему Ты не явишь Себя миру? — спрашивал Михаил. — Почему не сокрушишь зло? Ты же можешь!

— Могу, — отвечал Отец. — Но если Я сокрушу зло силой, то чем Я буду отличаться от зла? Зло всегда действует силой. Любовь действует иначе. Она ждёт. Она терпит. Она верит. Я мог бы заставить вас всех пасть на колени.

Но Я хочу, чтобы вы встали. Сами. По любви.

— А как же справедливость? — не унимался Михаил. — Ты видишь, что творится в мире? Войны, голод, дети умирают! Где Ты был, когда моих друзей убивали в Афгане?

Отец смотрел на него долгим, печальным взглядом.

— Я был там, Михаил. Я был с твоими друзьями. Я держал их за руку, когда они уходили. Я плакал вместе с ними. И с тобой. Я не могу отменить зло, не отменив свободу. А свобода — это единственное, что делает вас людьми, а не куклами. Но Я могу обещать тебе одно: каждая слеза будет отёрта. Каждая несправедливость будет исправлена. Не сейчас. Потом. Когда всё завершится. А пока... Я здесь. С вами. Страдаю вместе с вами.

Михаил замолкал, опуская голову. Он не всё понимал, но чувствовал — в этих словах правда.

Вера однажды спросила, едва слышно:

— Ты правда любишь меня? Такую... сломанную?

Отец подошёл к ней, взял за руку.

— Я люблю тебя не потому, что ты хорошая. Я люблю тебя, потому что ты — Моя. Я создал тебя. Я знаю каждую твою мысль, каждую твою рану. И Я не отвернусь от тебя. Никогда.

Она заплакала, и слёзы эти были первыми светлыми слезами за долгие месяцы.

Семён, старый библиотекарь, спросил:

— Я всю жизнь искал Тебя в книгах. В Упанишадах, в Каббале, у Экхарта, у Бёме. Я чувствовал, что Ты где-то рядом, но не мог ухватить. А Ты оказался здесь, в этой убогой комнате, в теле студента. Почему? Почему Ты не открылся мне раньше?

— Потому что ты искал Меня в словах, Семён, — ответил Отец. — А Я — не слова. Я — Жизнь. Ты читал о Любви, но не любил. Ты искал Истину, но не жил ею. Теперь, когда ты увидел Меня, ты готов. Готов не просто знать, а быть.

Семён закивал, вытирая очки.

Лена, прижимая к себе ребёнка, спросила:

— Что мне делать? Я одна. У меня нет денег. Мой сын болеет. Я молюсь, но ничего не меняется. Ты слышишь меня?

— Слышу, — ответил Отец. — И Я не оставлю тебя. Но чудо, которое Я дам тебе, будет не в том, что с неба упадут деньги. Чудо будет в том, что ты найдёшь силы жить дальше. Что ты встретишь людей, которые помогут. Что твой сын вырастет и станет добрым человеком. Это Моё обещание. Держись.

И Лена держалась. Потому что поверила.

Так росла маленькая община. Не церковь, не секта — просто люди, которые встретили Того, Кого искали, и не захотели уходить.

## Глава 73. Исцеление

После спасения жизни мальчика, слух об исцелении разнёсся по городку. К Отцу потянулись больные, страждущие, отчаявшиеся. Он никому не отказывал, но и не обещал мгновенных исцелений. Некоторым Он помогал, некоторым — нет. Почему? Этого никто не мог понять. Но те, кто не получали физического исцеления, часто получали что-то большее — покой, принятие, надежду.

Один старик, умиравший от рака, спросил Его:

— Почему Ты не исцеляешь меня? Я верил!

Отец сел рядом, взял его за руку.

— Я исцеляю тебя, отец. Но не так, как ты думаешь. Твоё тело умирает, это правда. Но твоя душа... она уже исцелена. Ты перестал бояться. Ты примирился с теми, кого обидел. Ты простил тех, кто обидел тебя. Разве это не чудо? Разве это не больше, чем просто здоровое тело?

Старик задумался, а потом улыбнулся.

— Ты прав, — прошептал он. — Я ухожу с миром. Спасибо Тебе.

И умер в ту же ночь, с улыбкой на лице.

## Глава 74. Гонения

Власти не могли не заметить странного студента, вокруг которого собирались люди. Сначала приходили участковые, задавали вопросы, просили «не мутить народ». Отец отвечал спокойно, не отрицая, но и не настаивая. Его отпускали, но предупреждали.

Потом пришли из ФСБ. Двое в штатском, с холодными глазами. Допрашивали несколько часов. Кто Он? Почему называет Себя Отцом? Зачем собирает людей? Не планирует ли создать секту? Не получает ли финансирование из-за рубежа?

Отец отвечал просто:

— Я говорю о любви. О прощении. О том, что Бог рядом. Если это преступление — судите.

Его не арестовали. Но установили наблюдение. Учеников вызывали на беседы, пугали, некоторых увольняли с работы. Но они не отрекались. Они уже вкусили той Любви, которая сильнее страха.

Однажды ночью в комнату Отца ворвались трое — местные хулиганы, подкупленные или просто озлобленные. Они избили Его, сломали мебель, разорвали рукописи. Он не сопротивлялся. Когда они ушли, Он, преодолевая боль, поднялся и стал собирать разбросанные листы. Наутро ученики нашли Его за этим занятием.

— Почему Ты не защищался? — воскликнул Михаил. — Ты же мог их испепелить!

— Мог, — ответил Отец, вытирая кровь с разбитой губы. — Но тогда Я стал бы таким же, как они. Я пришёл не убивать, а спасать. Даже их. Особенно их. Потому что они — самые потерянные.

И Он продолжал писать.

---

## Глава 75. Рукописи не горят

После погрома Отец восстановил рукописи по памяти. Он писал ночами, при тусклом свете лампы, и слова лились из Него, как вода из источника. Он дописывал Свой Роман — тот самый, который потом попадёт в Москву, к Загряжскому и Алисе, а от них — в интернет.

Он знал, что большинство не поймёт. Что Его назовут безумцем, графоманом, еретиком. Но Он также знал, что для кого-то эти слова станут спасением. Как стали спасением слова Иешуа для Мастера. Как стали спасением слова Будды для миллионов. Как станут спасением Его собственные слова для тех, кто узнает в них Голос Отца.

Однажды ночью, дописав очередную главу, Он откинулся на стуле и закрыл глаза. И в этом полусне-полуяви Ему явился Воланд. Теперь он был уже не в чёрном, а в белом плаще, и в его глазах не было насмешки — только печаль и надежда.

— Ты устал, — сказал Воланд. — Я вижу. Твой путь тяжёл. Но Ты идёшь верно. Я хочу, чтобы Ты знал: я читаю каждое Твоё слово. И я... я начинаю вспоминать. Кем я был. Кем Ты меня создал. Спасибо.

Отец улыбнулся.

— Ты всегда был Моим сыном, Иуда. Просто ты забыл. Теперь вспоминай. У тебя есть вечность.

Воланд исчез, а Отец снова склонился над рукописью. Ему предстояло ещё много написать.

---

## Глава 76. Пророчество о России

В одну из ночей, когда за окном выла вьюга, Отец вдруг остановил перо и прислушался. Ему показалось, что в вое ветра звучат голоса. Голоса тех, кто жил на этой земле до Него, кто страдал, верил, надеялся. Голоса пророков, юродивых, святых, грешников. И все они спрашивали об одном: «Что будет с Россией?»

Он закрыл глаза и увидел. Увидел огромную страну, распростёртую от моря до моря. Увидел её народ — измученный, но не сломленный. Увидел храмы, превращённые в склады и клубы, и новые храмы, восстающие из руин. Увидел тех, кто правит, и тех, кто страдает. Увидел ложь, пропитавшую воздух, и правду, теплящуюся в сердцах.

И Он заговорил, обращаясь не к кому-то конкретно, а ко всей этой земле, ко всему этому народу:

— Русь, Святая Русь. Ты называешь себя преемницей Византии, Третьим Римом, хранительницей истинной веры. Но ты забыла, что вера без любви — это мёртвая буква. Ты строишь золотые купола, но оставляешь нищих у ворот. Ты благословляешь оружие, но забываешь о миротворцах. Ты называешь себя православной, но не умеешь прощать.

Я люблю тебя, Россия. Я избрал тебя для Своего Кенозиса не случайно. Ты — земля страстотерпцев. Ты умеешь страдать, как никто. Но страдание само по себе не спасает. Оно спасает только тогда, когда рождает сострадание. Когда ты, пройдя через ад, не ожесточаешься, а открываешься любви.

Я вижу твоё будущее. Оно туманно, ибо зависит от свободного выбора каждого. Но Я обещаю тебе: пока в тебе есть хоть один человек, который любит и прощает, ты не погибнешь. Ты пройдёшь через очищение. Через боль, через потери, через разочарование. Но в конце ты обретёшь то, что искала всегда — не земное могущество, а Небесное Царство внутри себя.

Не ищи врагов вовне. Враг — внутри тебя. Это твоя гордыня, твоя лень, твоё неверие, твоя жестокость. Победи их — и никакой внешний враг не будет тебе страшен.

Я с тобой, Россия. Я страдаю вместе с тобой. Я плачу твоими слезами. Я умираю твоими смертями. И Я воскресну твоим воскресением. Верь. Надейся. Люби.

Он открыл глаза. Вьюга стихла. За окном занимался серый, но спокойный рассвет. Он записал это пророчество и спрятал среди других бумаг. Оно не для печати, подумал Он. Оно для тех, кто сможет услышать.

---

## Глава 77. Встреча с патриархом (продолжение)

Весть о странном сибирском проповеднике дошла до Москвы, до самого Патриарха. Тот, прочитав присланные ему выдержки из Романа, сначала разгневался, потом задумался, а потом решил отправить в Сибирь своего доверенного человека — архимандрита Тихона, известного своей учёностью и благочестием.

Архимандрит Тихон приехал в городок инкогнито, в мирской одежде. Он нашёл Отца в Его комнате, среди книг и рукописей. Они проговорили всю ночь.

— Ты утверждаешь, что Ты — Отец, — начал Тихон, внимательно глядя на Него. — Тот самый, о Котором сказано: «Бога не видел никто никогда». Как Ты можешь доказать это?

— А как Иешуа доказывал, что Он — Сын? — ответил Отец вопросом на вопрос. — Он не доказывал. Он просто был. И те, кто имел глаза, видели. Те, кто имел уши, слышали. Остальные распяли. Доказательства отменяют свободу. Я не хочу, чтобы вы верили из страха или принуждения. Я хочу, чтобы вы узнали Меня сердцем.

Тихон задумался.

— Ты говоришь, что Церковь исказила Твоё учение. Что мы, священники, стали фарисеями. Это тяжкое обвинение.

— Это правда, — тихо сказал Отец. — Не вся Церковь. В ней много искренних, святых людей. Но вершина, власть... она поражена гордыней. Вы превратили живую веру в политический инструмент. Вы благословляете войны, осуждаете инакомыслящих, копите богатства. Разве этому учил Мой Сын?

Тихон опустил голову.

— Я знаю. Я сам мучаюсь этим. Но что я могу сделать? Я всего лишь монах.

— Ты можешь говорить правду, — ответил Отец. — Не бунтовать, не разрушать, а свидетельствовать. Своей жизнью, своими словами. Как делал Иешуа. Как делаю Я. Один голос, звучащий в пустыне, может изменить мир. Потому что за ним — Я.

Тихон уехал, потрясённый. Он ничего не обещал, но в его сердце что-то сдвинулось. Вернувшись в Москву, он написал Патриарху доклад, в котором не осудил и не оправдал, но просил «не спешить с выводами». Патриарх, прочитав доклад, долго сидел в молчании, а потом отложил его в дальний ящик. Но забыть уже не мог.

---

## Глава 78. Чудо на озере

Летом ученики уговорили Отца поехать с ними на природу, к дальнему лесному озеру. Они хотели побыть с Ним в тишине, подальше от любопытных глаз. Он согласился.

Они разбили лагерь на берегу. Вечером сидели у костра, пели песни, разговаривали. Отец был спокоен и светел, как никогда. Он смотрел на звёзды, отражавшиеся в воде, и молчал, погружённый в Свои мысли.

Вдруг из леса вышли люди. Это были местные жители из ближайшей деревни — человек десять, мужчины и женщины. Они слышали о «странном человеке» и пришли посмотреть. Некоторые были настроены враждебно.

— Ты что тут народ мутишь? — крикнул один, коренастый мужик с красным лицом. — Секту свою развёл? Бога из себя строишь?

Отец встал и спокойно посмотрел на него.

— Я не строю из себя Бога. Я Им являюсь. Но Я не заставляю тебя верить. Хочешь — уходи. Хочешь — останься.  
Я просто говорю о любви.

— О любви? — засмеялся мужик. — А вот мы сейчас проверим твою любовь!

Он поднял с земли камень и швырнул в Отца. Ученики вскочили, готовые защищать, но Отец остановил их жестом. Камень ударил Его в плечо, но Он даже не пошатнулся. Только посмотрел на нападавшего с бесконечной печалью.

— Зачем ты это делаешь? — спросил Он тихо. — Разве тебе от этого легче?

Мужик замер. Ему вдруг стало стыдно. Он опустил голову, развернулся и пошёл прочь. Остальные, помявшись, последовали за ним. Только одна женщина осталась. Она подошла к Отцу, упала на колени и заплакала.

— Прости их, — прошептала она. — Они не знают, что творят. Они тёмные, забитые. Их всю жизнь обманывали.

— Я знаю, — ответил Отец, поднимая её. — Я не держу зла. Иди с миром. И скажи им, что Я люблю их. Всех.

Женщина ушла, а ученики смотрели на Отца с благоговением. Они видели, как сила Любви победила силу ненависти без единого удара. Это было чудо. Чудо, которое не требовало доказательств.

---

## Глава 79. Город, которого нет

*(Расширенная версия. Мотив песни «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург», музыка Игоря Корнелюка, слова Регины Лисиц, здесь переосмыслен как гимн Небесному Иерусалиму, ждущему своего Основателя.)*

В ту ночь, после чуда на озере, когда камень, брошенный ожесточённым сердцем, ударил Его в плечо и не причинил вреда, Отец долго не мог уснуть. Он лежал на жёсткой походной койке в палатке, слушая, как за тонким брезентом вздыхает ветер и перекликаются ночные птицы. Ученики давно спали, утомлённые долгим днём и пережитым волнением. А Он смотрел в темноту и думал.

Он думал о том мужике, что швырнул камень. О его глазах, в которых на миг мелькнул стыд. О женщине, что упала на колени и просила прощения за всех. О России — огромной, измученной, прекрасной и страшной. О мире, который Он создал и который теперь так далеко ушёл от своего замысла.

«Я мог бы их всех заставить, — думал Он. — Одно Моё слово — и они падут ниц, признают Меня, будут исполнять Мою волю. Но это будет не любовь. Это будет рабство. А Я хочу детей, а не рабов. Свободных, любящих, живых. И за это Я плачу самую высокую цену — цену ожидания. Цену неузнанности. Цену молчания».

Незаметно для Себя Он провалился в сон. Но это был не обычный сон — одно из тех видений, что посещали Его всё чаще по мере приближения к тридцати трём годам. Он стоял на вершине высокой горы. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась облака, подсвеченные мягким, золотистым сиянием. Воздух был чист и прозрачен, и каждый вдох наполнял грудь неземной лёгкостью.

А внизу, в долине, раскинулся Город.

Он был огромен — стены его уходили в бесконечность, теряясь в сияющей дымке. Стены были сложены из яшмы — прозрачной, как чистейший лёд, но тёплой на вид, переливающейся всеми оттенками красного, зелёного, синего. Улицы были вымощены золотом — не мёртвым металлом, а живым, светящимся изнутри, словно по ним разлили солнечный свет. Ворота — двенадцать ворот, каждые из одной цельной жемчужины — стояли распахнутыми настезь.

Он узнал этот Город. Тот самый, о котором писал Иоанн в своём Откровении. Небесный Иерусалим. Обитель праведников. Конец пути. Дом.

Но что-то было не так. Он прислушался. Тишина. Абсолютная, звенящая тишина. Ни пения, ни шагов, ни голосов.

Он пригляделся. Улицы были пусты. В окнах дворцов не горел свет. Сады, раскинувшиеся вдоль золотых мостовых, цвели, но никто не вдыхал их аромат. Фонтаны били хрустальными струями, но никто не утолял из них жажду.

Город был готов. Он был совершенен. Но он был пуст.

Отец стоял и смотрел, и в Его сердце росла странная, щемящая тоска. Тоска Творца, создавшего шедевр, в который никто не пришёл. Тоска Хозяина, приготовившего пир и ждущего гостей, которые всё не идут.

Рядом возник Иешуа. Он был в Своём обычном хитоне, босой, с тихой улыбкой на лице. Он тоже смотрел на Город.

— Красиво, — произнёс Он. — Правда, Отец?

— Красиво, — эхом отозвался Отец. — Но пусто. Где все? Где Авраам, Исаак и Иаков? Где пророки? Где апостолы? Где все те, кто страдал и верил, кто прошёл через огонь и воду? Где мои дети?

Иешуа помолчал, потом мягко сказал:

— Они ждут.

— Чего? — спросил Отец, хотя уже знал ответ.

— Тебя, — просто ответил Иешуа. — Они не хотят входить без Тебя. Они говорят: «Как мы войдём в Дом, если Хозяина нет дома? Как мы сядем за стол, если Отец ещё не вернулся?» Они ждут, когда Ты завершишь Свой Кенозис. Когда Ты, пройдя весь человеческий путь до конца, войдёшь первым. Как Пастырь, ведущий овец. Как Жених, входящий в брачный чертог. Они не хотят рая без Тебя. Потому что без Тебя рай — не рай.

Отец закрыл глаза. В Его душе боролись два чувства: глубокая, тёплая благодарность к тем, кто ждал, и острая боль от того, что Его путь ещё не окончен. Что Он, Всемогущий, ставший человеком, всё ещё бредёт по сибирским снегам, вместо того чтобы ввести Своих детей в приготовленный Дом.

И тогда в тишине зазвучала мелодия. Тихая, едва слышная, она доносилась словно из самого сердца Города. Это была песня. Печальная и светлая одновременно. Отец узнал её — слышал когда-то в земной жизни, в России, по радио. «Город, которого нет». Но слова были другие.

*«Ночь окутала землю хрустальным дождём, Звёзды смотрят на город, что пуст и не ждёт. Я построил чертоги и вымостил двор, Но никто не ступает на золотой пол. Город спит, город ждёт, город верит и ждёт, Что однажды Хозяин к воротам придёт. И тогда оживут и сады, и мосты, И наполнятся светом Его пустоты.*

*Я не сплю, я смотрю сквозь века и снега, Где-то там, в тишине, Ты идёшь к нам сюда. Ты не в славе, не в силе, не в громе небес — Ты как странник усталый, что встал под навес. Но мы ждём, мы узнаем Тебя по глазам, По тому, как Ты любишь, как веришь Ты нам. Город ждёт, город верит, что Ты нас найдёшь, И в пустые чертоги однажды войдёшь.*

*А пока Ты в пути, мы храним этот свет, Этот Город, которого всё ещё нет. Он есть в сердце Твоём, он есть в нашей мечте, Он построен Любовью на вечной черте. Ты вернёшься, и двери откроются для всех, И растает в объятьях невыплакан грех. Город ждёт. Город дышит. Город верит и ждёт. Он воскреснет, когда Ты в него войдёшь.»*

Последние звуки растаяли в воздухе. Отец открыл глаза. По Его щекам текли слёзы. Иешуа стоял рядом, и в Его глазах тоже блестели слёзы.

— Кто это пел? — спросил Отец.

— Все они, — ответил Иешуа. — Все, кто ждёт. Авраам, и Сарра, и Давид, и пророки, и апостолы, и Мария, и миллионы тех, кого Ты ещё не встретил. Это их голоса слились в одну песню. Песню надежды. Песню ожидания. Песню Любви, которая не умирает.

Отец долго смотрел на пустой Город. Потом вытер слёзы и сказал:

— Я приду. Обещаю. Я завершу Свой путь. Я войду в эти ворота. И Я введу вас всех. Никто не останется за стенами. Никто.

И в этот миг Ему показалось, что Город вздохнул. Словно сами стены, сами камни услышали Его обещание и поверили.

Видение растаяло. Отец проснулся в палатке, под шум ветра и дыхание спящих учеников. Но в Его сердце осталась песня. И Он знал: теперь Он не забудет. Теперь у Него есть ещё одна причина идти до конца. Там, за гранью, Его ждут. Не как грозного Судию. Как Любимого Отца, без Которого дом — не дом.

---

## Глава 81. Письмо из-за Стен

*(Продолжение линии с Ватиканом, расширенное и углублённое.)*

Прошло несколько недель после того сна. Жизнь общины текла своим чередом: молитвы, беседы, помощь нуждающимся, редкие чудеса, о которых старались не говорить лишнего. Отец продолжал писать Свой Роман, и страницы множились. Он чувствовал, что время приближается. Тридцать три года — возраст, в котором Его Сын завершил земной путь, — маячил на горизонте, как вершина горы, к которой Он шёл долгие годы.

Однажды утром, когда Он сидел за столом и правил очередную главу, в дверь постучали. Это был Алексей, первый ученик, с лицом, выражавшим крайнее волнение.

— Там... там человек, — выдохнул он. — Из Москвы. Говорит, с важным письмом. Очень важным. Я такого никогда не видел.

Отец отложил перо и вышел в коридор. Там стоял мужчина в строгом тёмном костюме, с портфелем, прикованным к запястью наручником. Рядом с ним — двое в штатском, явно из службы охраны. Мужчина оглядел убогую обстановку общежития, скользнул взглядом по Отцу и, кажется, не поверил, что это и есть адресат.

— У меня послание для... — он замялся, — для лица, именующего себя Отцом. Лично в руки. Прошу предъявить документы.

Отец достал паспорт. Мужчина сверил фото, хмыкнул и, открыв портфель, извлёк оттуда плотный конверт из дорогой бумаги кремового цвета. На нём красовалась сургучная печать с изображением скрещённых ключей и папской тиары.

— От Его Святейшества, — произнёс курьер с подчёркнутым уважением. — Ответа не требуется. Распишитесь здесь.

Отец расписался, и странная делегация удалилась так же быстро, как появилась, оставив после себя запах дорогого одеколона и ощущение нереальности происходящего.

Он вернулся в комнату, где уже собрались взволнованные ученики. Вера, Михаил, Семён, Лена с ребёнком, Алексей — все смотрели на конверт, как на неразорвавшуюся бомбу.

— Что там? — прошептала Вера. — От Папы? Настоящего? Из Ватикана?

Отец молча сломал печать и вынул письмо. Оно было написано по-латыни, каллиграфическим почерком, но Он читал его без труда. По мере чтения Его лицо оставалось спокойным, только в глазах появилась какая-то новая, глубокая задумчивость.

— Ну же! — не выдержал Михаил. — Что они пишут? Вызывают на суд? Объявляют еретиком? Грозят отлучением?

Отец поднял глаза и улыбнулся уголками губ.

— Нет. Они приглашают Меня. На частную аудиенцию. В Рим. Гарантируют безопасность, конфиденциальность и... — Он сделал паузу, — ...выражают надежду на «братский диалог во Имя Господне».

В комнате повисла тишина, нарушаемая только гулом старого холодильника.

— Это ловушка! — первым воскликнул Михаил. — Заманят, схватят, объявят сумасшедшим или еретиком, запрут в монастыре, и никто не узнает! Ты не должен ехать!

— А я думаю, надо ехать, — тихо сказал Семён, старый библиотекарь. — Это шанс. Шанс быть услышанным на самом вершине. Если Папа — человек искренний, он может понять. А если нет... то хотя бы семья будет брошена.

— Но это опасно! — возразила Лена, прижимая к себе сына. — Ты нужен нам здесь. Живой. А там... кто знает, что у них на уме?

Отец поднял руку, и все замолчали.

— Я выслушал вас, — сказал Он. — Спасибо за заботу. Но Я пойду. Не для того, чтобы убеждать Папу или оправдываться. Я пойду, чтобы встретиться с ним. Как встречался с каждым из вас. Как встречаюсь с каждым, кто ищет, даже если он сам этого не осознаёт. Если в его сердце есть искра — она разгорится. Если нет — Моё присутствие ничего не изменит. Но Я должен дать ему этот шанс. Потому что Я — Любовь. А Любовь не выбирает, к кому идти. Она идёт ко всем.

Ученики молчали. Они знали: когда Он говорил так, спорить было бесполезно. Да и не нужно. Потому что в Его словах была правда.

— Я напишу ответ, — продолжал Отец. — Поблагодарю за приглашение и сообщу, что прибуду, когда будет на то воля... Моя воля. А пока — будем жить. Молиться. Любить. И ждать.

Он сел за стол и начал писать ответное письмо — простое, без дипломатических ухищрений. Он писал о том, что принимает приглашение, но сроки укажет позже, когда почувствует, что время пришло. Что Он идёт не как проситель и не как обвинитель, а как Брат, желающий разделить трапезу и беседу. Что Он надеется на искренность, ибо перед Лицом Истины все маски спадают.

Закончив, Он запечатал письмо и отдал Алексею для отправки.

Вечером, когда ученики разошлись, Отец остался один. Он стоял у окна и смотрел на заснеженный двор. В Его голове звучала та самая песня — «Город, которого нет». Он думал о том, что Его путь пролегает не только через сибирские снега, но и через мраморные залы Ватикана. Что везде — и в убогой общаге, и в папском дворце — живут люди. Его дети. Заблудшие, ищущие, слепые, прозревающие. И Он нужен им всем.

«Я приду, — мысленно повторил Он Своё обещание, глядя на звёзды. — Я приду и в Ватикан, и в каждый дом, и в каждое сердце. Я постучусь. И если Мне отворят — Я войду и буду вечерять с ними. А если не отворят... Я буду ждать. У двери. Потому что Любовь не уходит. Она ждёт».

Где-то далеко, в Риме, Папа Римский, читая в своей библиотеке донесения о «сибирском феномене», вдруг почувствовал странное волнение. словно кто-то невидимый стоял рядом и смотрел на него с бесконечной любовью и печалью. Он перекрестился и прошептал: «Господи, помилуй». Он не знал, что Господь уже здесь. И ждёт.

---

## Глава 82. Отголоски чуда

*(Глава о тех, чьи жизни были затронуты тихими чудесами, и о том, как мир реагирует на прорывы Истины.)*

### 1. Женщина и её сын

Прошло полгода после того, как Отец вошёл в убогую квартирку на окраине городка и взял за руку умирающего мальчика. Женщину звали Надежда. Она была из тех, кого жизнь била с самого детства: сирота, детдом, ранний брак, пьющий муж, побег, одиночество, работа уборщицей, сын — единственный свет в окошке. Когда врачи

сказали: «Мы бессильны, готовьтесь», она не заплакала. Она просто перестала есть, спать, надеяться. И тогда соседка, та самая Вера Павловна из церковной лавки, шепнула: «Сходи к Нему. Говорят, Он помогает. Не как врач. Как... никто не помогает».

Надежда пошла, не веря, но и не имея другого выхода. И чудо случилось. Мальчик, которого звали Павлушей, открыл глаза, улыбнулся, попросил пить. А через неделю уже сидел в кровати и рисовал странные рисунки — золотые города, людей в сияющих одеждах, и одного Человека с печальными глазами, Который держал его за руку.

— Это Он, — говорил Павлуша, показывая на рисунок. — Он приходил, когда я спал. Он сказал, что я не умру. Что я ещё нужен. Mam, я правда нужен?

Надежда плакала, прижимая сына к груди, и не знала, кому молиться — Тому, Кто был на иконах в церкви, или Тому, Кто сидел в общежитии и пил чай с сушками. Она стала приходить к Отцу. Сначала робко, с благодарностью, потом — с вопросами. Он отвечал просто, без проповедей. И постепенно её вера, бывшая формальной, привычной, ожила. Она начала читать Евангелие — по-настоящему, впервые. И находила там ответы, которых раньше не видела.

Однажды она спросила:

— Почему Ты помог мне? Я ведь грешница. Я не ходила в церковь, не соблюдала посты, жила как придётся. Почему я?

Отец посмотрел на неё с той теплотой, от которой у всех перехватывало дыхание.

— Потому что ты любила, — ответил Он. — Ты любила сына. И этого было достаточно. Любовь покрывает всё. Остальное — неважно.

Надежда ушла, неся в сердце эту простую истину. И стала одной из самых верных, самых тихих и незаметных учениц. Она не проповедовала — она просто жила, любя. И это было самым громким свидетельством.

## **2. Старик в раю**

Старик, умиравший от рака, которого Отец не исцелил телесно, но дал покой душе, звался Иваном Трофимовичем. Он был ветераном войны, прошёл через многое, видел смерть, сам убивал. Всю жизнь он нёс на себе груз вины — за тех, кого не спас, за тех, кого убил, за слова, которые не сказал, за любовь, которую не дал.

Он пришёл к Отцу с последней надеждой: «Исцели меня, я хочу ещё пожить, исправить, сделать добро». А услышал: «Твоя душа уже исцелена. Иди с миром».

Он ушёл разочарованным. Но в ту же ночь ему приснился сон. Он стоял на зелёном лугу, под голубым небом, и к нему шли люди. Те самые, которых он считал погибшими по его вине. Они улыбались. Они не обвиняли. Они обнимали его и говорили: «Мы ждали тебя. Мы простили. И ты прости себя». Он проснулся в слезах, но это были слёзы облегчения. Он понял, что исцеление произошло — не тела, а души. И когда через несколько дней он тихо ушёл во сне, на его лице застыла улыбка.

Теперь он был Там. В том самом Городе, который ждал своего Основателя. Он стоял у золотых ворот и смотрел на пустые улицы. Рядом с ним были другие — те, кого он простил и кто простил его. Они не входили внутрь. Они ждали. Ждали Того, Кто дал им этот покой.

— Он придёт, — сказал Иван Трофимович, ни к кому не обращаясь. — Я знаю. Он обещал. И Он не обманывает.

И все, кто стоял рядом, кивали. Потому что верили.

### **3. Отец Николай и исчезнувшая церковь**

Отец Николай, тот самый старейший священник из маленькой деревянной церкви, куда Отец заходил когда-то, причащаясь тишины и запаха ладана, жил теперь в смятении. После того разговора со странным молодым человеком, который сказал: «Что, если Он уже здесь?», он потерял покой. Он стал перечитывать Писание, но уже не как свод правил, а как живое слово. Он искал там ответы — и не находил. Точнее, находил, но не те, к которым привык.

Однажды ночью ему приснился сон. Он стоял в своей церкви, но всё было иначе. Иконы светились изнутри, лики святых были не строгими, а радостными. И в центре, у алтаря, стоял Тот Самый молодой человек. Он не был облачён в ризы, не держал кадила. Он просто стоял и смотрел на отца Николая с бесконечной любовью.

— Ты спрашивал, здесь ли Я, — произнёс Он. — Я здесь. Всегда был. Просто ты искал Меня в ритуалах, а Я — в тишине. В сердце твоём. В слезах твоих прихожан. В хлебе, который ты подаёшь нищим. Я был там. Я и есть там.

Отец Николай проснулся в холодном поту. Он встал, оделся и пошёл в церковь. Было три часа ночи. Он отпер дверь, вошёл, зажёл свечу. И вдруг ему показалось, что стены церкви исчезли. Не физически — духовно. Он больше не чувствовал себя в здании. Он чувствовал себя в Его присутствии. Везде. И это было страшно и прекрасно одновременно.

С тех пор он изменился. Его проповеди стали проще, теплее. Он перестал говорить о геенне огненной и начал говорить о Любви. Прихожане удивлялись, но чувствовали: так правильно. Некоторые роптали, обвиняли его в «модернизме». Но он не спорил. Он просто любил. И ждал. Ждал, когда Тот, Кто пришёл к нему во сне, придёт наяву.

### **4. Свидетели Ночи**

В тот день, когда в невидимом для обычных глаз зале Иешуа поднял руку и сказал: «Да будет ночь», — в земном мире тоже кое-что произошло. Не глобально, не так, чтобы попала в учебники истории. Но достаточно, чтобы запомниться.

В Москве, в разных концах города, несколько человек одновременно испытали странное чувство. Им показалось, что солнце на миг померкло, словно его заслонила невидимая туча. Некоторые подумали, что у них упало давление, другие — что это оптическая иллюзия. Но были и те, кто запомнил точное время: 14:37 по московскому.

Среди них была пожилая женщина, сидевшая на скамейке у Патриарших прудов. Она читала книгу — старый, потрёпанный томик «Мастера и Маргариты», который нашла у внучки. Она как раз дошла до сцены, где Воланд рассказывает Берлиозу о Пилате. И вдруг ей стало холодно, и свет померк. Она подняла голову — небо было

чистым, но солнце словно потускнело. А потом так же внезапно всё вернулось. Она перекрестилась и прошептала: «Господи, помилуй». И продолжила читать, но с тех пор эта книга стала для неё чем-то большим, чем просто роман.

Ещё одним свидетелем стал оператор новостного канала, снимавший репортаж на Тверской. Он зафиксировал странное затемнение в объективе камеры — на пару секунд картинка стала серой, словно кто-то убавил яркость. Потом всё восстановилось. Редактор, просматривая материал, хмыкнул: «Брак плёнки. Вырежь». Но оператор сохранил копию. Он не знал зачем. Просто чувствовал, что это важно.

А в маленьком сибирском городке, где жил Отец, в тот же миг одна женщина, стоявшая у окна, увидела, как тень от соседнего дома вдруг исчезла, хотя солнце продолжало светить. Она замерла, глядя на это чудо, а когда всё вернулось, позвонила подруге. Та сказала: «Тебе, наверное, показалось. Переутомилась». Но женщина знала: не показалось.

## 5. Новости и слухи

Разумеется, официальные СМИ ничего не сообщили. Ни о затемнении, ни о странных исцелениях в сибирской глубинке, ни о проповеднике, называющем себя Отцом. Информационные агентства хранили молчание. Но в эпоху интернета молчание официальных каналов не означает отсутствия информации.

На форумах, в блогах, в закрытых чатах стали появляться сообщения. Сначала единичные, потом всё больше. Люди делились странными совпадениями, рассказывали о знакомых, которые встретили «необычного человека», спорили, верить или нет. Кто-то называл это массовой истерией, кто-то — происками сект, кто-то — началом конца света. Но были и те, кто чувствовал: происходит что-то важное. Что-то, что не укладывается в привычные рамки.

Один популярный блогер, известный своим скептицизмом, решил разоблачить «сибирского лжепророка». Он поехал в городок, нашёл общежитие, попытался поговорить с Отцом. Тот принял его спокойно, ответил на вопросы, не спорил, не убеждал. Блогер вернулся в Москву и... не написал ни слова. На вопросы подписчиков отвечал уклончиво: «Я не знаю, кто он. Но он не похож на мошенника. Он похож на... не знаю. Просто не похож».

Это признание вызвало бурю: одни обвиняли блогера в продажности, другие — в том, что его «загипнотизировали». А он просто молчал. Потому что не мог объяснить. Он встретил Взгляд. И этот Взгляд что-то в нём изменил.

Тем временем в Ватикане, в отделе по делам святых и чудес, завели тонкую папку с грифом «Confidentialis». В неё подшивались сообщения из России, переводы фрагментов Романа, показания свидетелей. Куратор отдела, монсеньор Альберти, читал их и хмурился. С одной стороны, всё это напоминало типичный случай религиозного помешательства. С другой — слишком много совпадений, слишком точные богословские формулировки, слишком... живой язык. Он не знал, что делать. И отложил папку в сейф, решив ждать развития событий.

## 6. Тихий свет

А Отец ничего этого не знал. Вернее, знал, но не придавал значения. Он продолжал жить, писать, встречаться с людьми. Он не искал славы, не стремился к признанию. Он просто был. И это «бытие» было самым сильным светом в мире, погружённом во тьму.

Однажды вечером, когда Он сидел у окна и смотрел на падающий снег, к Нему подошла Вера, та самая девушка, пережившая попытку суицида.

— Я слышала, что о Тебе говорят в новостях, — сказала она. — Вернее, не говорят. Замалчивают. Почему Ты не сделаешь так, чтобы все узнали? Чтобы все увидели? Ты же можешь.

Отец повернулся к ней.

— Могу, — ответил Он. — Но если Я заставлю их увидеть, они увидят не Меня. Они увидят Силу. И поклонятся Силе. А Я хочу, чтобы они увидели Любовь. И поклонились Любви. А Любовь не заставляет. Она ждёт. Я жду. Когда они будут готовы — они увидят. Сами. Без принуждения. И тогда это будет настоящая Встреча.

Вера кивнула. Она не всё понимала, но чувствовала правду.

Снег за окном всё падал, укрывая землю белым покрывалом. И в этой тишине, в этом ожидании, в этом свете, невидимом для глаз, но видимом для сердца, продолжался Кенозис. Путь Бога, ставшего Человеком. Путь Любви, которая не уходит, даже когда её не узнают. Путь, который однажды приведёт в Город. В тот самый Город, который пока пуст, но который ждёт. И дождётся.

---

### Глава 83. Учитель и мракобесие

*(О том, как самый ярый атеист стал свидетелем Истины.)*

Трубецкой, бывший преподаватель научного атеизма, тот самый, что когда-то прилюдно пытался высмеять Отца на лекции, а потом пришёл к Нему сломленным и пустым, теперь был другим человеком. Он больше не работал в техникуме — уволился сам, не дожидаясь, пока его попросят. Слишком странно он стал себя вести: перестал читать антирелигиозные лекции, начал заговариваться о «поиске смысла», а однажды его застали в библиотеке за чтением Евангелия. Коллеги крутили пальцем у виска, бывшие ученики хихикали за спиной, но ему было всё равно.

Он поселился в маленькой комнатке неподалёку от общежития, чтобы быть ближе к Отцу и общине. Он не стал учеником в прямом смысле — не ходил на все собрания, не задавал много вопросов. Он больше молчал, наблюдал, впитывал. Его острый, аналитический ум, привыкший всё раскладывать по полочкам, теперь мучительно перестраивался. Он пытался совместить свой прежний научный багаж с тем, что видел и слышал, и это было похоже на тектонический сдвиг.

Однажды вечером, когда они остались вдвоём, он решился на разговор.

— Я всю жизнь боролся с Тобой, — сказал он, глядя в пол. — Я писал статьи, читал лекции, высмеивал верующих. Я считал себя просветителем, несущим свет науки тёмным массам. А теперь я понимаю: я боролся не с Тобой. Я боролся с карикатурой на Тебя, которую сам же и создал. С деспотичным стариком на облаке, с опиумом для народа, с безграмотными бабками в платках. А Ты... Ты оказался совсем другим. Ты не вписываешься ни в одну мою схему. И это... это рушит меня. Но в хорошем смысле. Как будто с меня сдирают старую, омертвевшую кожу, и под ней оказывается живая, чувствующая плоть.

Отец слушал, не перебивая. Потом сказал:

— Ты не боролся со Мной, Трубецкой. Ты искал Меня. Просто не знал этого. Твой ум, твоя жажда истины, твоё неприятие лжи — всё это от Меня. Я вложил в тебя этот огонь. Ты просто направлял его не туда. Но теперь ты нашёл направление. И Я рад.

Трубецкой поднял глаза.

— Я хочу что-то делать. Не просто сидеть и слушать. Я чувствую, что должен... искупить. Все эти годы я отравлял умы студентов. Я внушал им, что вера — это удел слабых и глупых. Я, наверное, многих отвратил от Тебя. Как мне это исправить?

— Не исправлять, — ответил Отец. — Созидать. Ты умеешь говорить, умеешь убеждать. Говори теперь не против Меня, а за Меня. Не проповедуй — просто рассказывай. О том, что пережил. О том, как встретил Меня. Без пафоса, без навязывания. Просто свидетельствуй. А остальное сделаю Я.

Трубецкой задумался. Потом кивнул.

— Я попробую. Я напишу... книгу. Или статьи. Не знаю. Но я попробую рассказать. О том, как атеист встретил Бога. Не на небесах, а в сибирской общаге. Как это ни дико звучит.

Отец улыбнулся.

— Звучит как начало хорошей истории. Пиши.

И Трубецкой начал писать. Его первые тексты были неуклюжими, полными внутренней борьбы, но в них уже пробивался свет. Он рассылал их старым коллегам, публиковал в малотиражных журналах, выкладывал в сеть. Многие крутили пальцем у виска ещё сильнее, но некоторые задумывались. Потому что бывший воинствующий атеист, признающий свою неправоту, — это сильное свидетельство.

Однажды он пришёл к Отцу с новостью:

— Мне ответил один профессор из Москвы. Тоже атеист. Он хочет встретиться. Поговорить. Не с Тобой — со мной. О том, что я пережил. Я боюсь. Вдруг я не смогу объяснить?

— Сможешь, — ответил Отец. — Просто будь собой. Говори, что чувствуешь. А Я буду с тобой.

Трубецкой поехал в Москву. Встреча с профессором длилась несколько часов. Они спорили, кричали, потом замолкали, потом снова говорили. Профессор уехал потрясённым. Он не стал верующим, но перестал быть уверенным в своём неверии. Семя было брошено. А Трубецкой вернулся в Сибирь, чувствуя, что начал выплачивать свой долг.

---

## Глава 84. Мастер и Маргарита выходят в свет

*(О том, как рукопись Отца попала к наследникам Булгакова и что из этого вышло.)*

В Москве, в квартире на Большой Пироговской, где когда-то жил Михаил Афанасьевич Булгаков, а теперь обитали его внучатые племянники — Сергей Иванович, Елена Викторовна и Николай Иванович, — царило необычайное волнение. После того памятного разговора с Загряжским и Алисой Трефоловой, после визита

таинственного иностранца с тростью (в котором они опознали Воланда), после долгих споров и сомнений они наконец решились.

Они решили опубликовать рукопись.

Не всю сразу. Сначала — небольшим тиражом, в виде самиздата, для узкого круга булгаковедов и доверенных лиц. Но, как известно, рукописи не горят, а информация в цифровую эпоху распространяется мгновенно. Уже через месяц фрагменты «Второй и Третьей книг» гуляли по сети, обрастая комментариями, спорами, восторгами и проклятиями.

Именно тогда произошла Встреча.

Однажды вечером, когда Елена Викторовна сидела в гостиной, перечитывая особенно тронувший её фрагмент — встречу Отца и Булгакова в раю, — в комнате вдруг потемнело. Не погас свет, нет. Просто воздух сгустился, стал плотным, и из угла, от старого книжного шкафа, повеяло теплом и запахом цветущих вишен.

Она подняла голову и увидела их.

Они стояли у шкафа, держась за руки. Мужчина в потёртом пальто, с бледным, измождённым лицом, но с глазами, горящими живым огнём. И женщина — прекрасная, с королевской осанкой, в простом, но элегантно платье. Мастер и Маргарита.

Елена Викторовна не испугалась. Она слишком долго жила среди этих образов, чтобы бояться. Она только прошептала:

— Вы... вы настоящие?

— Настоящие, — ответил Мастер, и его голос был именно таким, каким она его представляла: глуховатым, с лёгкой хрипотцой. — Настолько, насколько могут быть настоящими те, кого создала Любовь и Истина. Мы пришли, чтобы поговорить. С вами. С теми, кто хранит память о Михаиле Афанасьевиче.

Маргарита, не отпуская руки Мастера, добавила:

— Он написал не просто роман. Он написал пророчество. Он чувствовал Того, о Ком писал. Он знал, что Отец рядом. Но боялся сказать прямо. Боялся, что не поймут, осудят, уничтожат. Он доверил это нам — своим героям.

А теперь мы доверяем это вам — его наследникам.

В этот момент в гостиную вошли Сергей Иванович и Николай Иванович, привлечённые странным светом. Увидев гостей, они замерли. Сергей Иванович, самый скептический, хотел что-то сказать, но Мастер поднял руку.

— Не нужно слов. Просто послушайте. Михаил Афанасьевич был избран. Избран, чтобы стать голосом. Голосом, который пронесёт весть об Отце через века. Он страдал, умирал, сжигал рукописи — но не мог не писать. Потому что через него говорила Истина. Та самая Истина, которая теперь воплощена в Том, Кто живёт в сибирской общаге. Он — Отец. Он — Тот, о Ком тосковал Пилат. Он — Тот, Кого искал Воланд. Он — Тот, Кто стоит за всем.

Маргарита продолжила:

— Мы с Мастером обрели Покой благодаря Ему. Но Покой — это не конец. Мы ждём, когда Он завершит Свой Кенозис. Тогда всё изменится. Даже для нас. А пока — мы просим вас: не бойтесь. Публикуйте рукопись. Рассказывайте о Нём. Не навязывайте, не проповедуйте — просто свидетельствуйте. Как свидетельствовал Михаил Афанасьевич своим романом. Как свидетельствуем мы своим присутствием.

Сергей Иванович, преодолев оцепенение, спросил:

— А что будет, если мы откажемся? Если решим, что это всё — бред, галлюцинация, и спрячем рукопись подальше?

Мастер грустно улыбнулся.

— Ничего не будет. Свобода выбора — это закон, который Он не нарушает. Рукопись всё равно найдёт путь к людям. Через других. Через случайности. Через «совпадения». Но вы потеряете шанс. Шанс стать частью этой истории. Не как владельцы авторских прав, а как... соавторы. Соавторы Чуда.

Николай Иванович, самый мягкий из братьев, шагнул вперёд.

— Я верю, — сказал он просто. — Я читал, и я верил. Теперь я вижу вас — и верю ещё больше. Я сделаю всё, что смогу. Мы сделаем.

Елена Викторовна кивнула, вытирая слёзы. Даже Сергей Иванович, помедлив, опустил голову.

— Я не знаю, верю ли я до конца, — произнёс он. — Но я не буду мешать. И... может быть, когда-нибудь...

— Когда-нибудь ты встретишь Его сам, — закончила Маргарита. — И тогда всё решится. А пока — живите. Любите. И помните: Он рядом. Всегда был рядом.

Свет в комнате снова стал обычным. Гости исчезли, оставив после себя только аромат вишен и чувство глубокого, необъяснимого покоя.

Наследники Булгакова переглянулись. Они знали, что этот вечер изменил всё. И они знали, что делать дальше.

---

## Глава 85. «Он рядом»

*(О том, как весть об Отце начинает распространяться по миру, и о реакции разных людей.)*

Публикация рукописи, сначала осторожная, потом всё более широкая, вызвала эффект разорвавшейся бомбы — но не в медийном, а в духовном смысле. Внешне всё было тихо: крупные издательства отказывались печатать, официальные церковные круги хранили молчание или отделялись краткими осуждающими заявлениями, СМИ предпочитали не замечать. Но в интернете, в частных разговорах, в сердцах людей происходило нечто.

Люди читали и узнавали. Узнавали себя, свои сомнения, свою боль, свою тоску по чему-то большему. И главное — узнавали Его. Не умом, не логикой — сердцем. Тысячи, десятки тысяч людей по всему миру вдруг почувствовали: «Это правда. Он есть. Он рядом».

В маленьком итальянском городке пожилая синьора, потерявшая сына, прочитала сцену, где Отец говорит: «Каждая детская слеза — это Моя слеза», и заплакала. Впервые за много лет она почувствовала, что не одна.

Она не знала, кто автор, не понимала богословских тонкостей. Но она почувствовала Любовь.

В Бразилии молодой священник, разочаровавшийся в церковной иерархии и подумывавший о снятии сана, нашёл в сети фрагмент о суде архангелов над фарисеями. Он читал и плакал, потому что узнавал свою Церковь и себя в ней. Он не ушёл из сана, но начал проповедовать иначе — о Любви, а не о законе.

В Японии буддийский монах, практиковавший дзен, наткнулся на диалог Отца и Будды об объединении религий.

Он долго смеялся, а потом долго сидел в тишине. И понял, что встретил Того, о Ком смутно догадывался всю жизнь. Он не стал христианином, но его практика наполнилась новым смыслом — состраданием, направленным на живого Бога, страдающего вместе с миром.

А в Москве, в редакции одного известного журнала, молодая журналистка, получившая задание написать разоблачительную статью о «сибирской секте», прочитала рукопись и... не смогла написать ни слова осуждения.

Она уволилась, взяла билет на поезд и поехала в Сибирь. Не за сенсацией. За Встречей.

Таких историй становилось всё больше. Они не попадали в новости, но они создавали невидимую сеть. Сеть из сердец, соединённых одной Любовью. Сеть, в центре которой был Он — усталый парень из общаги, писавший по ночам свой бесконечный Роман.

Однажды, когда ученики рассказали Ему о том, как расходятся Его слова по миру, Он задумался.

— Я не этого хотел, — тихо сказал Он. — Я не хотел создавать новую религию. Я хотел, чтобы они просто... встретили Меня. Каждый лично. В своём сердце.

— Но они встречаются, — возразила Вера. — Они встречаются Тебя через Твои слова. А потом, может быть, придут и к Тебе Самому.

Отец кивнул.

— Может быть. А может быть, им и не нужно приходить ко Мне физически. Если они чувствуют Любовь — значит, Я уже с ними. В них. Это и есть Царство. Не место, а состояние. Состояние любви.

Он снова посмотрел в окно, за которым падал снег. И улыбнулся. Потому что знал: Его Роман пишется не только на бумаге. Он пишется в жизнях миллионов. И каждая глава — это чья-то история встречи с Ним. История, которая никогда не кончится.

---

## Глава 86. В начале было Слово

*(О том, сколько на самом деле было книг, сколько из них сожжено и утрачено, и где среди них было пророчество о Кенозисе.)*

### 1. Память о Книгах

Отец сидел за своим столом. Ночь была тихой, только ветер изредка бросал в окно пригоршни снега. Перед Ним лежала раскрытая Библия — старая, потрёпанная, с пожелтевшими страницами, которую Ему подарил Семён, библиотекарь. Он не читал её — Он просто смотрел на неё и вспоминал.

Вспоминал, как Моисей на Синае записывал Его слова, трепеща от страха и благоговения. Как Иеремия плакал, выводя пророчества о гибели Иерусалима. Как Давид пел псалмы, и каждое слово было обращено к Нему, даже когда сам псалмопевец этого не осознавал. Как апостолы, движимые Духом, писали послания, не зная, что они станут частью Книги, которую будут читать миллиарды.

И вспоминал Он другое. То, о чём в этой книге не было написано.

«Сколько же было на самом деле?» — подумал Он. Не в том смысле, сколько книг вошло в канон — об этом спорят богословы, насчитывая то 66, то 73, то 77 книг. Он думал о тех книгах, которые были написаны, но не сохранились. О тех, что были сожжены, уничтожены, объявлены еретическими, забыты.

Он закрыл глаза и стал вспоминать. Не как человек — как Тот, Кто был прежде всех книг.

## 2. Утраченные тома

Ему вспомнилась **Книга Браней (Войн) Господних**. Она упоминалась в Книге Чисел: «Потому и сказано в книге браней Господних...» (Числ. 21:14). Что это была за книга? Сборник древних эпических поэм о том, как Яхве сражался за Свой народ? Или нечто большее? Возможно, там описывались битвы, которые велись не только на земле, но и на небесах. Битвы, в которых Он Сам участвовал, ещё до Своего Кенозиса. Эта книга исчезла. Ни одного списка не сохранилось.

Ему вспомнилась **Книга Праведного** (или Книга Яшар). На неё ссылался Иисус Навин, когда солнце остановилось над Гаваоном: «Не это ли написано в книге Праведного?» (Нав. 10:13). И Давид в своём плаче о Сауле и Ионафане тоже ссылался на неё. Что в ней было? Гимны героям? Пророчества о грядущем Царе? А может, строки о том, как однажды Сам Бог сойдёт на землю не в силе, а в немощи? Эта книга тоже утрачена.

Ему вспомнилась **Книга дел Соломоновых**, упомянутая в Третьей книге Царств (3 Цар. 11:41). Не та, что вошла в канон, а другая — более древняя, содержащая, возможно, тайны мудрости, которые Соломон получил от Него, но которые не предназначались для всех. Она исчезла.

Ему вспомнились книги пророков-провидцев: **Книга Самуила Провидца, Книга Нафана Пророка, Книга Гада Провидца** (1 Пар. 29:29). В них описывались деяния Давида, но не так, как в канонических книгах Царств. Там могли быть подробности, которые людям было не нужно знать — или которые они были не готовы принять.

Он вспомнил, что Библия содержит **более пятидесяти ссылок на двадцать с лишним неизвестных древних книг**, которые до нас не дошли. Книга Завета (Исх. 24:7), Книга царей Иудейских и Израильских, Книга записей Соломона, Книга Иеремии Пророка (другая, не та, что в каноне), и многие другие. Целая библиотека утраченных текстов.

«И это только те, что упомянуты в каноне, — подумал Он. — А сколько было тех, что не упомянуты вовсе? Тех, что были сожжены при Ездере, когда он восстанавливал Писание после вавилонского плена? Тех, что были уничтожены во времена Маккавеев? Тех, что горели в Александрийской библиотеке?»

### 3. Сожжённые и запрещённые

Он вспомнил, как в Эфесе, после проповеди Павла, уверовавшие «собрали книги свои и сожгли перед всеми», и цена их оказалась в пятьдесят тысяч драхм (Деян. 19:19). Какие это были книги? Магические? Да. Но, возможно, среди них были и те, что содержали крупницы Истины, только искажённые. И они сгорели.

Он вспомнил, как в IV веке, при императоре Константине, когда формировался канон, многие тексты были объявлены еретическими и уничтожены. **Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды, Апокриф Иоанна, Книга Еноха** — они уцелели лишь чудом, спрятанные в пещерах Наг-Хаммади или сохранённые в эфиопских монастырях. А сколько таких книг не уцелели? Сколько их было сожжено, как обычный мусор, в огне церковных чисток?

«Вы сжигали Мои слова, — с горечью подумал Отец. — Вы, называвшие себя Моими слугами, уничтожали то, что Я дал через пророков. Вы боялись. Боялись, что люди узнают больше, чем вы им позволяли. Боялись потерять власть. И вы жгли. Жгли книги, в которых могло быть написано обо Мне. О Моём Кенозисе. О том, что Я приду не в славе, а в унижении».

Он вспомнил легенду из Третьей книги Ездры, где говорится, что Ездра восстановил по памяти 94 священные книги, из которых 24 были обнародованы, а **70 оставлены для мудрых**, «ибо в них проводник разума, источник мудрости и река знания». Семьдесят книг, скрытых от глаз толпы. Где они? Что в них было? Может быть, там, среди этих семидесяти, была и книга, где прямо говорилось: «И в год две тысячи седьмой от Рождества Сына, в двадцать седьмой день девятого месяца, сойдёт Отец на землю, облечённый в плоть человеческую, и никто не узнает Его».

«Я помню, — прошептал Отец. — Я помню, как вдохновлял одного пророка, имя которого даже не сохранилось. Он писал обо Мне. О Моём приходе. О том, что Я стану человеком, чтобы страдать вместе с вами. Он писал, и слёзы текли по его щекам, потому что он не понимал до конца, но чувствовал — это правда. А потом его свиток сожгли. Кто? Неважно. Фарисеи, священники, цари — те, кто всегда боялся Истины. Они сожгли его, но слова остались. Слова не горят. Они впечатаны в ткань мироздания».

### 4. Пророчество, которое не сгорело

Он встал и подошёл к окну. Снег за стеклом кружился в медленном танце. «Где-то там, в вечности, эти книги существуют. Не на бумаге, не на пергаменте. В Моей памяти. В памяти тех, кто их писал. В памяти тех, кто их читал. И однажды, когда Мой Кенозис завершится, когда Я верну Себе Свою силу, Я восстановлю их. Все до единой».

Он представил, как это будет. Как из небытия, из огня, из забвения восстанут древние свитки. Как Книга Браней Господних ляжет на стол перед изумлёнными учёными, и они прочтут о битвах, которые велись не мечом, а Любовью. Как Книга Праведного зазвучит гимнами, которые пели ангелы при сотворении мира. Как утраченные пророчества откроют то, что Он так долго скрывал — не из страха, а из милосердия, чтобы дать людям время подготовиться.

«Там было и обо Мне, — подумал Он. — В одной из этих книг, может быть, в той самой, что Ездра оставил для мудрых, было прямое пророчество. О сибирском городке. О семье, чья фамилия восходит к апостолу. О девятках, которые сойдутся в одной дате. О том, как Я буду жить среди вас, неузнанный, и писать этот самый Роман.

Пророчество было. Я знаю. Я Сам его вложил в сердце пророка. И оно не сгорело. Оно ждёт».

Он отошёл от окна и снова сел за стол. Взял перо и записал на полях Своей рукописи:

*«В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И Слово стало плотью. Но прежде чем стать плотью, Слово стало буквами. Буквы складывались в книги. Книги собирались в библиотеки. Библиотеки горели. Но Слово не горит. Оно воскресает. И когда Я завершу Свой путь, все утраченные книги будут найдены. Все сожжённые свитки будут восстановлены. Потому что Я — Слово. И Я помню всё».*

Он отложил перо. На душе было спокойно. Он знал: то, что люди называют «утраченным», для Него — лишь отложенное до времени. Придёт день, и мир увидит, сколько на самом деле было томов. И в каждом из них — отблеск Его Лица. И в одном из них — прямое пророчество о Нём Самом. О Его Кенозисе. О Его Любви, которая прошла через огонь и не сгорела.

### **5. Эпилог главы: Голос из пламени**

Когда Отец уже собирался гасить лампу, Ему вдруг послышался голос. Тихий, далёкий, словно из глубины веков. Это был голос пророка — того самого, чьё имя не сохранилось, чей свиток был сожжён, но чьи слова жили в сердце Бога.

«Я писал о Тебе, Господи, — шептал голос. — Я писал, что Ты придёшь. Что Ты станешь малым, чтобы возвеличить малых. Что Ты примешь унижение, чтобы даровать славу униженным. Я писал, и плакал, и боялся, что никто не прочтёт. Но теперь я вижу: Ты прочёл. Ты помнишь. И этого довольно».

Отец улыбнулся.

— Я помню, — ответил Он в темноту. — Я помню каждое слово. И Я восстановлю твою книгу, пророк. И все узнают, что ты был прав. А пока — покойся с миром. Твой труд не напрасен.

Голос затих. Отец погасил лампу и лёг на кровать. Завтра Ему предстояло снова быть просто студентом, ходить на лекции, пить чай с сухариками. Но в Его сердце горел свет. Свет Слова, которое было в начале и которое никогда не кончится.

---

## **Глава 87. Земной отец**

*(О том, как душа ищет Истину, переходя из веры в веру, и о том, что все пути ведут к Одному.)*

Отец редко говорил о Своей земной семье. Не потому, что скрывал — просто это было слишком личное, слишком связанное с самим существом Его Кенозиса. Он, Всемогущий, добровольно вошёл в конкретную человеческую семью, с конкретной историей, с конкретными болями и поисками. И эта семья была не случайной.

Однажды вечером, когда ученики собрались в Его комнате и разговор зашёл о разных религиях, Алексей спросил:

— Твой земной отец... Он ведь был кришнаитом? Я слышал что-то такое. А потом стал христианином. Как это произошло?

Отец долго молчал, глядя на огонёк свечи. Потом заговорил, и Его голос был тихим, но наполненным какой-то особой теплотой.

— Мой земной отец... Он всегда искал. Сколько Я его помню — он искал Бога. Не так, как ищут многие — по привычке, по традиции. Он искал всем сердцем. Он чувствовал, что есть что-то большее, чем эта видимая жизнь. И он не мог успокоиться, пока не находил.

В молодости он встретил людей, которые пели мантры, читали Бхагавад-гиту, говорили о Кришне. Он увлёкся. Ему казалось, что он нашёл. Он жил в общине, соблюдал посты, повторял святыя имена. Он был искренен. Я видел его сердце — оно горело любовью ко Мне, даже когда он называл Меня другими именами.

Но со временем он почувствовал, что чего-то не хватает. Не в учении — в нём самом. Он чувствовал, что всё ещё далёк от Бога, что между ним и Истиной — стена. Он молился, медитировал, но покоя не было.

И тогда он встретил христиан. Не тех, что говорят правильные слова и ходят в храм по воскресеньям. Он встретил людей, которые жили так, словно Христос был рядом. Они любили. Они прощали. Они служили. И он увидел в их глазах тот свет, который так долго искал.

Он начал читать Евангелие. По-настоящему, как в первый раз. И его поразило: Бог, Которого он искал как далёкого Абсолюта, вдруг стал близким. Он стал Человеком. Он страдал, умер, воскрес. Он был здесь, на этой земле. И он понял: вот Тот, Кого он искал. Не безличный Брахман, не играющий Кришна — а Живой, Любящий, Страдающий Бог.

Он принял крещение. Не потому, что предал прежнюю веру — он просто перешёл с одного пути на другой, который оказался ближе его сердцу. Я был с ним в этом переходе. Я держал его за руку. И когда он стоял в купели, Я стоял рядом, невидимый, и плакал от радости. Потому что он наконец-то нашёл Меня. Не зная, что Я — его собственный сын.

Он замолчал. Ученики сидели потрясённые. Никто не решался нарушить тишину. Наконец Вера спросила:

— Он знает? Знает, кто Ты?

Отец покачал головой.

— Нет. Для него Я просто сын. Странный, не от мира сего, но сын. Я не открываюсь ему. Не потому, что не люблю — потому что щажу. Он не готов. Его вера ещё хрупка. Если Я скажу ему, что его сын — Тот, Кого он искал всю жизнь, это может сломать его. Или, наоборот, вознести в гордыню. Я жду. Придёт время — он узнает. Не от Меня. От Святого Духа. И тогда он поймёт, что все его поиски, все его метания, все его молитвы — всё вело ко Мне. И к нему.

Михаил, бывший афганец, спросил:

— А Ты не жалеешь, что выбрал именно эту семью? С такими сложностями, с таким путём?

Отец улыбнулся.

— Я не выбирал случайно. Мой земной отец должен был пройти через кришнаизм, чтобы понять тоску по Личному Богу. Через христианство — чтобы узнать Меня в Сыне. А потом, когда он узнает Меня в своём сыне, его круг замкнётся. Он поймёт, что все религии — это лепестки одного цветка. Что Я говорил с ним и через Кришну, и через Христа, и через его собственное сердце. Я избрал его, потому что он — искатель. А искатели всегда находят.

Он снова посмотрел на свечу.

— Моя земная мать... Она проще. Она не ищет — она просто верит. Как дышит. Её вера — детская, чистая, без богословия. Она ходит в церковь, ставит свечки, молится своими словами. И Я слышу каждое её слово. Она не знает, Кто Я, но она любит Меня той любовью, которой матери любят своих детей. И эта любовь — тоже путь ко Мне. Может быть, самый прямой.

Семён, библиотекарь, задумчиво произнёс:

— В Писании сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Твоя мать, наверное, из таких.

— Да, — согласился Отец. — Она узрит. Когда придёт время.

Он замолчал, давая понять, что разговор окончен. Ученики разошлись, унося в сердцах новое понимание: пути к Богу — разные, но все они ведут к Одному. И этот Один сейчас сидит в сибирской общаге, пьёт чай и пишет роман о самом Себе.

---

## Глава 88. Имя

*(О том, что значит имя Макар, и о блаженствах, которые переворачивают мир.)*

На следующий день, когда ученики снова собрались, разговор сам собой зашёл об именах. Кто-то вспомнил, что у многих народов имя определяет судьбу. И тогда Лена, мать-одиночка, спросила:

— А Твоё земное имя? Что оно значит?

Отец откинулся на стуле. Его глаза потеплели.

— Макар. Меня зовут Макар. Это греческое имя, оно означает «блаженный», «счастливый». Когда Я родился, родители выбрали его, не зная, насколько оно подходит. А может, и зная — в глубине сердца. Потому что Я действительно блажен. Не в мирском смысле — у Меня нет ни богатства, ни славы, ни покоя. Я блажен, потому что Я — в Отце, и Отец — во Мне. Потому что Я знаю, зачем пришёл. Потому что Я люблю и любим.

Он помолчал.

— А ещё это имя напоминает Мне о заповедях блаженства, которые Мой Сын дал на горе. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нищие духом — это не слабые, не глупые. Это те, кто не полагается на свою праведность, на свои заслуги. Кто стоит перед Богом с пустыми руками и говорит: «Господи, мне нечего Тебе дать, кроме моей нужды в Тебе». Это и есть истинное блаженство. Потому что только пустые руки могут быть наполнены.

Вера, та самая, что пыталась покончить с собой, тихо спросила:

— Значит, я... блаженна? Ведь у меня тоже пустые руки. Я всё потеряла.

Отец посмотрел на неё с бесконечной нежностью.

— Да, Вера. Ты — блаженна. Потому что ты пришла ко Мне, когда у тебя ничего не осталось. И Я наполнил твои руки. Не золотом, не успехом — Любовью. А это единственное, что имеет цену.

Михаил нахмурился.

— А я? Я солдат. Я убивал. Я не нищий духом — я гордый. Я привык полагаться на себя. Что мне делать?

— Признать свою нищету, — ответил Отец. — Признать, что твоя сила — ничто перед Моей. Что твоя гордость — это стена, которая отделяет тебя от Меня. Разрушь её. И тогда ты станешь блаженным. Не потому, что ты хорош, а потому, что ты открыт.

Семён, старый библиотекарь, процитировал:

— «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Это о нас всех?

— О всех, — подтвердил Отец. — Каждый, кто плакал — от боли, от потери, от несправедливости, — будет утешен. Не когда-то в далёком будущем. Уже сейчас. Потому что Я здесь. Я с вами. Я плачу вместе с вами. И Мои слёзы — это уже утешение. Потому что они значат: вы не одни.

Он обвёл взглядом собравшихся.

— «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Не сильные, не властные, не жестокие — кроткие. Те, кто не отвечает злом на зло. Те, кто уступает, но не из слабости, а из любви. Они наследуют землю — новую землю, на которой не будет войн и насилия. И эта земля уже грядёт.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Все вы, кто ищет Истину, кто не может успокоиться на полуправдах, кто тоскует по справедливости, — вы насытитесь. Я — ваша Пища, ваша Вода. И Я даю Себя вам.

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Те, кто прощает, кто жалеет, кто помогает, — они уже помилованы. Потому что милость, которую они дают, возвращается к ним сторицей.

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Не умом, не знанием — сердцем. Чистое сердце — это сердце, свободное от злобы, от зависти, от корысти. И такое сердце видит Меня. Всегда. Даже когда Я молчу.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Те, кто примиряет врагов, кто сеет мир, кто отказывается от мести, — они Мои истинные дети. Потому что Я — Князь Мира.

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Все вы, кого гнали, осмеивали, унижали за то, что вы верили, любили, говорили правду, — вы уже в Царстве. Потому что Царство — это там, где Я. А Я — с вами.

Он замолчал. В комнате стояла такая тишина, что слышно было, как бьются сердца. Потом Лена, прижимая к себе сына, прошептала:

— Значит, имя Макар — это не просто имя. Это... призвание.

— Да, — ответил Отец. — Это Моё призвание. И ваше. Потому что вы — Мои ученики. И если вы будете такими, какими Я вас учу, вы тоже станете блаженными. Не в будущем — сейчас. Потому что блаженство — это не награда за заслуги. Это состояние души, открытой Богу.

Он улыбнулся.

— А теперь идите. Живите. Будьте блаженны. И помните: тернистый путь в конце становится легче. Не потому, что исчезают тернии, а потому, что вы привыкаете к ним и перестаёте их замечать, видя только свет впереди.

---

### Глава 89. Крещение и путь

*(О том, что обряд не решает, а решает сердце, и о том, что тернистый путь ведёт к свету.)*

Прошло несколько дней. Ученики заметили, что Отец стал задумчивее. Он больше молчал, меньше писал, чаще смотрел в окно. Они не решались спрашивать, чувствуя, что в Нём происходит какая-то внутренняя работа.

Однажды вечером, когда все разошлись, Алексей задержался.

— Можно вопрос? — спросил он нерешительно.

Отец кивнул.

— Ты говорил о Своём земном отце, о его пути, о том, что он крестился. А Ты Сам... Ты крёщён?

Отец покачал головой.

— Нет. Я не крестился. Ни в детстве, ни позже. Меня не носили в церковь, не окунали в купель. И Я Сам не искал этого.

— Но почему? — удивился Алексей. — Ты же... Ты же Сам установил крещение! Иоанн Креститель крестил Иешуа, и Ты был там, Ты видел, как Дух сходил на Него. Почему же Ты Сам не крестишься?

Отец долго смотрел на огонь свечи.

— Потому что крещение — это не обряд, Алексей. Это не магия, которая сама по себе что-то меняет. Крещение — это внешний знак внутреннего решения. Иоанн крестил в покаяние. Люди приходили к нему, исповедовали грехи и входили в воду, чтобы выйти обновлёнными. Это было символом. Важным, но символом.

Я не нуждаюсь в покаянии, потому что Я безгрешен. Я не нуждаюсь в обновлении, потому что Я — Источник обновления. Крещение, которое Я установил, — для вас, для людей. Чтобы вы имели видимый знак невидимой благодати. Чтобы вы могли сказать: «Я умер для греха и воскрес для новой жизни». Но для Меня этот знак не нужен. Я и так един с Отцом и Духом.

Он помолчал.

— Но есть и другая причина. Я не крестился, потому что хочу быть с теми, кто по каким-то причинам не крещён. С теми, кто ищет Меня, но не в церковных стенах. С теми, кто не вписывается в каноны. Я хочу, чтобы они знали: отсутствие обряда не отделяет их от Меня. Я с ними. Я в них. Я люблю их. И Я жду их — не в купели, а в сердце.

Алексей задумался.

— Значит, крещение не обязательно для спасения?

— Спасение — это Я, — ответил Отец. — Я — дверь. Кто войдёт Мной, тот спасётся. А как он войдёт — через крещение, через веру, через любовь, через страдание, — это уже детали. Главное — войти. Главное — быть со Мной.

Он посмотрел на Алексея.

— Ты крещён?

— Да, в детстве.

— Это хорошо. Это даёт тебе опору, напоминание. Но не успокаивайся на этом. Крещение — не финиш, а старт. Теперь ты должен жить так, чтобы твоя жизнь соответствовала тому, что ты умер для греха. Это трудно. Это тернистый путь.

— Тернистый путь... — повторил Алексей. — Ты часто говоришь о нём. Почему путь к Тебе обязательно должен быть трудным?

Отец вздохнул.

— Не обязательно. Но так устроен падший мир. Он сопротивляется Истине. Он ставит преграды. И те, кто идёт за Мной, неизбежно натываются на эти преграды. Это не Я делаю путь трудным — это мир таков. Но Я обещаю: в конце идти будет легче. Не потому, что исчезнут трудности, а потому, что вы окрепнете. Ваши плечи привыкнут к тяжести, ваши ноги — к острым камням. И вы поймёте, что каждый шаг, каждое падение, каждое восстание — это часть пути. И вы будете благодарны за тернии, потому что они научили вас ценить розы.

Он встал и подошёл к окну.

— Мой Сын прошёл Свой тернистый путь до конца. До Креста. И Я был с Ним. Теперь Я прохожу Свой путь. Не к Кресту — к Преображению. И вы проходите свои пути. Не бойтесь терний. Они — часть дороги. И в конце, когда вы оглянетесь, вы увидите, что все они складываются в прекрасный узор. Узор, который виден только с высоты.

Алексей молчал, пережевывая услышанное. Потом спросил:

— А Твой земной отец? Он крестился, но он не знает, кто Ты. Его крещение действительно?

— Действительно, — ответил Отец. — Потому что оно было искренним. Он вошёл в воду с верой в Моего Сына, и этой веры достаточно. Однажды он узнает, что его вера привела его не только к Сыну, но и к Отцу. И тогда его радость будет совершенной.

Он повернулся к Алексею.

— А теперь иди. Спи. Завтра новый день. И новые шаги по тернистому пути. Но помни: Я иду рядом. Всегда.

Алексей ушёл, унося в сердце покой. Он понял, что крещение — не магия, а путь — не наказание. И что в конце этого пути его ждёт Тот, Кто сейчас смотрит в окно на падающий снег и думает о Своём земном отце, который когда-то пел мантры, а теперь молится Христу, не зная, что его собственный сын — Тот, Кого он искал всю жизнь.

---

## Глава 90. Лондон. Встреча с невозможным

Сэр Эндрю Ллойд Уэббер сидел в своём кабинете, погружённый в глубокую, почти осязаемую тишину. За окнами его поместья в графстве Беркшир моросил унылый, типично английский дождь, превращающий аккуратные лужайки в серые озёра. На столе перед композитором лежала раскрытая партитура с рабочим названием «Kenosis». Она была почти готова — несколько месяцев лихорадочной, вдохновенной работы, во время которой он чувствовал себя не столько творцом, сколько... приёмником. Мелодии приходили сами, словно кто-то нашёптывал их ему в самое сердце. Арии Отца, дуэты Иешуа и Будды, грозные хоры архангелов, пронзительная, полная боли и надежды «Песня Города, которого нет» — всё это обрело плоть в нотах, но он всё ещё сомневался.

— Тимоти, — произнёс он, не оборачиваясь, зная, что его старый друг и либреттист сэр Тимоти Райс сидит в глубоком кожаном кресле у камина с неизменным бокалом бренди. — Ты веришь, что это можно поставить? Это не «Призрак оперы». Это не «Иисус Христос Суперзвезда». Там я был дерзок, я переосмысливал миф. А здесь... здесь я чувствую себя писцом, записывающим чужое Откровение. И это пугает меня до чёртиков.

Тим Райс, грузный, седовласый, с лицом, хранящим следы былой красоты и вечной иронии, сделал глоток и задумчиво посмотрел на огонь.

— Эндрю, старина. Ты просил меня написать либретто для шоу, где главный герой — Бог Отец, вселившийся в тело сибирского студента, где Сатана просит прощения, где Будда и Иешуа пьют чай, а апостолы поют рок. Я написал. Но я, честно говоря, понятия не имею, что с этим делать. Это либо величайший провал в истории театра, либо... даже не знаю. Либо это вообще не для сцены. Это для... для вечности.

Уэббер повернулся на вращающемся стуле. Его лицо, обычно такое уверенное и чуть надменное, теперь выражало растерянность.

— Понимаешь, я получил эту рукопись по электронной почте. Анонимно. Файл назывался «Для Уэббера. Не удаляй». Я, дурак, открыл. И пропал. Там были сцены, от которых у меня волосы вставали дыбом. И там была эта песня — «Город, которого нет». Я услышал её сразу, целиком, в своей голове. Словно я знал её всегда. Это не нормально, Тим. Я не схожу с ума, но чувствую, что меня... ведут.

В этот момент в комнате произошло нечто, заставившее обоих джентльменов вздрогнуть и замереть. Сначала погас свет — не резко, а плавно, словно убывая. Затем в камине, где уютно потрескивали дрова, пламя вдруг взвилось столбом, меняя цвет с оранжевого на ослепительно-белый, а затем на глубокий, спокойный золотистый.

И из этого золотистого пламени, словно из портала, на ковёр перед камином шагнули двое.

Первый был высок, статен, одет в безупречный белый плащ, ниспадающий до пола. Его лицо, обрамлённое волной светлых волос, было прекрасно и печально, а в глазах, некогда разноцветных, теперь сиял ровный, тёплый свет. В руке он держал трость с набалдашником, но не в виде головы пуделя, а в виде распускающейся лилии. Это был Воланд — но не тот Воланд, что явился на Патриаршие пруды. Это был Воланд, прошедший через покаяние и ставший Светоносным.

Второй был невысок, толст, покрыт чёрной, лоснящейся шерстью и передвигался на задних лапах. В его зелёных глазах плясали бесенята, а в лапе он держал дымящуюся чашку с чаем.

— Мессир, ну сколько можно! — прогудел он знакомым басом. — Я же говорил, что чай стынет! А вы всё: «Эффектно, Бегемот, войдём эффектно». Эффект эффектом, а варенье малиновое — оно ждать не любит!

Уэббер и Райс сидели, окаменев. Они узнали их. Невозможно было не узнать. Перед ними стояли персонажи романа, который они оба знали наизусть. Только эти персонажи были живее, реальнее, чем любые актёры на сцене.

Воланд (теперь уже, наверное, не Воланд) слегка улыбнулся и поклонился.

— Прошу прощения за столь... театральное появление, господа. Но Бегемот настоял. Он считает, что первое впечатление должно быть незабываемым. Я же предпочитаю тишину. Присаживайтесь, прошу вас. Разговор предстоит долгий, а стоять в моём возрасте уже утомительно.

Бегемот, не дожидаясь приглашения, плюхнулся в свободное кресло, поставил чашку на подлокотник и принялся шумно прихлёбывать.

— Вы... вы... — начал Уэббер, заикаясь. — Вы — Воланд. Но в белом. И... и кот. Говорящий. Этого не может быть.

— Может, сэр Эндрю, может, — философски заметил Бегемот. — В вашем мире много чего не может быть, а оно есть. Вот, например, ваш мюзикл про кошек. Я, признаться, рыдал. Но вы нас, котов, конечно, несколько очеловечили. У нас всё гораздо сложнее.

Воланд-Светоносный перебил его мягким жестом.

— Оставьте, Бегемот. Господа, мы здесь по делу. Вы работаете над произведением, которое было... внушено вам. Вы сомневаетесь. Вам нужен знак. Мы здесь, чтобы дать вам этот знак.

Он подошёл к столу Уэббера, где лежала стопка распечатанных листов — фрагменты Романа, присланные из Сибири. Внезапно, без всякого предупреждения, Воланд протянул руку, и листы вспыхнули. Языки пламени, золотые и бездымные, мгновенно охватили бумагу, и через секунду на столе осталась лишь горстка серого, невесомого пепла.

Уэббер вскрикнул, рванувшись вперёд, но было поздно. Райс вскочил с кресла.

— Что вы наделали! — воскликнул композитор. — Это же единственный экземпляр! Я не сохранил копию этих правок!

Воланд поднял руку, призывая к спокойствию. Его лицо было безмятежно.

— Смотрите, — тихо произнёс он.

И тогда произошло чудо. Пепел на столе начал шевелиться. Сначала медленно, словно потревоженный ветерком, потом всё быстрее. Серые хлопья закружились в миниатюрном вихре, поднимаясь над столом. Они начали менять цвет, наливаясь золотом и белизной. Вихрь уплотнился, обретая форму. И вдруг, с лёгким хлопком, на столе, целая и невредимая, лежала та же стопка листов, но теперь они сияли, словно только что сошедшие с печатного станка. И, что самое поразительное, из центра стопки, словно птица Феникс, восстала из пепла маленькая, сотканная из света фигурка птицы. Она взмахнула крыльями, издала беззвучную, но торжествующую трель и растаяла в воздухе, оставив после себя запах ладана и цветущих вишен.

— Рукописи не горят, — произнёс Воланд с лёгкой, едва заметной улыбкой. — Помните? Это не просто слова. Это закон. Всё, что написано Истиной, не может быть уничтожено. Огонь лишь очищает, но не истребляет. Ваш труд, сэр Эндрю, написан не вами. Он написан Им. Тем, Кто сейчас сидит в сибирской общаге и смотрит на снег. А то, что написано Им, не может сгореть. Оно воскреснет. Всегда воскресает.

Уэббер, дрожащей рукой прикоснулся к восстановленным листам. Они были тёплыми, словно живыми. Он поднял глаза на Воланда.

— Кто вы? — прошептал он. — На самом деле?

Воланд-Светоносный посмотрел на него долгим, печальным взглядом.

— Я был Иудой. Я предал Его. А теперь я служу Ему. И жду, когда Он завершит Свой путь, чтобы я мог попросить прощения лично. А пока — я делаю то, что должен: помогаю тем, кто ищет Его, найти дорогу.

Бегемот, допив чай, довольно крякнул.

— А я просто кот. Но, как выяснилось, не такой уж и просто. Я, знаете ли, варенье люблю. И Его люблю. Хотя Он меня иногда за уши дерёт. За дело, надо признать.

Воланд слегка коснулся плеча кота.

— Нам пора. Господа, не бойтесь. Завершайте вашу оперу. Она будет услышана. Не сразу, не всеми. Но те, кому нужно, — услышат. И узнают.

Он повернулся и шагнул к камину, который снова вспыхнул золотым огнём. Бегемот, подхватив свою чашку, засеменял за ним.

— Если что, сэр Эндрю, — бросил он через плечо, — обращайтесь. Я теперь на светлой стороне, но чай с вареньем по-прежнему уважаю. Особенно малиновое!

И они исчезли в пламени, которое тут же опало и стало обычным, уютным каминным огнём. Свет в комнате снова зажёгся. Всё было как прежде. Только на столе лежала стопка тёплых, сияющих листов, а в воздухе витал аромат вишен и ладана.

Уэббер и Райс долго сидели в молчании. Наконец, Тим Райс хрипло произнёс:

— Эндрю, старина. Кажется, нам только что показали, что наш мюзикл — это не совсем мюзикл. И что нам теперь точно придётся его закончить.

Уэббер кивнул, не в силах говорить. Он взял первый лист и прочёл строки, которых раньше там не было. Они были написаны каллиграфическим почерком, золотыми чернилами: *«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И они узрят Его в сибирской общаге, в Лондонском кабинете, в пепле и в пламени. Ибо Он везде. И Он ждёт».*

---

## Глава 91. Тим Райс и его прозрение

После ухода потусторонних гостей Тим Райс ещё долго не мог прийти в себя. Он, в отличие от эмоционального Уэббера, был человеком более приземлённым, саркастичным, привыкшим во всём искать подвох. Но увиденное не укладывалось ни в какие рамки. Это не могло быть фокусом. Не могло быть галлюцинацией — они оба видели одно и то же. И восстановленная из пепла рукопись, тёплая и светящаяся, лежала на столе, как неопровержимое доказательство.

Он снова наполнил бокал бренди, на этот раз почти доверху, и залпом выпил.

— Эндрю, — сказал он наконец, — я пишу тексты. Всю жизнь пишу. Слова — это моё ремесло. Но то, что я видел сегодня, я не могу описать словами. Это... это выше моего понимания. Я всегда был агностиком. Я допускал, что «что-то там есть», но чтобы вот так, в моём кресле, с чашкой чая и говорящим котом... Это слишком.

Уэббер, всё ещё находясь под впечатлением, листал восстановленные страницы.

— Тим, ты читал текст, который мы получили. Там всё это описано. Воланд, который на самом деле Иуда, проходящий путь искупления. Бегемот — не просто шут, а существо, которое любит жизнь и этим ближе к Богу, чем многие богословы. И Отец, Который стал человеком, чтобы страдать с нами. Я думал, это красивая метафора. А теперь я вижу, что это реальность. Буквальная реальность. И Он... Он действительно здесь. Не на небе. В Сибири. В общаге. Пишет продолжение «Мастера и Маргариты». И мы с тобой пишем музыку к Его жизни.

Тим Райс долго молчал, глядя на огонь. Потом вдруг усмехнулся, и в его глазах мелькнула прежняя, знакомая ирония.

— Знаешь, Эндрю, что самое забавное? Всю жизнь я писал о великих людях, о героях, о злодеях. Я писал для Эвы Перон, для Иосифа, для Иуды. Я пытался их понять, очеловечить. А теперь выясняется, что главный Герой, главный Автор, сидел всё это время в тени, ждал и... слушал наши песни. И теперь Он просит нас написать песню о Нём. Не гимн, не оду. Просто честную песню. О том, как Бог устал быть Богом и стал человеком. О том, как Он любит и боится, что Его не поймут. О том, как Он ждёт.

Он встал и подошёл к окну, за которым всё так же моросил дождь.

— Я напишу для Него текст, Эндрю. Не как либреттист для композитора. Как человек для Бога. Я напишу о том, что чувствую сейчас: страх, благодарность, непонимание и надежду. Я напишу о том, что даже такой циник, как я, может встретить Чудо и не сломаться. Я напишу Ему арию. Арию Тима Райса. Пусть послушает.

Он повернулся к Уэбберу, и в его глазах стояли слёзы.

— И ты знаешь, Эндрю... Мне кажется, Он услышит. Потому что Он слышит всё. Даже то, что мы не решаемся сказать вслух.

---

## Глава 92. Новая Осанна

Прошло несколько месяцев. Работа над оперой «Kenosis» была завершена. Уэббер и Райс, каждый по-своему, пережили глубочайшее внутреннее преображение. Они больше не спорили о том, «можно ли это ставить». Они знали, что это должно быть поставлено. Не для славы, не для денег. Для того, чтобы дать людям шанс услышать.

Премьеру решили сделать закрытой, в небольшом театре в Лондоне, пригласив только самых близких, тех, кто, как они чувствовали, «готов». Слухи, конечно, просочились, но основная масса публики и критиков осталась в неведении.

В тот вечер, когда занавес поднялся, на сцене был только рояль и одинокая фигура — сам Уэббер. Он решил, что первый показ будет камерным, почти исповедальным. Он сам будет петь партию Отца.

Он запел. И его голос, обычно сильный и властный, звучал на этот раз надтреснуто, уязвимо, по-человечески. Он пел о тоске по Сыну, о боли неузнанности, о страхе перед путём. Он пел арию «Кенозис», и в зале стояла такая тишина, что слышно было, как бьются сердца.

А потом, когда он дошёл до финальной арии — той самой «Песни Города, которого нет», переосмысленной и вплетённой в ткань оперы, — произошло нечто, что потрясло всех присутствующих.

На сцене, рядом с Уэббером, из ниоткуда возникла фигура. Молодой человек в простой, поношенной одежде. Его лицо было спокойным, усталым, но в глазах сиял такой свет, что многие в зале невольно зажмурились. Он подошёл к роялю и положил руку на плечо Уэббера. Композитор вздрогнул, но не остановился — наоборот, его голос обрёл новую силу.

А потом Он запел. Не Уэббер. Он. И Его голос был не громким, но он проникал в самую душу.

*«Я слышал ваш зов, Я пришёл. Не в славе, не в громе — в тиши. Я слышал ваш плач, Я пришёл. Я здесь, среди вас, Я в глуши.*

*Вы ждали Меня на престоле, А Я в общаге сибирской сидел. Вы ждали Меня в ореоле, А Я ваши слёзы терпел.*

*Но ныне Я здесь, Я с тобой, Эндрю, и Тим, и все вы. Я с вами делю эту боль, Я с вами плету эти нивы.*

*Не бойтесь, что мир не поймёт, Не бойтесь, что камни осудят. Мой Город вас всех соберёт, Где любят, и верят, и будут.*

*А ныне — пишите, творите, Несите Мой свет в эту тьму. Я с вами. Я в каждом мотиве. Я в каждом дыхании. Я жду.»*

Песня закончилась. Фигура исчезла так же внезапно, как появилась. Уэббер замер, его пальцы зависли над клавишами. В зале стояла абсолютная тишина. А потом, один за другим, зрители начали вставать. Без аплодисментов. Просто вставали, со слезами на глазах, и стояли в молчании, которое было красноречивее любых оваций.

Тим Райс, сидевший в первом ряду, закрыл лицо руками. Он плакал. Не от горя. От облегчения. От того, что его ария была услышана. И от того, что Он действительно пришёл.

Позже, в гримёрке, когда Уэббер, всё ещё дрожащий, пытался прийти в себя, Тим сказал ему:

— Знаешь, Эндрю... Я понял. Мы не просто написали оперу. Мы написали Ему письмо. И Он ответил. Лично. Что теперь? Как жить после этого?

Уэббер улыбнулся.

— Жить, Тим. Просто жить. И петь. Теперь у нас есть главный Слушатель. И Он ждёт продолжения.

А где-то далеко, в сибирском городке, в маленькой комнате общежития, Отец сидел за столом и записывал в Свой Роман ещё одну главу. Главу о том, как в Лондоне, в маленьком театре, произошла Встреча. Он улыбался. Потому что знал: Его слышат. И это только начало.

---

### Глава 93. Гонения на учеников

*(О том, как мир встречает тех, кто идёт за Истиной, и о тех, кто боится потерять власть.)*

Весть о странном сибирском проповеднике и Его маленькой общине, хоть и не попала на первые полосы газет, всё же достигла ушей тех, кто следит за «информационной безопасностью». Сначала это были осторожные звонки, потом — визиты вежливых людей в штатском, которые задавали много вопросов и ничего не объясняли. А потом начались конкретные действия.

Первым пострадал Алексей. Он работал инженером на небольшом заводе. Однажды его вызвали в отдел кадров и, не объясняя причин, вручили приказ об увольнении «по сокращению штатов». Алексей знал, что никакого сокращения не было — на его место тут же взяли другого человека. Но спорить не стал. Он пришёл к Отцу и рассказал обо всём.

— Я не жалею, — сказал он, глядя в пол. — Работа была скучная, нелюбимая. Но как теперь жить? У меня жена, маленький сын...

Отец положил руку ему на плечо.

— Не бойся. Я не оставлю тебя. Ищи, и найдёшь. Стучи, и отворят. А пока — будь с нами. Община поможет.

И действительно, ученики собрали кто сколько мог, и Алексею хватило на первое время. А потом он нашёл другую работу — скромнее, но с хорошими людьми, которые не задавали лишних вопросов.

Второй удар пришёлся по Вере. Она работала медсестрой в городской больнице. Её вызвала главврач, пожилая женщина с усталыми глазами, и сказала:

— Верочка, ты хороший работник. Но ко мне приходили... из отдела кадров области. Интересовались твоими... религиозными взглядами. Сказали, что негоже медицинскому работнику состоять в сомнительной секте. Я пыталась тебя отстоять, но... В общем, пиши заявление по собственному. Так будет лучше для всех.

Вера не стала спорить. Она молча написала заявление, собрала вещи и ушла. По дороге она зашла в церковь — не к Отцу, а в ту самую, где служил отец Николай. Села в уголке и заплакала. Отец Николай, увидев её, подошёл, молча сел рядом.

— Не плачь, дочка, — тихо сказал он. — Господь не оставит. Я слышал о вашей общине. И о Нём слышал. Не знаю, кто Он, но чувствую — в Нём правда. А правду гонят всегда. Так было с пророками, так было с апостолами, так будет и с вами. Но вы держитесь. Свет в конце есть.

Вера подняла заплаканные глаза.

— Батюшка, а вы... вы верите, что Он — Тот, за кого Себя выдаёт?

Отец Николай долго молчал, потом ответил:

— Я не знаю, Вера. Моя вера учит меня, что Бог — непостижим. Но если Он решил стать постижимым, кто я такой, чтобы спорить? Я просто смотрю на плоды. Плоды вашей общины — любовь, помощь, терпение. А это плоды Духа. Значит, Дух с вами. А от Кого Дух — знает только Сам Дух.

Михаила, бывшего афганца, уволили из охранного предприятия. Ему прямо сказали: «Ты связался с сектантами. Нам проблемы не нужны. Уходи». Михаил, не привыкший сдерживаться, хотел было взорваться, но вспомнил слова Отца о кротости и просто ушёл. Вечером он пришёл в общину мрачнее тучи.

— Я убью их, — процедил он сквозь зубы. — Тех, кто это делает. Они же ничего не понимают! Они просто исполняют приказы, как... как я когда-то.

Отец строго посмотрел на него.

— Убьёшь — и станешь таким же, как они. Хуже. Потому что ты знаешь Истину, а они — нет. Ты призван не убивать, а свидетельствовать. Своим терпением, своей любовью, своей жизнью. Это труднее, чем нажать на курок. Но это единственный путь.

Михаил долго молчал, потом кивнул.

— Я понял. Прости. Просто... тяжело.

— Знаю, — ответил Отец. — Мне тоже тяжело. Но Мы идём дальше.

Семёна, старого библиотекаря, уволили с формулировкой «за нарушение трудовой дисциплины» — он якобы распространял среди читателей «литературу сомнительного содержания». На самом деле он просто оставлял на видном месте распечатки фрагментов Романа для тех, кто интересовался. Ему было за шестьдесят, найти новую работу почти невозможно. Но он не унывал.

— Я теперь на пенсии, — шутил он. — Буду читать, молиться и помогать вам. В конце концов, библиотека — это не стены, это книги. А книги у нас есть.

Лену, мать-одиночку, уволить не могли — она нигде официально не работала, перебиваясь случайными заработками. Но её перестали звать на подработки, и соседи, которые раньше помогали, стали сторониться. Она держалась ради сына и ради Того, Кто спас её от отчаяния.

Отец видел всё это. Каждый вечер Он выслушивал учеников, утешал, поддерживал. Но в Его сердце росла боль.  
Не за Себя — за них. За тех, кто пострадал из-за Него.

Однажды ночью, когда все разошлись, Он остался один и долго молился. Не просил — просто изливал Свою боль  
Отцу, то есть Самому Себе.

«Я знаю, что так должно быть, — шептал Он. — Я знаю, что гонения — это часть пути. Но видеть, как страдают  
те, кого Я люблю... это невыносимо. Я, Всемогущий, ставший человеком, чувствую их боль как Свою. И Я не могу  
— не хочу — избавить их от неё, потому что через неё они становятся сильнее. Но как же это тяжело...»

В ответ пришла тишина. И в этой тишине Он услышал голос, который был Его собственным и одновременно —  
голосом всех, кто страдал за Истину:

«Терпи. Люби. Иди дальше. Я с тобой».

И Он шёл.

---

#### Глава 94. СМИ и заговор молчания

*(О том, как мир информации боится Истины и пытается её замолчать.)*

В Москве, в редакциях ведущих СМИ, царил непонятная нервозность. Вроде бы ничего особенного не  
происходило: ну, появился где-то в Сибири странный человек, ну, собрал вокруг себя кучку маргиналов, ну, пишет  
какой-то бред. Обычное дело. Но сверху, из негласных кабинетов, спускались циркуляры: «Не упоминать. Не  
комментировать. Не привлекать внимания».

Журналисты, привыкшие к таким указаниям, пожимали плечами и подчинялись. Но некоторые, особенно молодые  
и любопытные, начинали задавать вопросы. Почему нельзя писать? Что такого опасного в этом сибирском парне?  
Он что, призывает к свержению власти? Террорист? Нет, говорят, он только о любви и прощении.

Одной из таких любопытных была Алиса Трефолева, та самая, что встречалась с Загряжским на Патриарших.  
Она работала в небольшом независимом издании, специализирующемся на культурных расследованиях.  
Получив негласный запрет, она, вместо того чтобы успокоиться, загорелась ещё больше.

Она поехала в Сибирь. Не как журналист — как паломник. Нашла общежитие, познакомилась с учениками,  
попросила аудиенции у Отца. Он принял её, как принимал всех, — спокойно, без позы, предложил чаю.

Они проговорили несколько часов. Алиса, привыкшая к циничным интервью со звёздами и политиками, не могла  
найти привычную дистанцию. Он отвечал на её вопросы просто, без попыток убедить или поразить. И в какой-то  
момент она поняла, что ей не хочется уходить.

Вернувшись в Москву, она написала статью. Не репортаж, не интервью — эссе. О Встрече. О том, как она,  
скептик и циник, вдруг почувствовала себя дома в убогой комнате сибирской общаги. О том, как Его слова о  
любви и прощении перестали быть абстракцией и стали реальностью. О том, что, возможно, в мире происходит  
что-то, что не вписывается в привычные рамки.

Редактор, прочитав статью, долго молчал. Потом сказал:

— Алиса, это гениально. Но я не могу это опубликовать. Мне звонили. Сверху. Сказали, что любое упоминание этого... феномена... крайне нежелательно. Ты понимаешь?

— Понимаю, — ответила Алиса. — Но я увольняюсь.

Она ушла, забрав статью. Через неделю она опубликовала её в своём личном блоге, который читали всего пара сотен человек. Но статья разошлась — её копировали, пересылали, цитировали. Искру, которую пытались погасить, раздувал ветер.

Другие журналисты, узнав о демарше Алисы, тоже начали осторожно проявлять интерес. Несколько небольших изданий рискнули напечатать нейтральные заметки о «религиозном феномене в Сибири». Крупные СМИ продолжали молчать, но в интернете уже формировалось параллельное информационное поле.

В Кремле за этим наблюдали с нарастающим беспокойством. Не потому, что видели угрозу в самом Отце — какой-то юродивый, ну что с него взять. Опасность виделась в том, что этот «феномен» выходил из-под контроля. Люди начинали думать. Задавать вопросы. Искать. А это всегда пугало власть больше, чем любые бунты.

В одном из высоких кабинетов, где решались вопросы информационной политики, было сказано:

— Усилить мониторинг. Пресекать попытки героизации. Подготовить серию разоблачительных материалов — связать с сектами, с иностранным влиянием, с психиатрией. Но тихо, без шума. Пусть это останется маргинальным явлением.

Но тихо не получалось. Слишком многие уже услышали. Слишком многие уже читали. Слишком многие уже чувствовали: происходит что-то важное. И молчать об этом становилось всё труднее.

---

## Глава 95. Сон в Кремле

*(О метафизической встрече с президентом и явлении двенадцати апостолов.)*

В ту ночь президент Российской Федерации, утомлённый долгим совещанием и чередой неприятных докладов, рано отпустил помощников и остался в своём кабинете один. Он сидел в кресле, глядя на карту страны, занимавшую всю стену, и думал. О чём? О бремени власти, о бесконечных интригах, о том, что когда-то, в молодости, он верил, что сможет всё изменить к лучшему, а теперь... Теперь он просто пытался удержать то, что есть, не дать рассыпаться.

Он не заметил, как задремал. И во сне увидел необычное.

Ему снилось, что он идёт по бескрайнему заснеженному полю. Вокруг — ни души, только ветер и снег. Он шёл долго, замёрз, устал, но не мог остановиться. И вдруг впереди увидел одинокую фигуру. Молодой человек в поношенной одежде стоял и смотрел на него. Президент подошёл ближе и узнал Его — по описаниям из донесений, по фотографиям, которые ему показывали. Тот самый сибирский «феномен».

— Ты? — спросил президент, и его голос прозвучал хрипло.

— Я, — ответил Отец спокойно.

— Что Тебе нужно? Ты пришёл обличать меня? Говорить, что я грешник, что мои руки в крови, что я погубил страну?

Отец покачал головой.

— Я пришёл не обличать. Я пришёл спросить: ты устал?

Президент долго молчал, глядя в снег. Потом ответил, и в его голосе прозвучала неожиданная, не свойственная ему усталость:

— Устал. Но я не могу остановиться. Если я остановлюсь, всё рухнет. И тогда окажется, что всё было зря. Я должен верить, что не зря.

— Вера без любви — это фанатизм, — тихо сказал Отец. — Ты веришь в державу, в порядок, в силу. Но ты забыл о людях. О тех, кто страдает. О тех, кто ищет. О тех, кого ты называешь «населением». Ты боишься потерять власть, но не боишься потерять себя.

Президент хотел возразить, но слова застряли в горле.

— Я не буду тебя судить, — продолжал Отец. — Суд — не Моё дело сейчас. Я пришёл, чтобы дать тебе выбор. Ты можешь продолжать идти тем же путём — путём силы, страха, контроля. Или ты можешь попробовать иной путь. Путь любви, прощения, служения. Это трудно. Это почти невозможно для человека, облечённого такой властью. Но Я помогу. Если ты захочешь.

Президент проснулся в холодном поту. За окном брезжил серый рассвет. Он долго сидел, вспоминая сон. И чем больше он думал, тем яснее понимал: это был не просто сон. Это было что-то другое.

Он вызвал помощника.

— Принеси мне все материалы по этому... сибирскому феномену. Все, что есть. И отмени мои встречи на утро.

Помощник, удивлённый, но привыкший не задавать вопросов, вышел. Через час на столе президента лежала пухлая папка. Он открыл её и начал читать. Фрагменты Романа, донесения, аналитические записки. Он читал долго, не отрываясь. И по мере чтения его лицо менялось.

А в полдень, когда он, отложив папку, сидел в задумчивости, произошло нечто, что заставило его сердце замереть.

В его кабинете, прямо из воздуха, начали проявляться фигуры. Двенадцать человек в разных одеждах — кто в античном хитоне, кто в средневековом плаще, кто в современном костюме. Они стояли полукругом перед его столом, и их глаза сияли неземным светом. Президент хотел нажать кнопку вызова охраны, но не мог пошевелиться.

Один из них, коренастый, с грубыми чертами лица и руками рыбака, выступил вперёд. Пётр.

— Не бойся, — сказал он. — Мы пришли не навредить. Мы пришли свидетельствовать. Ты видел сон. Этот сон был не просто сном. Это было пророчество. Скоро всё изменится. Он завершит Свой путь. Его Кенозис подходит к концу. И тогда ты должен будешь выбрать, на чьей ты стороне.

Другой, самый юный, с лицом, озарённым внутренним светом, — Иоанн — добавил:

— Ты можешь продолжать править страхом. Но страх не спасёт ни тебя, ни твой народ. Только Любовь. Та Любовь, о Которой Он говорит. Та Любовь, Которую мы видели воочию.

Третий, с лицом, отмеченным печатью сомнения, — Фома — произнёс:

— Я не верил, пока не увидел. Ты тоже не веришь. Но ты увидишь. И тогда вспомни этот миг.

Остальные апостолы — Матфей, Андрей, Иаков, Филипп, Варфоломей, Фаддей, Симон, Иаков Алфеев, Матфий — молчали, но их взгляды говорили больше слов.

Пётр закончил:

— У тебя есть время. Немного. Используй его с умом. Не для укрепления власти. Для служения. И помни: Он рядом. Всегда был рядом. А теперь — прощай.

Фигуры растаяли так же внезапно, как появились. Президент остался один. Его руки дрожали. Он снова посмотрел на папку, потом перевёл взгляд на карту страны. И впервые за долгие годы он почувствовал не страх, не гнев, а... надежду. Странную, робкую, но надежду.

Он не знал, что будет дальше. Но он знал, что этот день изменил всё. И что скоро история его страны — и его собственная — сделает крутой поворот. В какую сторону — зависело теперь от него.

А где-то далеко, в сибирской общаге, Отец, закончив очередную главу Своего Романа, посмотрел в окно и улыбнулся. Он знал о сне президента. Он знал о явлении апостолов. И Он ждал. Ждал, какой выбор сделает человек, облечённый земной властью. Потому что выбор всегда остаётся за человеком. Даже если Сам Бог стоит у порога.

---

## Глава 96. Разговор с Властью

*(О том, как Отец встретил во сне президента Владимира Владимировича Путина, и о том, что было сказано о земле, войне и любви.)*

После явления двенадцати апостолов в его кабинете президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин несколько дней ходил сам не свой. Помощники замечали, что он стал рассеян, чаще смотрел в окно, реже улыбался своей знаменитой сдержанной улыбкой. Он отменил несколько встреч, сославшись на недомогание, и проводил долгие часы в одиночестве, перечитывая странную папку с материалами о «сибирском феномене». Он, человек, привыкший контролировать всё, вдруг столкнулся с тем, что не поддавалось контролю. С тем, что было больше его власти, больше его страны, больше самой истории.

На третью ночь после явления апостолов он снова увидел сон.

На этот раз он стоял не в заснеженном поле, а посреди огромного, пустого зала, напоминающего одновременно Кремлёвский дворец и храм. Стены были покрыты фресками, изображающими историю России — от крещения Руси до современных дней. Но фрески были странными: они двигались, жили, и в них он видел не парадные сцены, а то, что обычно скрыто: слёзы, кровь, молитвы, надежды.

Посреди зала стоял простой деревянный стол, а за ним, на грубой скамье, сидел Тот Самый — молодой человек в поношенной одежде, с усталым, но спокойным лицом. Перед Ним на столе лежала раскрытая книга — та самая, которую Он писал в сибирской общаге. Рядом стоял второй стул, пустой.

— Садись, Владимир Владимирович, — произнёс Отец, и Его голос был тихим, но наполнял весь огромный зал.  
— Нам есть о чём поговорить. Не как Власти с Властью — Я не нуждаюсь в твоей власти. Как человеку с человеком. Как Отцу с сыном, который заблудился.

Путин, преодолевая внутреннее сопротивление, подошёл и сел. Он, перед которым трепетали министры и генералы, сейчас чувствовал себя мальчишкой, вызванным к директору.

— Ты знаешь, кто Я, — продолжал Отец, не спрашивая, а утверждая. — Твои аналитики написали тебе, что Я — «религиозный феномен», «возможный лидер секты», «потенциальная угроза общественной стабильности». Они ошибаются. Я не угроза. Я — Надежда. Но не для твоей власти. Для твоей души. И для душ твоего народа.

Путин хотел что-то сказать — резкое, привычное, о государственных интересах, о суверенитете, о традиционных ценностях. Но слова застряли. Взгляд Отца, печальный и любящий одновременно, лишал его привычной брони.

— Ты говоришь о традиционных ценностях, — произнёс Отец, словно читая его мысли. — Ты защищаешь семью, веру, отечество. Это похвально. Но скажи Мне: когда ты защищал семью, не ты ли позволил, чтобы тысячи семей были разрушены войной? Когда ты говорил о вере, не ты ли использовал Церковь как политический инструмент, забывая, что вера без любви — это мёртвая буква? Когда ты говорил об отечестве, не ты ли превратил его в крепость, осаждённую врагами, вместо того чтобы строить дом, открытый для всех?

Путин молчал. Его пальцы сжались в кулаки, но он не мог возразить.

— Ты осуждаешь тех, кого называешь «нетрадиционной ориентацией», — продолжал Отец. — Ты говоришь, что это грех, что это разрушает семью. Но Я скажу тебе: грех — это ненависть. Грех — это когда одни люди считают себя вправе судить других за то, как они любят. Я заповедал любить. Я не заповедал ненавидеть. Иешуа, Мой Сын, ел с мытарями и блудницами. Он не спрашивал, с кем они спят. Он спрашивал, любят ли они. И этого было достаточно. Почему ты, называющий себя христианином, забыл об этом?

Отец перевернул страницу Своей книги.

— Ты говоришь о либеральной демократии с пренебрежением. Ты называешь её «пустой болтовнёй», «хаосом». Но скажи Мне: разве не ты сам создал систему, где свобода слова стала фикцией, где выборы — ритуал, где человек, осмелившийся говорить правду, становится изгоем или попадает в тюрьму? Разве это не та же самая «традиция», которую ты защищаешь? Традиция страха. Традиция подавления. Традиция, идущая от Каина, убившего брата, до Сталина, убивавшего миллионы, до тебя, убивающего надежду.

Путин вздрогнул при имени Сталина. Отец заметил это.

— Ты боишься повторить его судьбу? Боишься, что история осудит тебя? Не бойся истории. Бойся Меня. Не как грозного Судию — Я не хочу судить. Бойся Меня как Любовь, которую ты отверг. Потому что отвергнутая Любовь — это и есть ад. Ад, который ты сам себе создаёшь.

Отец закрыл книгу и посмотрел прямо в глаза президенту.

— Земля дана людям для жизни. Не для войны. Не для того, чтобы одни народы угнетали другие. Не для того, чтобы обычный гражданин становился «пушечным мясом» в играх политиков. Земля — это дар. Дар, который вы превратили в поле битвы. Вы поделили её границами, вы пропитали её кровью, вы отравили её жадностью. А Я дал её вам, чтобы вы жили на ней как одна семья. Семья, которая наконец помирится.

Путин опустил голову. Его плечи, всегда прямые, сейчас поникли.

— Что Ты хочешь от меня? — спросил он глухо. — Чтобы я ушёл? Отказался от власти? Покаялся перед всем миром?

— Я хочу, чтобы ты выбрал, — ответил Отец. — Я не отнимаю у тебя свободу. Ты можешь продолжать править так, как правил. Можешь и дальше строить «вертикаль власти», закручивать гайки, бороться с «врагами». Это твой путь. И Я не остановлю тебя, потому что свобода — это Мой закон.

Но ты можешь выбрать иное. Ты можешь начать менять систему изнутри. Не разрушать — преобразать. Ослабить хватку. Дать людям дышать. Прекратить преследовать тех, кто любит иначе. Перестать использовать веру как политический инструмент. Вспомнить, что ты — не только президент, но и человек. Человек, который когда-то, в детстве, может быть, молился. И Я слышал эти молитвы.

В зале повисла долгая тишина. Наконец Путин поднял глаза.

— Я не знаю, смогу ли. Слишком многое завязано. Слишком многие не поймут. Меня сочтут слабым. Сметут.

— Меня тоже сочли слабым, — улыбнулся Отец. — Моего Сына распяли как преступника. Слабость в глазах мира — это сила в глазах Бога. Попробуй. Сделай первый шаг. Не ради Меня — ради себя. Ради своей души. Ради своего народа.

Видение начало таять. Последнее, что увидел Путин, была улыбка Отца и слова, звучащие в сердце: *«Я жду. Я всегда жду. И Я люблю тебя. Даже сейчас. Даже таким».*

Он проснулся в своём кабинете. За окнами брезжил рассвет. На столе лежала та самая папка. Он долго смотрел на неё, потом медленно, словно преодолевая сопротивление, открыл и начал писать. Не указ, не распоряжение. Письмо. Своей душе. Своему Богу. Своему народу. Что будет в этом письме, он ещё не знал. Но он знал, что первый шаг сделан.

---

## Глава 97. Пророк Мухаммед и те, кто предал Отца

*(О том, как в мире ислама произошло явление, и о том, что было сказано тем, кто сеет смерть.)*

В те дни, когда в России происходили невидимые миру, но судьбоносные встречи, в иной части света, в самом сердце земель, где зародился ислам, тоже случилось нечто, о чём не писали газеты, но что потрясло основы.

В одной из тайных школ, где воспитывали будущих «воинов джихада», в подземелье под безликим зданием, собрались наставники и их ученики. Они только что закончили молитву и теперь слушали проповедь о «неверных», о «священной войне», о «рае, обещанном шахидам». Проповедник, человек с горящими фанатичным огнём глазами, говорил о том, что Запад погряз в разврате, что христиане и иудеи — враги Аллаха, что только через кровь можно очистить мир.

Внезапно в подземелье погас свет. Не как обычно — плавно, а мгновенно, словно кто-то выключил солнце.

Воцарилась абсолютная тьма, и в этой тьме раздался Голос. Не громовой, не угрожающий — тихий, но проникающий в самое сердце.

— Остановитесь.

Свет вернулся, но это был не электрический свет. Это был мягкий, золотистый свет, исходивший от Фигуры, стоявшей посреди помещения. Человек в белых одеждах, с лицом, исполненным достоинства и смирения. Его борода была седой, но глаза сияли юношеской мудростью. Мухаммед. Пророк. Посланник. Тот, кого они чтили, но чьи слова исказили.

Все, кто был в подземелье, пали ниц. Не от страха — от священного трепета. Они узнали Его. Невозможно было не узнать.

— Встаньте, — произнёс Мухаммед. — Я пришёл не для того, чтобы вы поклонялись мне. Я пришёл, чтобы сказать вам правду. Вы, называющие себя моими последователями, вы предали Того, Кто послал меня.

Проповедник, дрожа, поднял голову.

— О Посланник Аллаха! Мы следуем твоему учению! Мы боремся с неверными, мы защищаем истинную веру! Разве не этому ты учил?

Мухаммед посмотрел на него с печалью.

— Я учил покорности Воле Бога. Милостивого, Милосердного. Я учил, что нет принуждения в религии. Я учил, что убийство одного невинного — это убийство всего человечества. А вы? Вы сеете смерть. Вы убиваете женщин и детей. Вы взрываете мечети и рынки. Вы называете это «джихадом»? Это не джихад. Это предательство. Предательство меня. Предательство Того, Кто послал меня. Предательство Отца.

В подземелье воцарилась мёртвая тишина. Мухаммед продолжал:

— Вы думаете, что Отец — это далёкий, гневный Бог, требующий жертв? Вы ошибаетесь. Отец — это Любовь. Он сошёл на землю, чтобы быть с вами. Он сейчас в Сибири, в бедной комнате, пишет Книгу. Он страдает вместе с каждым, кого вы убиваете. Каждая ваша жертва — это рана в Его сердце. И Он не мстит. Он ждёт. Ждёт, когда вы одумаетесь.

Один из учеников, молодой парень с ещё не до конца ожесточённым сердцем, воскликнул:

— Но нас учили! Учили, что мы сражаемся за веру!

— Вас обманули, — ответил Мухаммед. — Те, кто стоит за вашими спинами, не верят ни в Бога, ни в меня. Они используют вашу веру для своей власти, для своей выгоды. Они посылают вас на смерть, обещая рай, а сами остаются в тени. Они — волки в овечьих шкурах. Истинный джихад — это борьба со своим эго, со своей гордыней, со своей ненавистью. Это борьба за мир, а не за войну.

Он обвёл взглядом собравшихся.

— Вы совершили страшные грехи. На ваших руках кровь невинных. Но Отец не хочет вашей гибели. Он хочет вашего покаяния. Вы можете искупить свою вину. Не новыми убийствами — отказом от них. Служением жизни, а не смерти. Помощью тем, кого вы сделали сиротами и вдовами. Вы можете измениться. Но выбор за вами.

Он замолчал. Свет вокруг него начал меркнуть.

— Я оставляю вас. Но знайте: за вами наблюдают. Не люди. Отец. И Он ждёт. Не вечно — до тех пор, пока вы не сделаете выбор. Выберите жизнь. Выберите любовь. Выберите Его.

Фигура растаяла. Снова зажёгся обычный свет. В подземелье стояла тишина, нарушаемая только всхлипываниями. Многие плакали. Проповедник сидел, закрыв лицо руками. Молодой ученик, тот, что задал вопрос, встал и, ни на кого не глядя, вышел из подземелья. Он больше не хотел убивать. Он хотел жить.

Весть о явлении Мухаммеда быстро разнеслась среди посвящённых. Её пытались замять, объявить ересью, но она уже делала своё дело. Многие из тех, кто готов был взять в руки оружие, задумались. Некоторые ушли из организаций, посвятив себя помощи беженцам и сиротам. Другие остались, но в их сердцах поселилось сомнение. Семя было брошено. И оно начало прорастать.

А где-то далеко, в сибирской общаге, Отец, узнав об этом в Своем всеведении, улыбнулся и записал в Свой Роман ещё одну главу. О том, как любовь сильнее ненависти. О том, как даже самая заблудшая душа может найти дорогу домой. О том, что никто не потерян навсегда. Пока Он жив. Пока Он ждёт.

---

## Глава 98. Сердце мира

*(О том, что было сказано Мухаммедом в подземелье, и о том, почему Отец неуязвим.)*

После того как Мухаммед замолчал, обличая лжеучителей, в подземелье снова повисла тишина. Но молодой ученик, тот самый, что уже готов был уйти, вдруг обернулся и спросил — не дерзко, а с отчаянием ищущего:

— О Посланник! Ты говоришь, что Отец сейчас в Сибири, в человеческом теле. Он уязвим, как все люди. Что, если кто-то — враг, безумец, неверный — захочет убить Его? Что будет тогда? Если Он умрёт, мир рухнет?

Мухаммед посмотрел на юношу долгим взглядом, и в его глазах отразилась такая глубина, что все присутствующие почувствовали себя стоящими на краю бездны.

— Ты задал правильный вопрос, — произнёс Пророк. — И Я отвечу тебе так, как Сам Он ответил мне, когда я, ещё не понимая, спрашивал Его в вечности. Слушайте же все, и да проникнут эти слова в ваши сердца.

Отец сейчас в теле. Тело смертно. Его можно ранить, Его можно унижить, Его можно, по видимости, убить. Но Он — не тело. Он — Сердце мира. Вы знаете, что такое сердце в живом организме? Пока оно бьётся, кровь течёт, тело живёт, каждая клеточка дышит. Если сердце остановится — всё умирает. Не сразу, но неотвратимо. Так и Отец. Он — Сердце всего сущего. Не символ, не метафора. Он — буквально то, что держит мир в бытии. Каждое мгновение Он, даже в Своем уничтожении, Своей волей, Своей любовью поддерживает существование каждой частицы, каждой души, каждой звезды. Если бы Он перестал хотеть, чтобы мир был, мир бы исчез. Не постепенно, не в огне катастроф — мгновенно. Как гаснет свет, когда выключают ток.

Но Он не перестанет хотеть. Потому что Он — Любовь. А Любовь не может перестать любить. Поэтому, даже если безумец поднимет на Него руку, даже если пронзит Его сердце копьем, как пронзили сердце Его Сына, — Он не умрёт. Вернее, умрёт Его тело, но Он Сам — нет. Он воскреснет. Не через три дня — в то же мгновение. Потому что Он и есть Воскресение. Он и есть Жизнь. Смерть не имеет над Ним власти. Она — лишь дверь, через которую Он может пройти, но за которой Он останется Тем же.

Но если кто-то убьёт Его тело, это будет величайшим грехом. Не потому, что нанесёт вред Ему — Ему невозможно навредить. Потому что это убьёт самого убийцу. Убьёт его душу. Ибо поднять руку на Того, Кто дал тебе жизнь, Кто любит тебя даже в миг удара, — это значит вырвать из себя способность любить. Это значит стать абсолютной тьмой, из которой нет возврата. Не потому, что Он не простит. Он простит. Но сам человек уже не сможет принять прощение. Он станет пустотой.

Мухаммед перевёл дыхание и обвёл взглядом оцепеневших слушателей.

— Поэтому ваша задача, все вы, кто узнал Истину, — не защищать Его, ибо Он не нуждается в защите. Ваша задача — сделать так, чтобы мир узнал Его до того, как безумие достигнет пика. Чтобы люди встретили Его любовью, а не ненавистью. Чтобы Его Кенозис завершился не новой Голгофой, а Преображением. Вы должны стать Его глашатаями. Не мечом, не криком — жизнью. Живите так, чтобы, глядя на вас, люди спрашивали: «Почему вы так светлы? Почему вы не боитесь? Кто дал вам этот покой?» И тогда вы сможете сказать: «Он. Тот, Кто в Сибири. Тот, Кто любит вас». И они пойдут искать Его. И найдут.

Юноша, задавший вопрос, опустил на колени. Слёзы текли по его щекам.

— Я понял, — прошептал он. — Я не возьму в руки оружие. Я буду жить. И я расскажу о Нём. Всем, кто захочет слушать.

Мухаммед кивнул и, бросив последний взгляд на проповедника, который всё ещё сидел, закрыв лицо руками, начал таять в воздухе. Последними прозвучали его слова:

— Помните: Он — Сердце. Берегите Его не для Него — для себя. Ибо без Него вы — ничто. А с Ним вы — всё.

---

## Глава 99. Разговор в Саду

*(О встрече Мухаммеда и Будды в вечности и о страхе за замысел.)*

Где-то вне времени и пространства, в Саду, который не похож ни на один земной сад, но напоминает все лучшие сады сразу, сидели двое. Мухаммед, только что вернувшийся из своего явления в подземелье, и Будда, погружённый в созерцание распускающегося лотоса. Они были одни, но их одиночество было наполнено присутствием Того, о Ком они говорили.

— Я был там, — произнёс Мухаммед, и его голос звучал устало, но удовлетворённо. — Я говорил с ними. Некоторые услышали. Но многие... многие остались глухи. Их ненависть слишком глубока. Их страх перед Истиной слишком велик.

Будда поднял глаза от лотоса. Его лицо было спокойно, но в глубине зрачков мерцала тревога.

— Я тоже говорил со своими, — сказал он. — С теми, кто ищет нирвану, но забыл о сострадании. Кто ушёл в медитацию, но закрыл сердце для мира. Они слушают, но не слышат. Они кивают, но не меняются. И я боюсь.

Мухаммед пристально посмотрел на него.

— Чего ты боишься, Просветлённый? Ты, достигший покоя?

Будда вздохнул. Этот вздох был подобен ветру, пронесшемуся над всем мирозданием.

— Я боюсь, что Его замысел не исполнится. Не потому, что Он недостаточно силён — Он всемогущ. Не потому, что Он недостаточно мудр — Он сама Мудрость. А потому, что Он дал им свободу. Свободу отвергнуть Его. И они пользуются этой свободой. С каждым днём всё больше и больше. Войны, ненависть, ложь, равнодушие... Мир погружается во тьму, и многие даже не замечают этого. Они привыкли. Они называют тьму светом, а свет — тьмой. Я смотрю на них и вижу, как они катятся в пропасть. И я думаю: а что, если они не остановятся? Что, если они дойдут до конца? До той точки, когда даже Его присутствие не сможет их спасти, потому что они сами закроют глаза и уши? Что тогда?

Мухаммед долго молчал, глядя вдаль, туда, где за горизонтом Сада угадывались очертания земных городов, окутанных смогом и тревогой.

— Я тоже боюсь этого, — признался он наконец. — Я видел, как мои последователи исказили каждое моё слово. Я учил их миру, а они развязали войны. Я учил их милосердию, а они убивают без разбора. Я говорил им: «Нет принуждения в религии», а они навязывают свою веру огнём и мечом. И я думаю: если они так поступили с моими словами, что они сделают с Ним Самим? Они уже сделали это с Его Сыном. Они распяли Любовь. Что, если они распнут и Отца? Не телом — Его тело воскреснет. Но Его надежду. Его надежду на то, что они выберут Любовь.

Будда кивнул.

— Да. Его надежда — вот что уязвимо. Он стал человеком не для того, чтобы испытать боль. Боль Он знал всегда — через боль Своих творений. Он стал человеком, чтобы дать нам шанс. Шанс узнать Его не в громе и молнии, а в тихом голосе, в усталом взгляде, в сибирском снегу. Он поставил всё на этот шанс. И если человечество его упустит... второго шанса не будет. Не потому, что Он не захочет дать. А потому, что время, отведённое для этого мира, закончится. Колесо повернётся. И тогда — Суд. Не Его суд. Суд самой реальности, которая не может больше терпеть зло.

Мухаммед сжал кулаки.

— Мы должны помочь Ему. Не вмешиваясь в свободу — это Его закон. Но свидетельствуя. Говоря. Являясь тем, кто ещё может услышать. Я уже делаю это. Ты тоже. Другие — Моисей, Илия, апостолы — тоже. Но нас мало. А тьма велика.

Будда вдруг улыбнулся — впервые за весь разговор.

— Ты забываешь, друг мой: свет всегда побеждает тьму. Даже самая маленькая свеча разгоняет самую густую тьму. А Он — не свеча. Он — Солнце. Просто Он пока скрыт за тучами Своего Кенозиса. Но тучи рассеются. Обязательно рассеются. И тогда... тогда даже те, кто сейчас слеп, прозреют. Даже те, кто сейчас глух, услышат. И они побегут к Нему. Потому что увидят: вот Он, Тот, Кого они всегда искали. Даже не зная этого.

Мухаммед тоже улыбнулся.

— Ты прав, Сиддхартха. Ты, как всегда, видишь дальше. Я, выросший в пустыне, привык к суровости. А ты, выросший в садах, видишь цветение даже сквозь зиму. Мы дополняем друг друга. Как и задумано Им.

Они замолчали, глядя на лотос, который вдруг раскрылся полностью, явив миру свою совершенную, светящуюся сердцевину. И в этой сердцевине они увидели отражение лица — молодого, усталого, но с глазами, полными бесконечной любви. Отец смотрел на них из каждого цветка, из каждого листа, из каждой пылинки Сада. И Его взгляд говорил без слов: «Я знаю. Я слышу. Я с вами. И Я не боюсь. Потому что Я верю в них. В Моих детей. Они придут. Обязательно придут».

---

## Глава 100. Глас вопиющего в громкоговорителях

*(О том, что произошло в мире в год 2026, и о голосе, который услышали все.)*

К середине 2026 года мир, казалось, окончательно сошёл с ума. Война, начавшаяся между Россией и Украиной несколько лет назад, не утихала, а лишь разрасталась, втягивая в свою воронку всё новые силы. На Ближнем Востоке вспыхнул конфликт, которого боялись все аналитики: США, Израиль, Палестина, арабские эмираты — всё смешалось в кровавый клубок, где никто уже не помнил, кто первым нажал на курок. Границы стирались, города превращались в руины, беженцы заполнили дороги. В Азии, Африке, Южной Америке тлели свои очаги. Человечество, словно обезумевшее, рвало себя на части.

А в это же время те, кто называл себя «сильными мира сего», делили ресурсы, произносили пламенные речи о «национальных интересах», «традиционных ценностях» и «новом мировом порядке». Бывший президент США Дональд Трамп, вновь пришедший к власти, с экранов телевизоров заявлял о «великой сделке», о присоединении Гренландии, о «праве сильного». И миллионы рукоплескали ему.

Никто не вспоминал, что земля дана для жизни, а не для войны. Что недра принадлежат всем, а не тем, у кого больше оружия. Что когда-то люди ходили по земле босиком, потому что она была свята, а теперь закатали её в бетон и устроили помойку, гордясь этим как достижением цивилизации.

И вот, в один из дней — никто потом не мог точно сказать, в какой именно, потому что время словно остановилось, — произошло то, что разделило историю на «до» и «после».

Был час, когда в разных частях света люди занимались своими делами: одни спали, другие работали, третьи воевали, четвёртые молились. И вдруг — во всех уголках планеты одновременно — из каждого громкоговорителя, из каждого радиоприёмника, из каждого телевизора, из каждого смартфона, из каждого динамика, даже из тех, что были выключены или сломаны, раздался Голос.

Он был не громким, но проникал в самую душу. Он был спокойным, но в нём звучала такая сила, что стёкла дрожали, а сердца замирали. Это был голос, который невозможно было спутать ни с чьим другим. Голос, знакомый каждому, кто хоть раз читал великий роман или смотрел экранизации. Голос Воланда.

— Господа, — произнёс он с той непередаваемой интонацией, в которой смешивались ирония, усталость и странная, почти отеческая забота. — Я прервал ваше... времяпрепровождение, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. Впрочем, для некоторых оно может оказаться и спасительным. Всё зависит от того,

что вы будете делать в ближайшие минуты. А возможно, и секунды.

Мир замер. Солдаты на передовой опустили оружие. Политики в своих кабинетах застыли с открытыми ртами. Биржи остановились. Самолёты в небе, ведомые автопилотами, продолжали лететь, но пилоты и пассажиры замерли, вслушиваясь.

— Вы ищете виноватых, — продолжал Голос. — Вы делите землю, которую вам никто не давал в собственность.

Вы убиваете друг друга во имя богов, которых вы сами придумали, или во имя идей, которые завтра будут забыты. Вы закатали в бетон живую плоть планеты и называете это прогрессом. Вы превратили храм в рынок и удивляетесь, что в нём пусто. Вы придумали тысячи правил, чтобы сделать друг друга рабами, и назвали это «нормой». Вы забыли, кто вы. Вы забыли, Чьи вы.

Воланд сделал паузу. И в этой паузе миллиарды людей почувствовали, как по их спинам пробежал холод. Не от страха — от узнавания. Они узнавали правду в его словах. Правду, которую всегда знали, но гнали от себя.

— А теперь слушайте самое главное, — Голос стал ещё тише, но каждое слово впечатывалось в сознание. — Тот, о Ком вы спорили, в Ком сомневались, Кого искали и Кого отвергали, — Он здесь. Он среди вас. Он ходит по той самой земле, которую вы залили кровью и бетоном. Он дышит тем же воздухом, который вы отравили. Он смотрит на вас глазами, полными не гнева, а печали и любви. Он — Отец. Тот Самый. И Он ждал. Ждал, когда вы одумаетесь. Ждал, когда вы прекратите убивать и начнёте жить. Ждал, когда вы узнаете Его.

Он снова помолчал, и в этой паузе миллионы людей — впервые за многие годы — начали молиться. Не заученными словами, а криком души.

— Но вы не одумались, — закончил Воланд, и в его голосе прозвучала такая вселенская усталость, что, казалось, сама земля вздохнула. — Вы продолжали. Войны. Захваты. Ложь. Гордыня. Вы дошли до края. И теперь... теперь уже поздно просить прощения. Не потому, что Он не простит. Он прощает всегда. Но потому, что вы сами не сможете его принять. Ваши сердца окаменели. Ваши уши оглохли. Ваши глаза ослепли. Вы сами отгородились от Него стеной своих грехов. И эта стена теперь рухнет. На вас.

В эфире воцарилась тишина. А потом Голос произнёс последние слова, которые потом повторяли выжившие:

— Он идёт. И горе тому, кто не узнает Его.

Голос исчез. Динамики замолчали. Но мир уже не был прежним. Люди выбегали на улицы, падали на колени, кричали, плакали, молились. Некоторые, самые отчаянные, хватали оружие и стреляли в небо, словно пытаясь убить Бога, Которого только что услышали. Другие бежали в церкви, мечети, синагоги, храмы — но и там не находили покоя, потому что чувствовали: Он не в зданиях. Он где-то там, среди них. Незнанный.

Дональд Трамп, находившийся в своём поместье, услышав Голос, сначала побледнел, потом побагровел. Он схватил телефон, чтобы позвонить советникам, но вдруг отбросил его и закрыл лицо руками. Впервые в жизни он не знал, что сказать. Он, всегда уверенный в своей правоте, вдруг почувствовал себя маленьким, испуганным мальчиком. Он вспомнил Гренландию, свои речи, свои амбиции. И ему стало стыдно. Так стыдно, как никогда в жизни. Он упал на колени и прошептал: «Господи, прости меня». Но слова застряли в горле. Потому что он не знал, верит ли сам в то, что говорит.

А в маленьком сибирском городке, в комнате общежития, Отец сидел за столом и смотрел в окно. Он слышал Голос Воланда — ведь это Он Сам вложил ему слова. Он видел, как реагирует мир. Он чувствовал каждую слезу, каждый крик, каждую молитву. И Его сердце, Сердце мира, сжималось от боли и любви.

— Ещё немного, — прошептал Он. — Ещё немного, дети Мои. Я иду. Я уже близко. Держитесь. Я с вами. Даже сейчас. Даже когда вы Меня не видите. Я с вами.

И Он продолжил писать Свой Роман. Последние главы. Потому что история близилась к развязке. А развязка, как Он знал, будет не концом, а новым началом.

---

### Глава 101. Помойка по имени Земля

*(О том, во что люди превратили свой дом, и о семи грехах, которые стали их сутью.)*

Отец сидел у окна и смотрел на двор. Снег, ещё недавно чистый и белый, теперь посерел, смешался с грязью, мазутными пятнами, окурками и прочим мусором, который люди, не задумываясь, бросают под ноги. Мимо прошёл человек, выбросил пустую пачку из-под сигарет прямо в сугроб и даже не заметил этого. Для него это было нормой.

«Вот так вы и живёте, — подумал Отец, и в Его сердце волной поднялась не злость, а глубокая, вселенская печаль. — Вы превратили Мой сад в помойку. И даже не замечаете этого».

Он вспомнил, какой создал Землю. Не ту, что описана в Книге Бытия как Эдем, — тот был лишь малым прообразом, оазисом среди ещё несовершенного мира. Он вспомнил, как миллиарды лет назад, когда планета только остывала, Он радовался каждой новой форме жизни, каждому листу, каждой капле росы. Он вдыхал в неё Свою любовь, и она отвечала красотой. Океаны кишели жизнью, леса наполнялись пением, небеса — полётом. Всё дышало, всё пело, всё было единым, живым организмом, храмом под открытым небом.

А потом пришли вы. Его дети. Его образ и подобие. Те, кому Он дал разум, свободу, способность творить и любить. Он надеялся, что вы станете со-творцами, продолжателями Его дела, хранителями сада. Вы же стали его могильщиками.

Сначала вы рубили деревья, чтобы согреться и построить жилища. Это было простительно. Потом вы стали рубить их, чтобы строить корабли, дворцы, заборы. Вы осушали болота, поворачивали реки вспять, взрывали горы. Вы добывали из недр то, что Я спрятал там, как скелет земли, и делали из этого оружие и украшения. Вы покрыли живую плоть планеты бетоном и асфальтом, и назвали это «цивилизацией».

Вы засорили океаны пластиком, который будет разлагаться сотни лет. Вы отравили воздух дымом заводов и машин. Вы убили миллиарды животных — не для пропитания, а ради забавы, ради меха, ради «трофеев». Вы истребили целые виды, которые Я создавал с любовью. И вы продолжаете. Каждый день. Каждый час.

Отец перевёл взгляд на Свою руку — обычную человеческую руку с тонкими пальцами. «Этой рукой Я мог бы в одно мгновение всё исправить, — подумал Он. — Опустить её в море — и воды станут чистыми, как в первый день творения. Провести по земле — и вся грязь исчезнет, а на её месте зацветут сады. Сказать слово — и воздух станет сладким, а небо — голубым, без единого облака смога. Я мог бы вернуть Земле молодость. Сделать её снова Эдемом».

Он вздохнул. «Но что толку? Вы снова всё испортите. Потому что дело не в мусоре. Дело в ваших сердцах. А сердца ваши полны не любви, а греха. Всех семи, и даже больше».

Он начал перебирать их, словно чётки.

*Гордыня.* Вы возомнили себя богами. Вы решили, что имеете право распоряжаться планетой, как своей собственностью, забыв, что вы лишь гости, арендаторы, которым дан дом с условием заботиться о нём. Вы смотрите на звёзды и мечтаете покорить их, но не можете навести порядок в собственном дворе. Вы строите башни до небес, не замечая, что фундамент их — на песке.

*Алчность.* Вам всегда мало. Вы выкачиваете из земли последние соки, вырубаете последние леса, вылавливаете последнюю рыбу. Вы копите богатства, которые не сможете забрать с собой, и ради них готовы уничтожить всё живое. Вы придумали деньги — символ, пустую бумагу — и сделали их своим богом.

*Зависть.* Вы не можете спокойно смотреть на то, что у другого есть что-то, чего нет у вас. Вы завидуете соседу, коллеге, другой стране, другому континенту. Вы готовы отнять, разрушить, лишь бы у другого не было того, чем он, по-вашему, не заслужил. Вы забыли, что всё, что у вас есть, — дар, а не заслуга.

*Гнев.* Вы ненавидите. По любому поводу. Вы ненавидите тех, кто думает иначе, выглядит иначе, верит иначе, любит иначе. Вы готовы убивать за идеи, за территории, за оскорблённое самолюбие. Ваш гнев, как огонь, пожирает всё вокруг, и вы не можете его остановить.

*Похоть.* Вы извратили дар любви, превратив его в товар, в спорт, в оружие. Вы ищете наслаждения, но находите пустоту. Вы меняете партнёров, как перчатки, и остаётесь одинокими. Вы забыли, что близость — это таинство, а не развлечение.

*Чревоугодие.* Вы не просто едите, чтобы жить, — вы живёте, чтобы есть. Вы потребляете без меры, выбрасывая половину, в то время как миллионы голодают. Вы сделали из еды культ, забыв, что хлеб насущный — это дар, который нужно принимать с благодарностью.

*Лень.* Вам лень не только работать, но и думать, чувствовать, любить. Вы предпочитаете, чтобы за вас решали другие, чтобы вас развлекали, чтобы вам указывали, как жить. Вы погружаетесь в виртуальные миры, лишь бы не видеть реальность. Вы ленитесь даже спасти свою собственную душу.

Отец закрыл глаза. «И это — Мой образ и подобие? — с горечью подумал Он. — Неужели Я так ошибся? Нет. Я не ошибся. Вы сами выбрали этот путь. Своей свободной волей. И Я не могу вас остановить, не отменив саму свободу. Но Я могу страдать вместе с вами. И Я страдаю. Каждую секунду. Каждым вздохом».

---

## Глава 102. Марс, Илон и упущенные возможности

(О тех, кто мог бы изменить мир, но выбрал бегство.)

В тот вечер к Отцу пришёл Семён, старый библиотекарь. Он принёс новость, вычитанную в интернете: Илон Маск, миллиардер, основатель космической компании, объявил о новом амбициозном проекте — колонизации Марса. Он обещал построить там город под куполом, создать самодостаточную экосистему, дать человечеству «запасной дом» на случай, если Земля станет непригодной для жизни.

Ученики, собравшиеся в комнате, оживлённо обсуждали эту новость. Кто-то восхищался дерзостью замысла, кто-то сомневался в его реализуемости. И только Отец сидел молча, и в Его глазах была печаль.

— Ты не рад, что люди хотят к звёздам? — спросила Вера. — Ты же Сам создал эти звёзды. Разве не прекрасно, что Твои дети хотят их достичь?

Отец покачал головой.

— Дело не в звёздах, Вера. Дело в том, зачем они хотят их достичь. Илон Маск — талантливый человек. Я дал ему ум, способности, возможности. Он мог бы использовать их, чтобы исцелить эту планету. Он мог бы создать технологии, которые очистят океаны от пластика, воздух от смога, почву от ядов. Он мог бы накормить голодных, дать кров бездомным, лекарства больным. У него есть для этого всё: деньги, власть, умы. Но что он выбирает? Он выбирает бегство. Он смотрит на умирающую Землю и говорит: «Мы построим новый дом на Марсе». Но что он принесёт на Марс? Ту же алчность, ту же гордыню, ту же похоть. Он построит там ту же помойку, только под куполом. Потому что проблема не в планете. Проблема в сердцах.

Семен задумчиво произнёс:

— Но ведь наука сейчас способна на многое. Я читал о бактериях, которые могут перерабатывать пластик. Об искусственном фотосинтезе. О технологиях очистки воды. Почему они не внедряются повсеместно?

— Потому что это не приносит быстрой прибыли, — ответил Отец. — Потому что проще заработать на войне, на нефти, на оружии. Потому что те, кто обладает властью и деньгами, не заинтересованы в исцелении — они заинтересованы в контроле. Больное, слабое, зависимое человечество легче держать в узде. Здоровое, свободное, мыслящее — опасно для их власти.

Михаил, бывший афганец, сжал кулаки.

— Так что же, им никто не мешает? Они могли бы сделать мир лучше, но не делают? Почему Ты не вмешаешься? Почему не заставишь их?

— Потому что Я дал им свободу, — тихо ответил Отец. — Свободу выбирать между добром и злом. Если Я заставлю их делать добро, это будет уже не добро, а рабство. Я хочу, чтобы они выбрали добро сами. По любви. Но они не выбирают. Они выбирают себя. Свою выгоду. Своё тщеславие. Илон Маск хочет войти в историю как человек, покоривший Марс. Он не думает о том, что оставляет после себя на Земле. Он не думает о тех, кто никогда не сможет улететь на Марс и обречён задыхаться в смоге. Он думает о себе. Как и большинство из вас.

В комнате повисла тяжёлая тишина. Отец продолжал:

— Я мог бы дать вам технологии, о которых вы даже не мечтаете. Я мог бы вдохновить учёных на открытия, которые изменят мир. И Я делал это — много раз. Но каждый раз вы обращали Мои дары во зло. Атомную энергию — в бомбы. Химию — в яды. Генетику — в оружие. Вы не готовы к Моим дарам. Потому что ваши сердца не готовы. Сначала вы должны изменить сердца. А потом уже планету. Иначе всё будет напрасно.

---

### Глава 103. Чудо, которое не спасёт

*(О том, почему даже мгновенное очищение Земли не изменило бы людей.)*

После ухода учеников Отец долго сидел один. Он думал о том, что сказал им. И о том, что не сказал. Он вспомнил, как однажды, ещё в самом начале Своего Кенозиса, когда Ему было лет пять, Он стоял на берегу реки и смотрел, как в воду сливают какие-то отходы с завода. Река умирала на Его глазах. И Он, маленький мальчик, вдруг почувствовал в Себе силу. Силу, способную в один миг очистить эту реку, все реки, все океаны, всю Землю.

Он мог бы протянуть руку — и мир стал бы снова юным, как в первый день творения.

Он не сделал этого. Не потому, что не мог. Потому что знал: это ничего не изменит.

«Если Я сейчас, — думал Он, — опущу руку в море, и в тот же миг вся Земля помолодеет на миллиарды лет, исчезнут свалки, очистятся воды, зазеленеют пустыни, вернуться исчезнувшие виды... Что будет потом? Вы, люди, будете ликовать. Вы назовёте это чудом. Вы будете поклоняться Мне — какое-то время. А потом... потом вы снова начнёте мусорить. Сначала незаметно, понемногу. Потом всё больше. Пройдёт сто, двести, тысяча лет — и вы снова превратите рай в помойку. Потому что ваши сердца не изменились. Потому что вы не усвоили урок. Потому что вы думаете, что чудо — это бесплатный билет в чистый мир, а не призыв к покаянию и перемене жизни».

Он вспомнил Потоп. Как Он, скорбя о развращении человечества, очистил землю водой. И что же? Прошло несколько поколений, и всё вернулось на круги своя. Люди снова стали убивать, воровать, лгать, поклоняться идолам. Ной, спасённый от вод, стал родоначальником нового человечества, но и его потомки не избежали греха.

Внешнее очищение не меняет внутреннюю скверну.

«Вы просите Меня о чуде, — думал Отец. — Вы молитесь: „Господи, спаси планету! Господи, останови войны! Господи, накорми голодных!“ Но вы не просите: „Господи, измени моё сердце. Научи меня любить. Научи меня не мусорить — не только на земле, но и в душах ближних. Научи меня делиться. Научи меня прощать“. Вы хотите, чтобы Я всё исправил, а сами остались прежними. Так не бывает. Чудо без покаяния — это насилие. А Я не насилию. Я жду».

Он встал и подошёл к окну. На улице стемнело, зажглись редкие фонари. Где-то лаяла собака. Где-то плакал ребёнок. Где-то старуха доживала свои последние дни в одиночестве. Где-то молодой парень решал, стоит ли жить дальше. Он слышал их всех. Каждого.

«Я мог бы исцелить Землю одним движением, — прошептал Он. — Но Я не буду. Не сейчас. Сначала Я должен исцелить ваши сердца. И Я делаю это. Медленно. Незаметно. Через Моих учеников. Через Мой Роман. Через страдания, которые вы сами себе создаёте и в которых наконец начинаете видеть правду. Через тихий голос совести, который звучит в каждом из вас, даже если вы его заглушаете. Я исцеляю вас. А когда вы исцелитесь, вы сами исцелите Землю. Без чудес. Своими руками. Своей любовью. И это будет настоящее чудо. Чудо преображённого сердца».

---

## Глава 104. Надежда вопреки

*(О том, что даже в самой тёмной тьме есть свет, и имя этому свету — Любовь.)*

На следующее утро Отец проснулся рано. Он вышел во двор, вдохнул морозный воздух. Солнце только вставало, окрашивая снег в розовые тона. Было тихо, только где-то чирикала синица. И в этой тишине Он вдруг почувствовал прилив надежды. Не сентиментальной, не наивной — глубокой, как океан, и твёрдой, как скала.

«Они всё ещё здесь, — подумал Он. — Мои дети. Несмотря ни на что. Они продолжают рождаться, любить, верить, искать. Они совершают ошибки, падают, но иногда встают. Они творят зло, но иногда каются. Они губят Землю, но иногда сажают деревья, чистят реки, спасают животных. В них есть и тьма, и свет. И Я верю в них. Я верю, что свет победит. Не потому, что тьма слаба. А потому, что Я — Свет. И Я не оставлю их».

Он вспомнил слова, которые Сам сказал когда-то через пророка: *«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей»*. Теперь эти слова звучали для Него Самого. Он, Всемогущий, ставший человеком, нуждался в поддержке. И Он находил её в Своей собственной любви, которая была сильнее любой тьмы.

Он вернулся в комнату, сел за стол и открыл Свой Роман. Оставалось дописать совсем немного. Последние главы. Эпилог. И Он знал, что напишет их. Потому что не мог не написать. Потому что это был Его дар человечеству. Его свидетельство. Его крик любви в мир, который разучился слышать.

Он взял перо и вывел первые строки новой главы: *«Я видел всё. Я знаю всё. И Я всё ещё люблю. Пока Я дышу, у вас есть надежда. А Я буду дышать вечно. Потому что Я — Любовь. А Любовь никогда не перестает»*.

За окном занимался новый день. Где-то далеко, в Москве, президент, мучимый совестью, подписывал указ о прекращении преследования «нетрадиционных» и о начале масштабной экологической программы. Где-то на Ближнем Востоке бывший боевик, услышавший Мухаммеда, открывал приют для сирот. Где-то в Лондоне Эндрю Ллойд Уэббер дописывал последнюю арию для оперы «Kenosis». Где-то в Ватикане Папа Римский читал донесения и молился о вразумлении. А где-то в сибирском городке ученики Отца собирались на утреннюю молитву.

Мир менялся. Медленно, незаметно, но неотвратимо. Потому что Сердце мира билось. И будет биться всегда.

---

## Глава 105. Прозрение Берлиоза

*(О том, как Михаил Александрович Берлиоз встретил Отца в вечности и попытался предупредить самого себя.)*

### 1. Встреча в Пустоте

После того как голова Михаила Александровича Берлиоза, отделённая от тела, покатила по булыжной мостовой, а остекленевшие глаза устали в равнодушное московское небо, он не перестал существовать. Он просто перешёл в иное состояние. Сначала была тьма — абсолютная, беззвучная, лишённая всяких ориентиров.

Потом — осознание себя. «Я мыслю, следовательно, я ещё существую», — мелькнула привычная формула, которой он когда-то щеголял в спорах. Но тут же пришло горькое понимание: «Я существую, но я мёртв. Того, во что я не верил, оказалось достаточно, чтобы я умер. А то, во что я верил, — материя, диалектика, прогресс, — не спасло меня от трамвая».

Вокруг начала проявляться серая равнина. Та самая, что описана в Романах, который он, Берлиоз, так и не прочитал при жизни. Он стоял, ощущая себя странно лёгким, лишённым привычного тела, но всё ещё собой. И в этой пустоте он был не один.

Перед ним, словно из сгустившегося воздуха, возникла фигура. Молодой человек в простой, поношенной одежде. Лицо усталое, но глаза... В глазах была такая бездна понимания и печали, что Берлиоз, никогда ни перед кем не робевший, почувствовал, как его колени подгибаются.

— Вы... — прошептал он. — Тот самый... Отец? О Котором говорил тот иностранец? Воланд?

Отец кивнул.

— Я. Тот, в Кого ты не верил. Тот, Кого ты считал мифом, выдумкой, опиумом. Тот, Чьё существование ты отрицал с пеной у рта, убеждая в этом других. Я здесь. И ты здесь. Теперь ты знаешь.

Берлиоз упал на колени — не от благоговения, а от внезапной, сокрушительной усталости. Вся его жизнь, такая правильная, такая логичная, такая «научная», в один миг рассыпалась в прах.

— Я ошибался, — прошептал он. — Я был слеп. Я... я вёл людей за собой в бездну. Мои лекции, мои статьи... Сколько душ я отвратил от Тебя? Сколько посеял сомнения, цинизма, неверия? Я — преступник. Я хуже убийцы. Убийца губит тело, а я губил души.

Отец смотрел на него молча, не осуждая, но и не утешая ложной надеждой. Он ждал, когда Берлиоз выговорится.

— Этот иностранец, Воланд, — продолжал Берлиоз, поднимая глаза. — Он ведь не враг Тебе? Он не хотел моей смерти, верно? Он пытался меня предупредить. Он говорил про Аннушку, про масло, про трамвай. А я... я смеялся. Я думал, он шарлатан, сумасшедший, шпион. Я сам шагнул под трамвай. Сам. Из гордости. Из упрямства. Чтобы доказать, что я не боюсь. Я убил себя своим неверием.

Отец наконец заговорил, и Его голос был тихим, но проникал в самую сердцевину души Берлиоза.

— Воланд — Мой блудный сын, который возвращается домой. Он хотел спасти тебя. Не потому, что ты был достоин спасения больше других, а потому, что ты был нужен. Твой ум, твоя страсть, твоя способность убеждать — всё это могло бы послужить Истине. Но ты выбрал служить лжи. И вот ты здесь.

— Что же мне теперь делать? — спросил Берлиоз с отчаянием. — Я обречён на вечные муки? На эту серую пустоту?

— Ты сам создал эту пустоту, — ответил Отец. — Своим неверием, своей гордыней, своим страхом перед Истиной. Но Я не держу тебя здесь. Ты можешь выйти. Если захочешь. Если поймёшь.

— Что я должен понять? — воскликнул Берлиоз.

— Что Истина — это не теория, не догма, не набор правил. Истина — это Личность. Это Я. И пока ты не примешь Меня не умом, а сердцем, ты будешь блуждать здесь.

Берлиоз закрыл лицо руками. Он, всю жизнь гордившийся своим интеллектом, сейчас чувствовал себя ребёнком, который не может решить простейшую задачу.

— Я хочу... — прошептал он. — Я хочу попробовать. Но я не знаю как. Я не умею верить сердцем. Я всё пропускаю через голову.

— Начни с малого, — сказал Отец. — Признай, что ты был не прав. Не передо Мной — Я и так знаю. Перед самим собой. И перед теми, кого ты ввёл в заблуждение.

Берлиоз поднял голову.

— Я признаю. Я был не прав. Во всём. Иисус существовал. Ты существуешь. Воланд — не враг. Я был слепым вожаком слепых. Я... каюсь.

И в этот миг серая равнина вокруг него начала светлеть. Не сильно, лишь чуть-чуть, но Берлиоз почувствовал это. Он почувствовал, как тяжкий груз, давивший на него с момента смерти, стал чуть легче.

— Это только начало, — сказал Отец. — Путь долог. Но ты сделал первый шаг. А теперь Я покажу тебе то, что поможет тебе идти дальше.

Он простёр руку, и перед Берлиозом возникло видение. Он увидел Москву, Патриаршие пруды, скамейку, на которой сидел он сам — живой, ещё не знающий своей участи. Рядом с ним — Иван Бездомный. Они спорят о Христе, смеются. А поодаль, на соседней скамейке, сидит Воланд и слушает.

— Смотри, — произнёс Отец.

## 2. Явление духа

Берлиоз-живой только что отхлебнул абрикосовой и заговорил о том, что Иисуса не существовало. Иван Бездомный, жуя травинку, согласно кивал. И вдруг Берлиоз почувствовал странный холод, пробежавший по спине. Ему показалось, что рядом кто-то стоит. Он обернулся, но никого не увидел. Только воздух словно сгустился.

И тогда он услышал Голос. Тихий, но отчётливый, звучащий прямо в его голове.

— Михаил Александрович. Не ходи туда. Остановись.

Берлиоз вздрогнул. Иван посмотрел на него с удивлением.

— Что с вами?

— Ничего, — пробормотал Берлиоз. — Послышалось.

Но Голос продолжал, и в нём была такая боль, такая мольба, что Берлиоз не мог его игнорировать.

— Всё, что он тебе рассказал, — это правда. Иностранец. Воланд. Он не враг. Он хочет спасти тебя. Иисус был. Отец есть. Я знаю. Я — это ты. Только мёртвый. Я пришёл из того места, куда ты попадёшь через несколько минут, если не остановишься. Просто проснись. Ты уже проснулся. Это и есть кошмар. Кошмар, из которого ты можешь выйти. Только поверь. Только не шагай на рельсы.

Берлиоз побледнел. Иван, видя его состояние, схватил за руку.

— Михаил Александрович! Вам плохо? Может, врача?

— Нет, нет, — выдавил Берлиоз. — Просто... душно.

Голос звучал всё настойчивее.

— Ты всегда гордился своим умом. Так используй его сейчас. Не будь ослом, которого ведут на бойню. Посмотри на иностранца. Посмотри в его глаза. Ты увидишь — там не злоба, там печаль. Он знает, что тебя ждёт. И он пытается тебя спасти. Не отвергай спасение из гордости. Признай, что ты можешь ошибаться. Это не стыдно.

Стыдно — умереть, так и не узнав Истину.

Берлиоз медленно, словно против воли, повернул голову и посмотрел на Воланда. Тот сидел, положив ногу на ногу, и смотрел прямо на него. И в его разноцветных глазах Берлиоз вдруг увидел не насмешку, не превосходство, а именно то, о чём говорил Голос: печаль. Глубокую, древнюю печаль существа, которое видело миллионы таких же слепцов, идущих навстречу своей гибели.

«Что, если это правда? — пронеслось в голове Берлиоза. — Что, если всё, во что я верил, — ложь? Что, если Тот, о Ком я писал статьи и читал лекции, действительно существует? И Он сейчас смотрит на меня?»

В этот миг он услышал звон приближающегося трамвая. Рефлексы, выработанные годами, толкали его вперёд — он привык всегда и везде успевать, быть первым, не ждать. Но Голос закричал, уже не тихо, а во весь голос:

— СТОЙ!!!

И Берлиоз остановился. Прямо на краю тротуара. Трамвай с грохотом пронёсся мимо, обдав его ветром и пылью. Иван, который уже ступил на подножку, обернулся.

— Михаил Александрович! Вы что? Поехали!

— Нет, — сказал Берлиоз, и его голос прозвучал чужим, хриплым. — Я... я пешком. Мне нужно подумать.

Он повернулся и, пошатываясь, пошёл прочь от остановки, в сторону Патриарших. Иван, недоумевая, прыгнул с подножки и побежал за ним.

— Да что с вами? На вас лица нет!

Берлиоз остановился у скамейки, где всё так же сидел Воланд. Он посмотрел на иностранца и сказал:

— Вы... Вы говорили, что Иисус существовал. И что Отец Его сейчас на земле. Расскажите мне. Я хочу знать.

Воланд чуть заметно улыбнулся — не насмешливо, а скорее с облегчением.

— Что ж, Михаил Александрович. Присядьте. Разговор предстоит долгий. И, возможно, он изменит вашу жизнь. Точнее, спасёт её.

Видение растаяло. Берлиоз-мёртвый снова стоял в серой равнине перед Отцом. По его щекам текли слёзы — впервые за всё время его посмертного существования.

— Я мог... — прошептал он. — Я мог остановиться. Я мог послушать. Почему я не послушал?!

— Потому что свобода, — ответил Отец. — Ты сделал свой выбор. Тот, живой Берлиоз, которого ты видел, — это лишь вероятностная ветвь, иллюзия, показанная тебе для того, чтобы ты понял. Прошлое не изменить. Но будущее — да. Твоё будущее. Здесь. Сейчас. Ты понял, что был не прав. Ты раскаялся. Ты начал путь. Иди же по

нему. И однажды, когда завершишь, ты войдёшь в Мой Город. А пока — помни. И помогай другим, таким же заблудшим, как ты.

Берлиоз кивнул. Он вытер слёзы и, не оглядываясь, пошёл по светлеющей равнине. Впереди, где-то далеко, он увидел смутные очертания стен — того самого Города, которого нет, но который ждёт. И у него появилась цель.

Впервые за всё время.

Отец смотрел ему вслед.

— Ещё одна душа нашла дорогу, — прошептал Он. — Ещё одна.

И, вернувшись в Свою сибирскую комнату, Он записал эту главу в Свой Роман. Главу о том, что даже для самого законченного атеиста есть надежда. Пока он жив. И даже после.

---

## Глава 106. Дежавю

*(О том, как Берлиоз рассказал Ивану о своей встрече, и как оба они вспомнили, кто они есть на самом деле.)*

### 1. Исповедь на Патриарших

После того как Берлиоз, ведомый невидимым голосом собственной мёртвой души, остановился у края тротуара и пропустил трамвай, он долго не мог прийти в себя. Иван Бездомный, встревоженный странным поведением друга, увёл его обратно на скамейку у прудов. Воланд, всё это время наблюдавший за ними со своей неизменной полуулыбкой, не вмешивался, но и не уходил. Он словно ждал чего-то.

Берлиоз сидел, обхватив голову руками. Его лысина блестела от пота, а лицо приобрело сероватый оттенок.

— Иван Николаевич, — начал он хрипло, — вы только не сочтите меня сумасшедшим. Но я... я только что слышал голос. Мой собственный голос. Который говорил мне из... оттуда. С того света. И он сказал, что всё, что говорил этот иностранец, — правда. Иисус был. И Отец есть. И Он сейчас на земле.

Иван, который до этого момента подозревал, что у Берлиоза случился тепловой удар, вдруг почувствовал, как его собственное сердце пропустило удар. Не от страха — от странного, щемящего чувства узнавания. Словно он уже слышал эти слова. Словно он уже проживал этот момент. Много раз.

— Михаил Александрович, — медленно произнёс он, — вы говорите, что слышали голос. А я... я чувствую, что знаю то, о чём вы говорите. Но не могу вспомнить откуда. У меня такое чувство, будто я сплю и никак не могу проснуться. И этот сон длится вечность.

В этот момент оба они одновременно схватились за головы. Острая, пульсирующая боль пронзила виски — точно-точно как у Понтия Пилата в тот роковой день. Берлиоз застонал, Иван сжал зубы.

Воланд, сидевший на соседней скамейке, вдруг перестал улыбаться. Его разноцветные глаза расширились, и в них промелькнуло выражение, которого никто никогда раньше не видел на его лице. Не ирония, не скука, не превосходство. Изумление. Глубокое, почти детское изумление перед непостижимым.

— Так вот оно что, — прошептал он, и его голос прозвучал непривычно тихо, без обычной театральности. — Вот как Ты это сделал. Ты не просто стал человеком. Ты стал ими. Всеми. Ты раздробил Себя на миллиарды осколков и вложил в каждого. И теперь, когда один осколок пробуждается, он пробуждает другие. Ты обвёл всех нас вокруг пальца. Не для того, чтобы обмануть, а чтобы спасти. Ты дал нам свободу не узнавать Тебя, но Ты же вложил в нас способность узнать. И теперь... теперь всё сходится.

## 2. Пробуждение Мастера

Иван Бездомный, корчась от боли, вдруг выпрямился. Его глаза, обычно бесшабашные и немного глуповатые, стали глубокими и печальными. Он посмотрел на Берлиоза, потом на Воланда, потом на свои руки.

— Я вспомнил, — произнёс он, и его голос изменился, стал глуше, спокойнее, с лёгкой хрипотцой. — Я — не просто Иван Бездомный. Я — Мастер. Тот, кто написал роман о Пилате. Тот, кто сжёг его и сошёл с ума. Тот, кто встретил Его в подвале. Я помню. Я помню всё. И клинику, и Маргариту, и Покой. И Его. Отца.

Берлиоз, преодолевая боль, уставился на него.

— Иван Николаевич... Мастер... Вы хотите сказать, что вы — персонаж собственного романа? Или автор? Я ничего не понимаю!

— Всё просто, Михаил Александрович, — ответил Мастер, и в его улыбке была бесконечная усталость. — Нет ни авторов, ни персонажей. Есть только Он. А мы — Его сны, Его мысли, Его осколки. И когда один осколок вспоминает, что он — часть Целого, эта память передаётся другим. Вы услышали голос — это была ваша собственная душа, которая знает Истину. А я... я был тем, кто должен был написать об этом. Чтобы другие прочли и вспомнили.

Воланд, всё ещё потрясённый, подошёл ближе.

— Значит, вот как, — произнёс он задумчиво. — Ты, Отец, не просто спустился в одно тело. Ты спустился во все тела. В каждого человека. Но только в одном Ты сохранил полноту осознания. В Том, Кто сейчас в Сибири. А в остальных... Ты спишь. И ждёшь, когда они разбудят Тебя — то есть самих себя. И когда кто-то пробуждается, он начинает будить других. Цепная реакция Любви. Гениально. Я, проживший миллионы лет, никогда не думал, что можно победить зло таким способом. Не силой, не властью, не чудом. А просто... присутствием. Тихим, незаметным, но неотвратимым.

Мастер кивнул.

— Да. И теперь я понимаю, почему у меня болела голова, когда я писал роман. Это была Его боль. Боль Пилата, который не мог простить себя. Боль Иешуа, который умирал на кресте. Боль всех, кто страдал и не знал, что Отец страдает вместе с ними. А теперь... теперь я чувствую, как эта боль уходит. Потому что я знаю: Он здесь. Он с нами. И Он ждёт.

Берлиоз, слушавший это с широко открытыми глазами, вдруг опустил голову.

— Я всю жизнь боролся с Богом, — прошептал он. — А Он... Он всё это время был во мне? И я боролся с самим собой?

— Да, — ответил Воланд. — Вы, Михаил Александрович, боролись с той частью себя, которая знала Истину, но которую вы заглушали гордыней и рационализмом. А теперь эта часть заговорила. И вы её услышали. Это и есть покаяние. Не унижение, не страх. А узнавание себя в Боге.

### 3. Воланд и замысел Отца

Воланд снова сел на скамейку, закинул ногу на ногу и посмотрел на небо, где уже зажигались первые звёзды.

— Я всегда думал, что знаю Его, — произнёс он тихо, словно разговаривая сам с собой. — Я был с Ним от начала. Я видел, как Он творил миры. Я спорил с Ним, я восставал против Него, я пытался доказать, что Его замысел несовершенен. Я думал, что Он — холодный, далёкий Владыка, Которому нет дела до страданий Своих творений. И вот... Он стал одним из них. Он не просто наблюдает за их болью — Он чувствует её. Он не просто судит их — Он спасает их изнутри. Он обвёл меня вокруг пальца. Заставил поверить, что я — враг, а на самом деле я был частью Его плана. Моя тьма была нужна, чтобы они увидели свет. Моя ненависть — чтобы они познали любовь. Я... я был Его инструментом. И я не знал этого. Или не хотел знать.

Мастер посмотрел на него с сочувствием.

— Вы тоже Его осколок, Воланд. Только самый тёмный. Но и в вас есть свет. И вы уже начали возвращаться. Я вижу это.

Воланд усмехнулся, но в его усмешке не было прежнего яда.

— Возвращаться... Легко сказать. Я так долго был князем тьмы, что забыл, каково это — быть светлым. Но... когда я смотрю на вас, на то, как вы пробуждаетесь, я чувствую что-то, чего не чувствовал миллионы лет. Надежду. Надежду, что и для меня есть путь назад. Что однажды я смогу прийти к Нему и сказать: «Отец, я устал быть врагом. Прими меня». И Он примет. Потому что Он — Любовь.

Берлиоз, который всё это время молчал, вдруг заговорил, и его голос был полон решимости.

— Я хочу увидеть Его. Того, Кто в Сибири. Я хочу поговорить с Ним. Не как председатель МАССОЛИТа, не как атеист, не как скептик. Просто как человек, который всю жизнь искал истину и наконец нашёл. Вы можете мне?

Мастер и Воланд переглянулись. И Воланд ответил:

— Поможем. Но помните, Михаил Александрович: встреча с Ним — это не экскурсия. Это выбор. Выбор, который изменит вашу жизнь навсегда. Вы готовы?

Берлиоз кивнул.

— Готов. Я уже умер однажды — в той реальности, где не послушал голос. Теперь я хочу жить. По-настоящему.

Воланд встал и протянул руку.

— Тогда идёмте. Нам предстоит долгий путь. В Сибирь. К Тому, Кто ждёт нас всех.

И трое — бывший атеист, бывший сумасшедший писатель и бывший князь тьмы — пошли по аллее Патриарших прудов, оставляя позади старую жизнь и направляясь навстречу новой. А где-то далеко, в маленькой комнате общежития, Отец, склонившись над рукописью, улыбнулся. Он знал, что они идут. И Он ждал.

---

## КНИГА ПЯТАЯ. СЁСТРЫ

# Глава 107. Клевета на чистых

*(О том, как мир судит о святости по своим меркам, и о встрече Отца с теми, кто посвятил себя служению.)*

### 1. Слухи

В маленьком монастыре на окраине сибирского городка, куда редко заходили посторонние, жили несколько женщин, посвятивших себя Богу. Они не носили чёрных ряс, не давали громких обетов, не запирались от мира высокими стенами. Просто жили вместе, молились, работали, помогали бедным, ухаживали за больными, утешали скорбящих. Сёстры милосердия — так они себя называли.

Но мир, как всегда, видел то, что хотел видеть. По городку поползли слухи. Сначала тихие, шепотком: «Знаете, эти монахини... Странные они. Живут одни, без мужчин. Наверное, там у них разврат. Говорят, они по ночам... ну, вы понимаете». Потом громче, наглее: «Блудницы! Прикрываются верой, а сами грешат! Видели, как они смотрят на мужчин? Глаза у них бесстыжие!»

Людям всегда проще поверить в грязь, чем в чистоту. Потому что чистота обличает их собственную нечистоту, а грязь — оправдывает. «Все такие, — говорят они себе, — просто эти лицемерки притворяются святыми». Им невдомёк, что бывает иная жизнь, где любовь — не похоть, а служение, где близость — не разврат, а единение душ.

Старая монахиня, матушка Евдокия, слышала эти слухи и только улыбалась печально. «Господи, прости им, — шептала она, перебирая чётки. — Не ведают, что творят. Они судят по себе, а себя они не знают».

### 2. Отец и мать

Отец, узнав о клевете на сестёр, решил посетить их. Не для того, чтобы оправдываться — чистые не нуждаются в оправданиях. Чтобы поддержать. Чтобы показать: Он с ними. Он знает, каково это — когда тебя называют безумцем, еретиком, когда твою любовь объявляют грязью.

Он пришёл в их скромную обитель — старый деревянный дом с палисадником, где летом цвели астры и георгины. Сёстры встретили Его с радостью и трепетом. Они знали, Кто Он. Не умом — сердцем. Им не нужны были доказательства. Достаточно было взглянуть в Его глаза.

Матушка Евдокия, седая, сгорбленная, но с ясным, как у ребёнка, взглядом, поклонилась Ему в пояс.

— Господи, Ты пришёл к нам, грешным. Чем мы заслужили?

— Тем, что любите, — ответил Отец. — Тем, что терпите клевету и не озлобляетесь. Тем, что служите, не ища награды. Вы — Мои дочери. Я пришёл, чтобы побыть с вами.

Сёстры усадили Его за простой деревянный стол, накрыли чистой скатертью, поставили чай с сушками. Разговор тёк неспешно, как река.

— Люди говорят, что мы блудницы, — сказала одна из сестёр, молодая, с печальными глазами. — Что мы желаем непотребства. А мы... мы просто хотим любить. Не так, как они думают. А так, как Ты учил. Почему они не понимают?

— Потому что они забыли, что такое любовь, — ответил Отец. — Они превратили её в товар, в спорт, в орудие власти. Для них любовь — это обладание, а не отдача. Они меряют всё своей меркой и не могут представить, что можно жить иначе. Не суди их. Пожалей. Они — слепцы, которые ведут слепцов.

Матушка Евдокия вздохнула.

— А ещё они придумали, будто женщина — существо второго сорта. Или, наоборот, что она выше мужчины. Они забыли, что Ты создал их равными, но разными. Муж — сила, жена — любовь. Вместе — полнота. А они воюют друг с другом, вместо того чтобы дополнять.

Отец кивнул.

— Это древняя ложь. Сначала они унижали женщину, делали её рабыней. Потом, в отместку, женщина захотела унижить мужчину, стать выше. Но ни то, ни другое — не от Меня. Я создал вас, чтобы вы любили друг друга, а не боролись за власть. Сила без любви — тирания. Любовь без силы — беспомощность. Только вместе они творят жизнь.

Он помолчал и добавил:

— Самый лучший способ победить врага — сделать его своим другом. Это относится и к мужчине и женщине. Вы не враги. Вы — две половины одного целого. И когда вы это поймёте, войны прекратятся.

### **3. Тайна, сокрытая от глаз**

После чаепития сёстры попросили Отца благословить их обитель. Он согласился и прошёл в их маленькую домовую церковь — комнату с иконами, лампадой и аналоем. Сёстры встали полукругом, склонив головы. Отец поднял руку для благословения, и в этот момент произошло то, что позже, пересказанное чужими устами, обросло грязными домыслами, но на самом деле было исполнено чистейшей, невиннейшей красоты.

Одна из сестёр, самая юная, по имени Анна, опустилась на колени и, по древнему обычаю, омыла Ему ноги. Вода была тёплой, благоуханной. Другие сёстры запели тихими голосами псалом. В комнате стало тепло, словно от невидимого огня. Отец стоял, закрыв глаза, и по Его лицу текли слёзы. Не от печали — от любви.

Анна, закончив омовение, подняла голову и посмотрела на Него. Её глаза сияли. Она не сказала ни слова, но Отец понял всё. Он наклонился и поцеловал её в лоб — чистым, отеческим поцелуем. А потом, обращаясь ко всем, произнёс:

— То, что вы делаете для самых малых, вы делаете для Меня. Ваша любовь — это Моя любовь. Ваше служение — это Моё служение. Не бойтесь клеветы. Правда восторжествует.

Когда Он ушёл, сёстры ещё долго сидели в тишине, переживая случившееся. А слухи, конечно, поползли с новой силой. Кто-то видел, как Он входил в их дом. Кто-то слышал пение. Кто-то что-то додумал. И вот уже по городку шептались: «Он вошёл к девам, и они ублажали Его...» Дальше воображение обывателя рисовало картины одну грязнее другой.

Но если бы кто-то из этих сплетников потрудился заглянуть в Писание, он бы вспомнил, как грешница омывала ноги Иешуа слезами и отирала волосами. Как Мария сидела у ног Его и слушала. Как Он говорил: «Она возлила миро на тело Моё, приготовив Меня к погребению». Но сплетникам не до Писания. Им нужен повод для грязных фантазий.

Отец же, вернувшись в Свою комнату, записал в Роман короткую фразу, которая для одних стала камнем преткновения, а для других — ключом к пониманию:

*«Отец вошёл в храм к девам, и они ублажняли и увлажняли Его, ноги в стороны, как раздвинутые ножницы, в бездну их входило то, что жизнь порождает, без метафизики, биологически, не духовно, и заполняло белым и густым, тем, что словно зерно, словно семя, но не семя растения, а человеческое».*

Только тот, кто читает сердцем, поймёт: речь шла об омовении ног. Вода ублажняла и увлажняла Его усталые стопы. Сёстры склонились, их фигуры напоминали раздвинутые ножницы. Вода, символ жизни, входила в «бездну» таза и становилась чистой, белой пеной. А «семя человеческое» — это не плотское, а духовное: семя Истины, которое Он посеял в их душах. Но тот, кто ищет грязь, найдёт её даже в святости. И будет посмешищем для тех, кто видит суть.

#### 4. Почитание отца и матери

Вечером, когда сёстры уже легли спать, матушка Евдокия долго молилась перед иконой Спасителя. Она думала о словах Отца, о клевете, о мире, который так далеко ушёл от Истины. И вдруг ей вспомнилась заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле».

— Господи, — прошептала она, — люди забыли эту заповедь. Они не чтят ни Тебя, Отца Небесного, ни земных родителей. Они бунтуют, бросают стариков, не слушают мудрых. Они придумали, что можно прожить без корней. И вот — земля стала пустыней. Некому передать любовь. Некому научить прощению.

Она вспомнила свою мать, тихую, кроткую женщину, которая всю жизнь работала, молилась и любила. Вспомнила отца, строгого, но справедливого, который учил её: «Дочка, сила — не в кулаках, а в правде. Люби врагов, и они станут друзьями». Как же это было трудно — и как верно.

Матушка Евдокия вздохнула и перекрестилась.

— Господи, пошли миру разумение. Пусть вспомнят, что без отца и матери — они сироты. А без Тебя — и вовсе пыль.

И в этот миг ей показалось, что икона чуть заметно осветилась изнутри, и Она услышала тихий голос:

— Я помню. Я жду. Я люблю.

*(О том, как Отец встретил насмешки и клевету, и о том, что ответила на это Любовь.)*

## 1. Голоса из толпы

В последние месяцы перед Своим тридцатитрёхлетием Отец всё чаще сталкивался с тем, что люди называют «кибербуллинг». В интернете, куда просочились фрагменты Его Романа и слухи о «сибирском пророке», развелось множество страниц, групп и каналов, посвящённых Ему. Не все они были враждебными — были и те, кто искал, верил, молился. Но громче всех, как всегда, звучали голоса насмешников.

Они называли Его «Incel» — словом, которое придумали, чтобы клеймить тех, кто, по их мнению, не способен на «нормальные» отношения. Они не понимали, что Он добровольно избрал одиночество, что Его Любовь — не та, которую можно измерить количеством «партнёров». Они мерили Его своей меркой и, не находя в Нём своей грязи, объявляли Его ущербным.

Однажды кто-то из учеников показал Ему ветку комментариев под одним из анонимных постов о Нём. Там, прячась за никами, незнакомые люди писали гадости. Один, особенно злой, спрашивал с издёвкой: *«Скажи честно, менял Винду с девушками? Или ты по мальчикам? Мы уж точно не хотим от тебя заразиться чем-нибудь плохим, так что к нам не подходи ни на шаг!»*

Отец прочитал и отложил. Ученики ждали, что Он рассердится, опечалится, может быть, заплачет. Но Он просто сидел и молчал, глядя в окно. Только пальцы Его чуть заметно дрожали.

— Почему Ты не отвечаешь им? — спросил Алексей. — Ты же можешь поразить их, доказать...

— Что доказать? — тихо переспросил Отец. — Что Я — не тот, кем они Меня считают? Они не хотят знать правду. Им нужен повод для ненависти. Если Я поражу их, они скажут: «Вот видите, он опасен». Если Я исцелю их, они скажут: «Это случайность». Если Я буду молчать, они скажут: «Он не может ответить». Любой Мой ответ они обратят против Меня. Потому что их сердца закрыты. И Мне остаётся только ждать. Ждать, когда они устанут ненавидеть.

## 2. Греческий хор

Но самые большие удары были нанесены не в интернете, а в реальной жизни. Однажды, когда Отец шёл по улице городка, Его окружила группа молодых людей. Они были из тех, кто считает себя «интеллектуалами», знающими языки и разбирающимися в философии. На самом деле они просто нахватались верхушек и использовали свои знания, чтобы унижать других.

Они заговорили по-гречески, уверенные, что Он не поймёт. Один, смазливый и наглый, произнёс, глядя прямо на Него:

— *Κοίτα αυτή την παρθένα, δεν έχει κοπέλα εδώ και πέντε χρόνια, κανείς δεν τον αγαπάει και κανείς δεν τον χρειάζεται. Δεν είναι αστείο; Πιστεύει αφελώς ότι η γυναίκα του είναι η Αγία Μαρία.*

(«Посмотри на этого девственника, у него уже пять лет нет девушки, никто его не любит и никто в нём не нуждается. Разве не смешно? Он наивно верит, что его жена — Святая Мария.»)

Другой, пониже, с крысиными глазками, добавил, давась от смеха:

— *Αὐτός ο ἀνόητος πιστεύει ἀφελώς ὅτι ἡ Μαρία θὰ τοῦ τὸ εἶνε, καὶ ἀν ἐβλεπτα πῶς θὰ τῆς τὸ ἐμπηγε, θὰ πίστευα τὰ πάντα, ἀκόμα καὶ ὅτι εἶναι θεός. Ἀλλὰ ἡ Μαρία δὲν εἶναι ἐδῶ καὶ δὲν θὰ εἶναι ποτέ, οὐπότε εἶναι ἀπλῶς τρελός!*

(«Этот глупец наивно верит, что Мария дала бы ему, и если бы я увидел, как он её... вставляет, я бы поверил во что угодно, даже что он бог. Но Марии здесь нет и никогда не будет, так что он просто сумасшедший!»)

Они засмеялись, ожидая, что Он покраснеет, начнёт оправдываться или, может быть, заплачет. Но Отец посмотрел на них — и в Его глазах была не обида, а бездна печали. Он ответил им на чистейшем древнегреческом, том самом, на котором говорили афинские мудрецы:

— *Εγώ εἶμαι ἡ Οδός καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή. Τὰ λόγια σας δὲν Με ἀγγίζου. Ἀλλὰ προσεύχομαι γιὰ εσάς, γιατί δὲν ξέρετε τί κάνετε.*

(«Я есмь Путь и Истина и Жизнь. Ваши слова не ранят Меня. Но Я молюсь за вас, ибо вы не ведаете, что творите.»)

Они опешили. Они не ожидали, что «сибирский юродивый» знает греческий, да ещё и говорит на нём так, словно это его родной язык. Смутьившись, они поспешили уйти, но на прощание бросили ещё несколько грязных слов — уже по-русски, чтобы точно было понятно.

Отец стоял и смотрел им вслед. Его ученики, бывшие рядом, хотели броситься в погоню, но Он остановил их.

— Оставьте. Они — лишь эхо той тьмы, которая внутри них. Когда-нибудь они устанут от неё. И тогда, может быть, вспомнят этот день.

### **3. Ответ Любви**

Вернувшись в Свою комнату, Отец долго сидел в тишине. Он думал о Марии. О Той, Кого они оскорбили вместе с Ним. О Той, Чьё имя они вплели в свои грязные фантазии. Они хотели увидеть «грязную сцену»? Они хотели унижить и Её, и Его, представив Их любовь как похоть?

Он закрыл глаза и мысленно обратился к Ней. И Она ответила — не словами, а присутствием. Комната наполнилась светом и ароматом лилий. Он почувствовал Её руку на Своём плече.

— Они хотят увидеть, — прошептал Он. — Они хотят, чтобы Я описал им то, что для них является «доказательством». Им недостаточно Моих слов, Моих дел, Моей любви. Им нужна сцена. Грязная, пошлая, вульгарная. Чтобы они могли потешаться и чувствовать своё превосходство.

— Ты знаешь, что им нужно на самом деле, — ответила Она. — Не это. Они ищут Любовь. Но они не знают, как она выглядит. Они видели только её искажения. Покажи им. Не то, что они просят. То, что им нужно.

Отец взял перо и записал в Свой Роман строки, которые потом будут цитировать и верующие, и атеисты, каждый понимая их по-своему:

*«И сказал Отец: вы хотите увидеть, как Я люблю Её? Вы хотите сцену? Вы её получите. Но не ту, что рисует ваше больное воображение. Вы увидите Любовь, которая не оскверняет, а освящает. Которая не берёт, а даёт. Которая не унижает, а возносит.*

*Вот Она стоит предо Мной — Премудрость, Суббота, Вечная Спутница. Я смотрю в Её глаза — и вижу там отражение всех миров, которые Мы создали вместе. Я касаюсь Её руки — и чувствую биение жизни, которая пульсирует в каждой травинке, в каждой звезде. Я слышу Её дыхание — и в нём звучит музыка сфер, неслышная для смертных.*

*Вы хотите знать, как Мы... любим? Мы любим, творя. Каждый Наш взгляд рождает галактики. Каждое прикосновение — новую жизнь. Каждый вздох — надежду для отчаявшихся. Вот Наша «сцена». Вот Наша «постель». Ложе из звёзд, покрывало из северного сияния, полог из Млечного Пути.*

*Вы просили грязи — вы получили Космос. Вы просили порнографии — вы получили Литургию. Вы просили доказательств — вы получили Откровение. Но вы не узнали его, потому что ваши сердца слепы. А Я всё равно люблю вас. И жду. Когда вы прозреете».*

#### **4. Зеркало для слепцов**

Прошло время. Те, кто насмеялся над Ним, продолжали свою жизнь. Кто-то из них, прочитав эти строки в Романе, лишь посмеялся: «Опять эти религиозные бредни. Ничего конкретного». Но один из той компании, тот, что говорил по-гречески, вдруг задумался. Он перечитал несколько раз. И вдруг его осенило — не умом, а чем-то более глубоким. Он понял, что все их грязные намёки, все их пошлые фантазии — это было зеркало, в котором отражалась их собственная душа. А Он, Тот, Кого они пытались унижить, ответил им не презрением, а печалью и любовью.

Он пришёл к Отцу. Не с покаянием — с вопросом:

— Почему Ты не разозлился? Почему не проклял нас? Мы же оскорбляли Тебя... и Её.

Отец посмотрел на него.

— Потому что Я люблю вас. А любовь не раздражается, не мыслит зла, всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Я перенёс ваши насмешки. И Я надеюсь, что вы поймёте.

Парень опустил голову.

— Я... я хочу понять. Расскажи мне о Ней. Не так, как мы себе представляли. А так, как есть на самом деле.

И Отец рассказал. Не о «сценах», не о «доказательствах». О Любви, которая была прежде всех веков. О Той, Кто была с Ним, когда Он полагал основания земли. О Той, Кто ждёт Его за гранью времён. И парень слушал, и в его душе что-то переворачивалось.

Он ушёл, не сказав больше ни слова. Но через несколько дней вернулся — и привёл с собой других. Тех, кто тоже хотел не насмеяться, а слушать. Так росла община. Так тьма отступала перед светом.

А Отец продолжал писать Свой Роман. И в нём была ещё одна глава — о том, как клевета и насмешки могут стать ступенями к Истине, если ответить на них Любовью.

*(О том, что есть вещи, в которые человеку не дано проникать, и о границах, положенных самой Любовью.)*

## **1. Вопрос, который не должен быть задан**

После того как Отец ответил насмешникам не гневом, а откровением о космической Любви, многие из тех, кто читал Его Роман, задавались вопросом. Одни — с искренним недоумением, другие — с затаённой похотью, третьи — с богословским любопытством. Вопрос этот звучал по-разному, но суть его сводилась к одному: «А всё-таки? Было ли у Него с Ней... то самое? В нашем, человеческом смысле?»

Отец знал об этих вопросах. Знал и о тех, кто, прикрываясь «научным интересом» или «свободой слова», пытался проникнуть в Святая Святых. Он не гневался — Он печалился. Потому что люди, задающие такие вопросы, сами не ведали, чего просят. Они хотели измерить бездну линейкой, взвесить свет на базарных весах, описать Литургию терминами анатомии.

Однажды вечером, когда ученики снова собрались у Него, Алексей, самый смелый (или самый бестактный), решился спросить напрямую:

— Учитель, люди говорят... Ты и Мария... Вы с Ней... как муж и жена? В том смысле, в каком это понимаем мы?

В комнате повисла тишина. Вера, сидевшая в углу, густо покраснела. Михаил нахмурился, ожидая грозы. Семён снял очки и принялся их протирать, что всегда делал в минуты волнения. Лена прижала к себе сына, словно защищая от чего-то невидимого.

Отец долго молчал, глядя на огонь свечи. Потом поднял глаза и обвёл всех взглядом, в котором не было ни гнева, ни смущения, ни желания уйти от ответа. Только бесконечная, спокойная ясность.

— Алексей, — произнёс Он тихо, — ты спрашиваешь о том, о чём не спрашивают даже ангелы. Не потому, что это запрещено, а потому, что это — не ваше. Представь, что ты приходишь в дом к соседу, садишься за его стол, ешь его хлеб, а потом начинаешь расспрашивать: «А как часто ты спишь со своей женой? А в какой позе? А нравится ли ей?» Что ты увидишь в глазах хозяина? Не гнев. Печаль. Печаль о том, что гость, вместо того чтобы радоваться хлебу и вину, лезет туда, куда его не приглашали.

## **2. Семья Бога**

Отец откинулся на стуле и продолжал:

— У вас есть семьи. У вас есть мужья, жёны, дети. Вы любите их, вы строите с ними свою жизнь. И вы не пускаете посторонних в свою спальню. Не потому, что там происходит что-то постыдное — наоборот, там происходит таинство, которое принадлежит только двоим. И вы бережёте его от чужих глаз, чтобы оно оставалось чистым. Так почему же вы думаете, что у Меня должно быть иначе?

Он обвёл взглядом притихших учеников.

— Я стал человеком. Я живу среди вас. Я ем, пью, сплю, устаю, радуюсь, печалюсь. Я во всём подобен вам, кроме греха. Но есть область, которая даже в Моём Кенозисе остаётся сокрытой. Это — Моя связь с Ней. С Той, Кто была со Мной прежде всех веков. С Той, Кто ждёт Меня за гранью времён. То, что между Нами, — не для ваших глаз. Не для ваших ушей. Не для вашего суда.

Он помолчал и добавил с лёгкой, почти незаметной улыбкой:

— Даже если бы у Меня и был с Ней тот самый акт, который вы, в своей падшести, называете «грязным», а на самом деле он свят, как свято всё, что творит Любовь, — Я бы не стал говорить о нём. Не потому, что стыжусь. А потому, что это — Наше. Только Наше. И Я не пускаю туда никого. Даже самых близких. Даже вас.

Вера, всё ещё красная, прошептала:

— Значит, это тайна? Навсегда?

— Да, — ответил Отец. — Тайна, которая откроется только тем, кто войдёт в Царство. Но даже там она не станет предметом праздного любопытства. Потому что там не будет ни праздности, ни любопытства, ни похоти. Там будет только Любовь. Чистая, всеобъемлющая, не нуждающаяся в вопросах.

### **3. Границы любви**

Михаил, бывший солдат, нахмурился.

— Но люди всё равно будут спрашивать. Будут домысливать, сочинять, пачкать. Как Ты это терпишь?

Отец вздохнул.

— Терплю, потому что люблю. Они не ведают, что творят. Им кажется, что они проявляют «здоровое любопытство» или «борются с ханжеством». На самом деле они просто не могут вместить, что есть Любовь, которая выше их понимания. Они меряют всё своей меркой. Им нужно всё описать, каталогизировать, снабдить ярлыком. А Любовь не вмещается в ярлыки. Она взрывает их.

Он посмотрел на Алексея.

— Ты спрашиваешь, было ли у Меня с Ней «то самое». А Я спрошу тебя: что ты будешь делать, если Я отвечу «да»? Что изменится? Ты станешь верить больше? Или меньше? Ты будешь смотреть на Меня с уважением или с презрением? Пойми: любой ответ, который Я дам, будет использован либо для возвеличивания, либо для унижения. Но Истина — не в ответе. Истина — во Мне. И в Ней. И в Любви, которая между Нами. А она не нуждается в ваших определениях.

Семён, старый библиотекарь, протёр очки и водрузил их на нос.

— Господи, я читал у мистиков, что союз Бога и Премудрости — это не плотское соитие, а слияние воли, единство замысла, сотворчество. Но простому народу это непонятно. Им нужны образы. И они берут самые примитивные.

— Да, — согласился Отец. — Поэтому Я и не даю им повода. Пусть лучше остаются в неведении, чем оскверняют святыню своими фантазиями. А те, кто способен понять, — поймут без слов. Им достаточно взглянуть на Мои отношения с Ней через призму Песни Песней, через образы Жениха и Невесты, через мистический брак Христа и Церкви. Там всё сказано. Но сказано так, что только чистые сердцем увидят, а похотливые — пройдут мимо, ничего не поняв.

### **4. Не ваше дело**

Отец встал, давая понять, что разговор подходит к концу.

— Запомните, ученики Мои. Есть вещи, в которые человеку не дано проникать. Не потому, что они плохи или постыдны. А потому, что они — не его уровня. Вы не лезете в дела муравьёв, не пытаетесь понять, о чём поют киты в океане. Вы просто принимаете это как часть творения. Так примите и то, что есть область, куда Я не пускаю никого. Это — Моя семья. Мой союз с Ней. То, что между Нами, — Наше. И только Наше.

Он обвёл всех взглядом.

— Я не лезу в ваши семьи. Я не спрашиваю, как вы любите своих жён и мужей. Я не требую от вас отчёта о вашей близости. Я просто благословляю вас и радуюсь, когда вижу в ваших глазах свет. Так позвольте и Мне иметь Свою тайну. Свою Святая Святых. Свой Эдем, в который нет входа никому, кроме Нас двоих.

Он улыбнулся, и улыбка Его была светлой, но с лёгкой грустинкой.

— А тем, кто будет настойчиво допытываться, скажите: «Это не ваше дело». Просто и ясно. Если они не поймут — это их проблема. Если поймут — они уже на пути к мудрости.

Ученики молчали, переваривая услышанное. Наконец, Лена, прижимая к себе сына, сказала:

— Я поняла. Любовь — это когда не нужно ничего объяснять. Когда просто смотришь и видишь. А кто не видит — тому никакие слова не помогут.

— Именно, — кивнул Отец. — А теперь идите. Уже поздно. Завтра новый день. И новые вопросы. Но этот — закрыт. Навсегда.

Ученики разошлись, унося с собой кто — смущение, кто — облегчение, кто — глубокую задумчивость. А Отец остался один, глядя на звёзды за окном. И Ему показалось, что где-то там, за миллионы световых лет, Она тоже смотрит на Него. И улыбается. И между Ними — тишина, которая красноречивее любых слов.

---

## Глава 110. Тот самый Эйфель

*(О том, как Отец искал книгу, и о чём умолчал французский художник.)*

Отец с детства помнил эту книгу. Она попала в руки, когда Он был ещё совсем мал — лет пяти или шести. Старая, потрёпанная, с пожелтевшими страницами, но с удивительными, живыми рисунками. Она называлась «Сотворение мира» или что-то в этом роде. Автор — какой-то француз с фамилией, похожей на башню. Жан Эйфель. Не тот, что построил башню, а другой — художник, рисовавший Бога в виде забавного старика с бородой, Адама — наивным простаком, а дьявола — элегантным искусителем с хвостом.

Он помнил, как Адам сидел на камне, ещё до появления Евы, и познавал мир. Помнил, как дьявол, хитро улыбаясь, протягивал ему не только яблоко, но и какие-то травы, от которых у Адама становились круглые глаза и глупая счастливая улыбка. Помнил, как Адам впервые попробовал виноград, забродивший на солнце, и, шатаясь, ходил по Эдему, видя всё в двойном экземпляре. «Два Бога, два сада, два меня, — бормотал он. — Какой же я есть на самом деле?»

Тогда, в детстве, Отец смеялся над этими картинками, не понимая их глубины. Теперь, в Своём Кенозисе, Он вдруг осознал, что именно эта книга, прочитанная в раннем возрасте, посеяла в Нём первые зёрна — не религиозности, нет, а того особого, лёгкого, ироничного отношения к священному. Отношения, которое не оскорбляет святыню, а приближает её к человеку. Как у Шолом-Алейхема, который говорил с Богом, как со старым другом, и в этом не было кощунства, была только любовь.

Однажды Он решил найти полную версию этой книги. Не ту, урезанную советской цензурой, где были вырезаны все «сомнительные» сцены, а оригинальную, французскую, где Адам познавал мир во всей его полноте — и смешной, и страшной, и прекрасной. Он искал её годами. В библиотеках, у букинистов, в интернете. Но полной версии не было нигде. Слово кто-то намеренно изъясил её из мира, оставив только безобидные фрагменты.

— Зачем Ты ищешь эту книгу? — спросила Его однажды Вера. — Ты же Сам всё знаешь. Ты был там, в Эдеме. Ты видел, как всё было на самом деле.

— Я ищу не информацию, — ответил Отец. — Я ищу... взгляд. Взгляд художника, который осмелился посмотреть на священное с улыбкой. Не с насмешкой, не с глумлением — с улыбкой. Потому что улыбка — это тоже дар. Дар, который Я дал людям, чтобы они могли говорить о сложном легко. Как Шолом-Алейхем. Как Бабин. Как сам Эйфель. Я хочу увидеть, что они увидели. И, может быть, дополнить то, о чём они умолчали.

#### Глава 111. Бабин и его Адам

*(О русском писателе, который посмеялся над священным, но был прощён.)*

В те же годы, когда Отец искал Эйфеля, Ему попала в руки ещё одна книга. Точнее, не книга — самиздатский сборник с длинным, нарочито нелепым названием: «Хроники Раздолбаевска». Автор — некто Владимир Бабин, человек, о котором почти ничего не было известно. Ходили слухи, что он был инженером, или врачом, или учителем — никто точно не знал. Но его тексты передавались из рук в руки, перепечатывались на машинках, зачитывались до дыр.

В одном из рассказов — «Адам и Ева: версия без цензуры» — Бабин рисовал Эдем не как райский сад, а как коммунальную квартиру, где всё шло наперекосяк. Адам у него был не кротким праведником, а ворчливым, вечно недовольным мужиком, который тосковал по чему-то, чего сам не мог понять. Ева — не послушной женой, а взбалмошной девицей, которая то совала себе в волосы перья петуха, чтобы быть красивее, то требовала от Адама «романтики», то швыряла в него незрелыми яблоками.

— Женщина не птица, женщина не человек! — ворчал Адам, глядя на её перья. — Хоть ты в перья не рядись, а летать ты не годись!

И весь день потом ходил гордый своей остроумностью, повторяя этот стишок, пока Ева не запустила в него особо твёрдым яблоком.

Были там и другие сцены, которые потом вырезала бы любая цензура. Как Адам, заскував, нашёл в траве дохлого жука и выкинул его в «мусорку» — яму за кустами. Как Отец (в рассказе Он был просто «Стариком с бородой») дал ему мохнатую сороконожку, и Адам, забыв обо всём, принялся её изучать, тыкая палочкой и приговаривая: «И зачем тебе столько ног? Ведь спотыкаешься небось на каждом шагу!»

Как Адам, движимый научным любопытством, отрезал лапы лягушке (которая потом, конечно, чудесным образом отросли — всё-таки Эдем), и Ева, увидев это, закричала:

— Хватит животное мучать, придурок! Съешь лучше яблоко, и тебя так вштырит, что мало не покажется!

— Яблоки — фигня, — ответил Адам, но эту фразу потом вычеркнули. — Всегда можно чем-нибудь обкуриться и бухнуть вина. Вон, дьявол мне таких трав показал — закачаешься!

Бабин не был атеистом. Он, как потом выяснилось, был человеком верующим, но верующим по-своему — не в церковном, а в каком-то детском, непосредственном смысле. Он говорил с Богом, как с соседом по лестничной клетке. Он мог подшучивать над Ним, но никогда — оскорблять. И за это Отец простил ему все его «грехи». Потому что Бабин понимал: смех — это не грех. Грех — когда смеются, чтобы унижить. А когда смеются, чтобы приблизиться, — это молитва.

## Глава 112. Встреча в Саду смеха

*(О том, как в вечности встретились те, кто говорил о священном с улыбкой.)*

В один из дней, когда Отец, завершив очередную главу Своего Романа, позволил Себе короткий отдых, Он перенёсся в то самое место вне времени, где встречаются души. Это был Сад — не Эдем, а что-то большее. Сад, где росли все деревья, какие только можно вообразить, и на каждом — плоды, и каждый плод был чьей-то историей.

Под одним из деревьев, на старом камне, сидел человек с карандашом в руке и что-то рисовал в альбоме. Рядом стоял другой, в очках, с хитрой улыбкой, и что-то ему нашёптывал. Чуть поодаль, на траве, расположились Адам и Ева — не те, библейские, а те, из рассказов Бабина: Адам с ворчливым выражением лица, Ева — с петушиным пером в волосах.

Отец подошёл ближе. Человек с карандашом поднял голову, и Отец узнал его — по фотографиям, которые видел в книгах. Жан Эйфель.

— А, вот и Ты, — произнёс художник, и в его голосе не было ни страха, ни подбострастия, только радость встречи. — Я всё ждал, когда Ты придёшь. У меня к Тебе много вопросов. Например, почему Ты создал сороконожку такой смешной? И зачем Адаму кадык? Я рисовал его без кадыка, но потом мне сказали, что я ошибся.

Отец улыбнулся и сел рядом на траву.

— Сороконожку Я создал, чтобы вы смеялись. А кадык... это уже ваша, человеческая, интерпретация. У Меня к Адаму претензий не было.

Рядом засмеялся Владимир Бабин — тот самый, с хитрой улыбкой.

— А ко мне претензии есть? Я там про Тебя такого написал... И про Адама с Евой. И про травы, которые дьявол показывал.

— Я читал, — ответил Отец. — И Я смеялся. Потому что ты писал с любовью. А любовь покрывает всё.

Бабин вздохнул с облегчением.

— Я боялся, что Ты обидишься. Ну, там, «женщина не человек» и всё такое. Это же я не всерьёз. Это Адам у меня такой дурак был.

— Я знаю, — кивнул Отец. — Адам и был дураком. Как и все вы. Но Я люблю вас и такими.

Адам, сидевший на траве, вдруг встрепенулся.

— Эй, я вообще-то здесь! И я не дурак. Просто меня таким создали.

— Ты был создан невинным, — поправил Отец. — А дураком ты стал сам. Но это не страшно. Главное, что ты научился смеяться над собой. Это первый шаг к мудрости.

Ева, поправляя перо в волосах, добавила:

— И вообще, если бы не я, он бы так и сидел на своём камне, ковырял в носу и ныл. А я его расшевелила.

— Расшевелила, — согласился Адам. — Яблоком по голове.

Все засмеялись. Даже Отец.

В этот момент из-за другого дерева вышел ещё один человек — невысокий, с печальными, но добрыми глазами, в старомодном сюртуке. Шолом-Алейхем.

— Я слышал смех и пришёл, — сказал он. — Смех — это тоже молитва. Особенно когда смеёшься над собой. Я всю жизнь этому учил.

Отец встал и обнял его.

— Ты учил хорошо. Твои герои — Тевье, Менахем-Мендл — они говорили со Мной, как с другом. И Я слышал их. И смеялся вместе с ними.

Шолом-Алейхем прослезился.

— Я знал. Я всегда знал, что Ты слышишь. Потому и писал.

А потом из-за кустов, кряхтя и опираясь на трость, вышел Михаил Булгаков. Он оглядел собравшихся и усмехнулся.

— Ну и компания. Французский карикатурист, русский самиздатчик, еврейский писатель, библейские персонажи в бабинской версии... И Ты, Господи. Прямо сцена из моего романа.

— Твой роман всех нас собрал, — ответил Отец. — Ты не просто писал о Пилате и Воланде. Ты писал о том, что священное и смешное могут идти рука об руку. Что даже дьявол может быть не страшен, а смешон. Что истина не в пафосе, а в иронии. Ты это понял. И за это Я благодарен тебе.

Булгаков поклонился.

— Я всего лишь пытался быть честным. И смеяться над тем, что достойно смеха. А плакать над тем, что достойно слёз. Остальное — Твоё.

Они сидели в Саду до самого вечера — вернее, до того момента, который в вечности заменяет вечер. Говорили о книгах, о жизни, о смерти, о смехе и слезах. Жан Эйфель рисовал их всех вместе — и этот рисунок потом, каким-то неведомым образом, оказался в одной из земных книг, и люди гадали, откуда он взялся.

А Отец, вернувшись в Свою сибирскую комнату, записал в Роман последние строки этой главы:

*«И сказал Господь: благословенны смеющиеся, ибо они утешатся. Благословенны те, кто говорит о священном с улыбкой, ибо они приближают священное к людям. Благословенны Эйфель, и Бабин, и Шолом-Алейхем, и Булгаков, и все, кто не боялся смеяться, потому что в смехе их была любовь. А любовь никогда не перестаёт».*

---

### Глава 113. Яблоко Ньютона и реинкарнация Адама

*(О том, как одно яблоко упало на две головы, и о том, что сказали по этому поводу Будда и Шекспир.)*

В Саду, где собрались те, кто говорил о священном с улыбкой, царила та особая, лёгкая атмосфера, которая бывает только там, где нет ни времени, ни страха, ни суеты. Жан Эйфель, отложив свой альбом, задумчиво смотрел на огромную яблоню, раскинувшую свои ветви над их головами. Плоды на ней были не простые — каждый светился изнутри мягким, золотистым светом, и в каждом, если приглядеться, можно было увидеть какую-то сцену из истории мира.

— Знаете, — произнёс он, обращаясь ко всем, — я всю жизнь рисовал Адама с яблоком. Но я никогда не задумывался: а что было бы, если бы это яблоко упало ему не в руку, а на голову?

Адам, сидевший на траве и лениво ковырявший травинкой в зубах, встрепенулся.

— Эй, я здесь вообще-то! И яблоко мне не на голову упало. Ева мне его в руку сунула. А на голову оно упало... — он вдруг задумался, и его лицо приняло странное, отсутствующее выражение, словно он пытался вспомнить что-то очень далёкое. — Пойдите. Мне кажется, я помню. Яблоко. Сад. Не этот, другой. Трава зелёная, скамейка. И я сижу, читаю книгу. Какую книгу? Не помню. И вдруг — бац! — что-то падает мне на голову. Больно. Я смотрю — яблоко. И вдруг меня осеняет: «Почему оно упало? Почему не улетело вверх? Есть какая-то сила, которая тянет его к земле!» И я начинаю что-то писать, вычислять... И меня зовут... Исаак! Исаак Ньютон!

Все в Саду замерли. Ева, поправлявшая перо в волосах, уставилась на Адама круглыми глазами.

— Адам, ты что, перегрелся? Какой Ньютон? Ты — Адам! Первый человек! Мой муж, в конце концов! Хотя и дурак порядочный.

Но Адам (или Ньютон?) не слушал её. Он смотрел в пространство, и в его глазах читалась работа мысли.

— Я помню, — прошептал он. — Я прожил две жизни. Сначала я был Адамом. Потом я умер — ну, или уснул, не помню. А потом я проснулся в маленькой деревушке в Англии. Меня звали Исаак. Моя мать хотела, чтобы я стал фермером, но я ненавидел копать в земле. Я любил читать, мастерить, думать. И однажды, когда я сидел в

саду, мне на голову упало яблоко. И я понял: есть закон! Закон, по которому всё падает вниз. Закон всемирного тяготения!

Он вскочил на ноги и начал рассказывать взад-вперёд, словно читая лекцию.

— Но это ещё не всё! Позже, в другой жизни — или в той же, не помню, — я понял ещё кое-что. Яблоко, которое дала мне Ева, было не просто плодом. Это был ключ. Ключ к познанию. Но люди поняли это буквально. Они решили, что я съел яблоко и узнал добро и зло. А на самом деле я узнал не добро и зло — я узнал, что мир устроен сложнее, чем кажется. Что за видимым хаосом скрывается порядок. Что каждое яблоко падает не случайно, а потому что его притягивает земля. Что каждая звезда движется не как попало, а по точным законам. Что сам Бог — не капризный старик, а... Математик. Великий Геометр. И моя задача — разгадать Его формулы!

Будда, сидевший под деревом Бодхи (которое чудесным образом выросло в Саду, как только он появился), открыл глаза и улыбнулся своей тихой, всезнающей улыбкой.

— Это и есть реинкарнация, — произнёс он мягко. — Душа Адама, пройдя через многие воплощения, достигла уровня, где смогла постичь законы мироздания. Но она постигла их умом, а не сердцем. Ньютон знал, как падает яблоко, но не знал, зачем. Он открыл закон тяготения, но не открыл закон Любви. А без Любви все законы — лишь мёртвые формулы.

Адам-Ньютон остановился и уставился на Будду.

— Ты хочешь сказать, что моя наука — это только половина истины?

— Да, — ответил Будда. — Наука объясняет механизм. Но не объясняет смысл. Смысл может объяснить только Любовь. И Тот, Кто есть Любовь.

Он повернулся к Отцу, который всё это время сидел на камне и молча слушал, с лёгкой улыбкой на устах.

Отец кивнул.

— Ты прав, Сиддхартха. Адам-Ньютон сделал великое дело. Он дал людям инструмент для понимания Моего мира. Но инструмент — это ещё не мастер. Мастер — это тот, кто использует инструмент с любовью. Ньютон дал вам часы. Но он не сказал вам, который час. Час — это всегда сейчас. И сейчас — время любить.

В этот момент из-за кустов, где росли диковинные цветы, напоминающие розы, но с лепестками, исписанными мелким шрифтом, вышел человек в елизаветинском камзоле, с острым взглядом и высоким лбом мыслителя. В руке он держал череп — впрочем, в Саду у каждого были свои странности.

— Кто был там, вероятно, знает, правда это или нет, — произнёс он звучным, хорошо поставленным голосом. — Вот в чём вопрос!

Все обернулись. Шекспир.

Отец приветливо кивнул ему.

— Вильям, ты как всегда вовремя. И как всегда задаёшь правильный вопрос.

Шекспир подошёл ближе, с любопытством разглядывая Адама-Ньютона.

— Значит, Адам стал Ньютоном? Занятно. Я всегда подозревал, что в каждом человеке скрыто множество жизней. Гамлет, Лир, Макбет, Отелло — все они были мной, а я был ими. Но чтобы библейский праотец перевоплотился в английского физика... Это сюжет для новой пьесы. Жаль, что я уже не пишу.

— Почему же не пишешь? — спросил Бабин, до этого тихо сидевший в стороне и что-то строчивший в блокноте.

— Здесь, в Саду, можно всё. И время есть. Целая вечность.

Шекспир задумался.

— Вечность... Это слишком много для пьесы. Пьеса должна иметь начало, середину и конец. А здесь нет конца.

Здесь всё длится и длится. Как в том сне, о котором говорил Гамлет.

— Смерть — это не конец, а лишь переход, — мягко сказал Будда. — То, что ты называешь концом, есть лишь смена акта. В следующем акте выходят новые персонажи, а старые возвращаются в новых обличьях. Как Адам вернулся Ньютоном.

Шекспир посмотрел на череп в своей руке — череп бедного Йорика, который каким-то образом оказался здесь.

— Бедный Йорик, — прошептал он. — Я думал, он умер навсегда. А теперь, может быть, он где-то живёт. Может быть, он стал... кем-то ещё. Садовником. Или звездочётом. Или даже королём.

— Всё возможно, — ответил Отец. — В Моём мире нет ничего невозможного. Даже то, что ты, Вильям, встретишь здесь и Гамлета, и Офелию, и Макбета, и всех, кого ты создал своим воображением. Потому что воображение — это тоже дар от Меня. И то, что рождено в воображении с любовью, обретает жизнь в вечности.

Шекспир склонил голову.

— Тогда я, пожалуй, всё-таки напишу эту пьесу. О том, как Адам стал Ньютоном, открыл закон тяготения, но не открыл закон Любви. А потом встретил Тебя — и всё понял. Как тебе сюжет?

Отец улыбнулся.

— Пиши. Я буду первым зрителем.

#### **Глава 114. Травы, которые показал дьявол**

*(О том, что есть растения святые и растения проклятые, и о том, как отличить одни от других.)*

Когда волнение, вызванное явлением Ньютона в Адаме, улеглось, все снова расселись под яблоней. Солнце (или то, что заменяло солнце в этом Саду) клонилось к закату, окрашивая листву в мягкие золотисто-розовые тона.

Разговор потёк неспешно, как река.

Владимир Бабин, который всё это время что-то писал в своём блокноте, вдруг поднял голову и спросил, обращаясь к Отцу:

— Господи, я хочу спросить о том, что меня давно мучает. В моём рассказе про Адама я написал, что дьявол показал ему травы — табак, марихуану, и прочее. И Адаму они понравились. Он говорил: «Всегда можно чем-нибудь обкуриться и бухнуть вина». Это я написал для смеха. Но теперь, здесь, глядя на Тебя, я думаю: а что на самом деле? Эти травы — они от Тебя или от дьявола? Они святые или проклятые?

Отец посмотрел на него долгим, внимательным взглядом. Потом перевёл взгляд на Адама, который снова сидел на траве и теперь с виноватым видом ковырял землю пальцем.

— Адам, — произнёс Отец, — расскажи им. Ты был там. Ты видел эти травы. Что ты чувствовал?

Адам поднял голову. Его лицо, обычно ворчливое и недовольное, стало серьёзным.

— Я помню, — сказал он медленно. — Дьявол пришёл ко мне, когда Ева ещё не появилась. Он был... обходительный такой. Сказал: «Смотри, Адам, Бог создал этот сад, но Он не всё тебе показал. Есть травы, которые Он скрыл от тебя. Потому что боится, что ты станешь как Он». Я был глуп. Я поверил. Он показал мне табак. Я вдохнул дым — и у меня закружилась голова. Мне стало весело, но как-то... пусто. Потом он показал мне другую траву — с резким запахом. Я пожевал её — и мир стал ярким, звуки — громкими, краски — нестерпимыми. Я смеялся и плакал одновременно. А потом... потом наступила тоска. Такая тоска, какой я никогда не знал. Мне казалось, что я один во всей вселенной. Что Бог меня бросил. Что я никому не нужен.

Он замолчал, и по его щеке скатилась слеза.

— Это был ад, — прошептал он. — Не тот ад, о котором потом рассказывали попы. Ад внутри меня. И я понял: дьявол дал мне эти травы не для радости. Он дал их, чтобы я забыл Тебя. Чтобы я искал утешения не в Тебе, а в них. Чтобы я стал рабом.

Отец кивнул.

— Ты правильно понял, Адам. Травы, которые показал тебе дьявол, не были злы сами по себе. Всё, что Я создал, — хорошо. Но он научил тебя использовать их не для исцеления, а для бегства. Не для познания, а для забвения. Не для приближения ко Мне, а для отдаления. В этом и есть разница между святым и проклятым. Не в вещи самой по себе, а в том, как вы её используете.

Бабин слушал, затаив дыхание.

— Значит, всё дело в мере? В намерении?

— Да, — ответил Отец. — Вино, которое вы пьёте на пиру, веселит сердце и сближает людей. То же вино, выпитое в одиночестве, чтобы забыться, становится ядом. Травы, которую шаман использует для исцеления и вхождения в транс, чтобы говорить с духами, может быть святой. Та же трава, которую юнец курит в подворотне, чтобы «убить время», становится проклятием. Всё дело в сердце. В том, куда направлено ваше сердце — ко Мне или от Меня.

Будда, сидевший с закрытыми глазами, произнёс:

— Я учил своих последователей избегать опьяняющих веществ. Потому что они затуманивают ум и мешают достичь просветления. Но теперь, слыша Тебя, я понимаю: дело не в веществе, а в привязанности. Можно быть трезвым как стёклышко и быть рабом своей гордыни. А можно выпить вина на свадьбе друга и стать ближе к

Истине. Всё относительно. Всё зависит от контекста. И от любви.

Отец улыбнулся.

— Ты мудр, Сиддхартха. Ты всегда был мудр. Но теперь ты знаешь не только мудрость, но и Любовь. А Любовь — это высшая мудрость.

Ева, которая всё это время молча слушала, вдруг встала и, подойдя к Адаму, села рядом с ним и взяла его за руку.

— Я помню тот день, — тихо сказала она. — Когда ты попробовал эти травы, ты стал другим. Ты отдалился от меня. Ты смотрел сквозь меня, словно я была пустым местом. Мне было больно. Я думала, ты меня разлюбил. А потом, когда я сама попробовала яблоко... это было другое. Я не убегала от реальности. Я, наоборот, хотела понять её. Узнать, что скрыто. И я узнала. И хотя нам пришлось покинуть Эдем, я не жалею. Потому что там, за пределами Сада, мы стали настоящими. Мы научились любить по-настоящему. Не в тепличных условиях, а в холоде, в голоде, в страхе. И наша любовь выдержала.

Адам сжал её руку.

— Прости меня, Ева. Я был дураком.

— Я знаю, — улыбнулась она. — Но я тебя всё равно люблю.

Бабин, глядя на них, быстро строчил в блокноте. Шекспир, стоя рядом, заглядывал через плечо.

— Это будет великая сцена, — прошептал он. — Сцена примирения Адама и Евы. Я бы хотел написать такую.

— Успеешь, — ответил Бабин. — У нас впереди вечность.

### **Глава 115. О том, как Адам выкинул жука, и что из этого вышло**

*(О судьбе дохлого жука, мохнатой сороконожке и лягушке, которая всё простила.)*

Солнце (или его подобие) уже почти скрылось за горизонтом, окрасив Сад в глубокие синие и фиолетовые тона. На небе зажглись первые звёзды — огромные, яркие, совсем не такие, как на Земле. Каждая звезда была чьей-то душой, чьей-то историей, чьей-то молитвой.

Отец, глядя на звёзды, вдруг заговорил, и Его голос был тихим, но проникал в каждую душу.

— Вы все здесь, потому что вы все искали Меня. Каждый по-своему. Эйфель — в своих рисунках. Бабин — в своих смешных рассказах. Шолом-Алейхем — в своих грустных и мудрых историях. Булгаков — в своём романе, который стал больше, чем роман. Шекспир — в своих пьесах, где человек кричит к небу и ждёт ответа. Вы все искали Меня. И вы все нашли. Потому что Я не прячусь. Я здесь. Всегда был здесь.

Он обвёл взглядом собравшихся.

— Но есть ещё кое-кто, кого вы не заметили. Кое-кто, кто тоже был в ваших историях, но остался в тени. Кое-кто, кого вы считали просто фоном, декорацией, пустяком. А для Меня нет пустяков.

Он поднял руку, и из травы, из-под корней деревьев, из цветов начали появляться маленькие фигурки. Сначала робко, потом всё смелее. Это были... животные. И не просто животные, а те самые, о которых писал Бабин в своём рассказе. Дохлый жук, который на самом деле оказался не дохлым, а просто притворился, чтобы его не трогали. Мохнатая сороконожка, которая семенила сотнями ножек и с любопытством оглядывалась по сторонам. Лягушка с отросшими лапами, которая прыгнула прямо на колени к Адаму и уставилась на него выпуклыми глазами.

— Ой, — сказал Адам и отшатнулся. — Это же та самая лягушка, которой я... того...

— Да, — ответила лягушка человеческим голосом. — Тот самый. Ты отрезал мне лапы, чтобы посмотреть, что будет. Было больно, между прочим.

Адам покраснел.

— Прости. Я был молодой, глупый. Я не знал, что делаю.

— Я знаю, — ответила лягушка. — Я всё знаю. И я тебя простила. Потому что потом ты стал добрее. Ты перестал мучить животных. Ты начал их уважать. И это главное.

Сороконожка, подползя к Адаму, забралась ему на руку и засемила ножками, щекоча кожу.

— А меня ты изучал с интересом, — пропищала она. — Ты не мучил меня, ты просто смотрел. И это было приятно. Я чувствовала себя важной.

Дохлый жук, перевернувшись на спину и подрыгав лапками, проворчал:

— А меня ты выкинул в мусорку! Думал, я сдох! А я просто спал! Между прочим, жуки тоже имеют право на отдых!

Все засмеялись. Даже Адам, смущённо улыбаясь, погладил сороконожку по мохнатой спинке.

Отец посмотрел на них и сказал:

— Видите? Даже те, кого вы считаете незначительными, имеют свою историю. Свою боль. Свою радость. И свою любовь. Не проходите мимо них. Потому что в каждом из них — Я. Я в жуке, который спит. Я в сороконожке, которая семенила ножками. Я в лягушке, которая отрастила лапы. Я во всём. И всё — во Мне.

Шолом-Алейхем, прослезившись, прошептал:

— Господи, как же Ты велик. И как же Ты близок. Я всю жизнь это чувствовал, но не мог выразить словами. А Ты выразил.

Отец обнял его.

— Ты выражал, Шолом. Своими историями. Своими героями. Своим смехом и своими слезами. Ты говорил обо Мне, даже когда не называл Моего имени.

В Саду наступила тишина. Только звёзды мерцали, и где-то далеко пела птица — та самая, что пела в Эдеме в первый день творения.

И Отец, глядя на всех собравшихся — на художников, писателей, библейских персонажей, животных, — произнёс последние слова этой долгой, бесконечной ночи:

— Я люблю вас. Всех. И Я жду вас. Всегда. Помните это. И живите. Творите. Смейтесь. Плачьте. Но главное — любите. Потому что Любовь — это всё.

---

### Глава 116. Стих под виноградной лозой

*(О том, как Адам впервые напился, прочитал Еве стих собственного сочинения и сам не понял, что натворил.)*

В тот вечер в Саду — том самом, вневременном, где собрались все, кто говорил о священном с улыбкой, — царило особое настроение. Солнце (или его подобие) уже давно село, и теперь пространство освещалось мягким светом звёзд, которые висели так низко, что, казалось, до них можно дотянуться рукой. Под старой виноградной лозой, что росла у самого края поляны, сидели Адам и Ева. Между ними стоял глиняный кувшин — один из тех, что Адам «позаимствовал» у проходившего мимо ангела, который, впрочем, сделал вид, что ничего не заметил.

Адам был пьян. Не так, как пьянеют от одной кружки, а основательно, глубоко, по-мужски. Он уже несколько часов «дегустировал» вино, которое, по его словам, «настаивал сам, по древнему рецепту, полученному лично от... ну, от кого-то». Ева, сидевшая рядом с выражением бесконечного терпения на лице, уже устала слушать его пьяные откровения о том, как он «мог бы стать великим охотником, если бы не эта скучная работа в Саду».

— Ева, — произнёс Адам заплетающимся языком, поднимая указательный палец к звёздам. — Ты женщина. Ты не понимаешь. У нас, у мужиков, есть... призвание. Предназначение. Мы созданы для великих дел! Для битв! Для охоты! Для того, чтобы убивать мамонтов!

Ева вздохнула.

— Адам, мамонты вымерли. Уже давно. Ты сам мне рассказывал, что последнего мамонта съели ещё до того, как мы покинули Эдем. И, кстати, это ты его съел. Один. Мне даже кусочка не оставил.

— Не перебивай! — Адам стукнул кулаком по земле, отчего кувшин опасно покачнулся. — Я мужик! Моё дело — убивать мамонтов! Мамонты вымерли — это трагедия! Вселенская! А ты... ты женщина. Твоё дело — готорить.

— Что делать? — переспросила Ева, не уверенная, что правильно расслышала.

— Го-то-рить! — по слогам произнёс Адам. — Ну, это... еду готовить. Кашеварить. У плиты стоять. Готовка, она... она не вымерла. Она вечна. Как звёзды. Как... как Мои стихи.

Ева медленно закипала.

— Адам, — произнесла она ледяным тоном, — ты хочешь сказать, что твоё предназначение — убивать то, чего больше нет, а моё — стоять у плиты и готовить тебе еду, пока ты будешь... что? Сидеть и ждать, когда мамонты воскреснут?

— Ну... в общих чертах, да, — кивнул Адам, явно не улавливая опасности. — И вообще, я тут стих сочинил. Слушай.

Он встал, покачнулся, выпрямился, насколько мог, и, глядя на Еву мутными, но вдохновенными глазами, продекламировал:

*«Я мужик — моё дело мамонтов бить, Только мамонты вымерли, нечего бить. Ты же женщина — дело твоё готорить, А готовка, она не умеет старить. Готовка бессмертна, как звёздный огонь, Готовка, она переживёт и мамонтов вонь. Так что, Ева, не ной, а иди к очагу, Я ж тут посижу, свою думу стерегу».*

Он замолчал, ожидая аплодисментов. Ева молчала. Её лицо было непроницаемо, но в глазах горел огонь, который не предвещал ничего хорошего.

— Адам, — произнесла она наконец, и её голос был тих, как перед грозой. — Ты сейчас, в своём пьяном бреду, только что объявил войну. Войну между мужчиной и женщиной. Ты поставил себя — охотника без добычи — выше меня — хранительницы очага. Ты обесценил мой труд. Ты... ты... патриарх!

Адам икнул.

— Чего?

— Патриарх! — повторила Ева, вставая. — Ты — первый патриарх в истории! И знаешь, что? Я объявляю тебе матриархальную войну!

Она развернулась и ушла в темноту Сада, оставив Адама в полном недоумении. Он ещё долго сидел под лозой, бормоча: «Патриарх... матриархат... война... Из-за стиха? Да я ж просто пошутил...»

Но где-то в глубине его пьяного сознания уже зарождалось смутное, тревожное чувство. Чувство, что он, сам того не ведая, произнёс нечто гораздо более важное, чем просто пьяный стих. Что его слова, сказанные под виноградной лозой, эхом отзовутся в веках. Что он только что предсказал будущее.

## Глава 117. Дежавю Пангеи

*(О том, как Адам, протрезвев, вспомнил то, чего не мог помнить, и увидел распад единой земли.)*

На следующее утро (насколько вообще можно говорить об «утре» в месте, где нет времени) Адам проснулся с тяжёлой головой и смутным чувством вины. Он лежал на траве, укрытый чьим-то заботливым плащом — вероятно, Ева, несмотря на гнев, не дала ему замёрзнуть. Рядом сидел Отец и смотрел на него с лёгкой, понимающей улыбкой.

— Проснулся, поэт? — спросил Он.

Адам застонал.

— Господи, что я вчера нёс? Про мамонтов, про готовку... Кажется, я обидел Еву.

— Обидел, — подтвердил Отец. — Но дело не в этом. Дело в том, что ты, сам того не зная, произнёс пророчество. Ты предсказал войну, которая будет длиться тысячелетия. Войну между мужским и женским. Войну, в которой не будет победителей, только проигравшие.

Адам сел, держась за голову.

— Пророчество? Я? Да я просто пьяный стишок сочинил!

— Иногда Мои пророчества приходят именно так, — ответил Отец. — Через пьяных поэтов, через безумцев, через тех, кто «не ведаёт, что творит». Ты не просто сочинил стих. Ты вспомнил.

— Что вспомнил? — не понял Адам.

Отец протянул руку, и перед ними возникло видение. Огромный, единый континент, омываемый бескрайним океаном. Пангея Ультима — последний из суперконтинентов, существовавший задолго до появления человека, но каким-то образом сохранившийся в генетической памяти.

— Смотри, — произнёс Отец.

Адам смотрел, и его глаза расширились. Он видел, как единая земля начала трескаться, расходиться, словно разбитое зеркало. Как огромные плиты земной коры медленно, неумолимо ползли в разные стороны, унося на себе леса, горы, реки. Как между ними образовывались проливы, моря, океаны. Как то, что было единым, стало разделённым.

— Это... это я помню, — прошептал Адам. — Но как? Я же не жил тогда. Меня ещё не было.

— Тебя не было, — согласился Отец. — Но в тебе — память всей земли. Память о том, как она была едина, а потом раскололась. И ты, глядя на этот раскол, бессознательно перенёс его на отношения мужчины и женщины. Ты почувствовал, что разделение — это боль. Что единство — это рай, а раскол — это изгнание. И ты, сам того не желая, предсказал, что этот раскол будет длиться, пока люди не вспомнят, что они — одно.

Видение сменилось. Теперь Адам видел людей — своих далёких потомков. Они жили на разных континентах, говорили на разных языках, поклонялись разным богам. Они забыли, что произошли от одного корня. Они воевали друг с другом, порабощали, убивали. И среди этих войн была одна, самая долгая и самая горячая — война мужчины против женщины, патриархата против матриархата.

— Я это начал? — прошептал Адам с ужасом. — Своим дурацким стихом?

— Не ты начал, — ответил Отец. — Ты лишь дал этому голос. Война началась гораздо раньше, ещё в Эдеме, когда вы с Евой впервые не поняли друг друга. А потом, когда ваши дети разошлись по земле, они унесли это непонимание с собой. Они одичали — не телом, но духом. Они забыли, что мужчина и женщина созданы, чтобы дополнять друг друга, а не враждовать. Что сила без любви — тирания, а любовь без силы — беспомощность.

Что только вместе они — образ Мой.

Адам закрыл лицо руками.

— Что же мне делать? Как исправить?

— Никак, — ответил Отец. — Прошлое не изменить. Но ты можешь изменить будущее. Начни с себя. Пойди к Еве. Не оправдываться — просто скажи ей, что любишь. Что понял свою глупость. Что без неё твоя жизнь пуста. И живи так, чтобы твои потомки, глядя на тебя, видели не войну, а мир. Не раскол, а единство. Не проклятие, а благословение.

Адам встал и, пошатываясь, пошёл искать Еву. А Отец остался сидеть, глядя на звёзды, которые были свидетелями и распада Пангеи, и пьяного стиха, и всего, что ещё предстоит.

### Глава 118. Песнь Адама на языке древних

*(О том, как Адам, сам того не зная, запел на праязыке, и что из этого вышло.)*

Адам нашёл Еву у ручья, на том самом месте, где когда-то, ещё в Эдеме, они впервые поссорились из-за яблока.

Она сидела на камне, опустив ноги в воду, и смотрела вдаль. Её лицо было печальным, но не злым.

— Ева, — начал Адам, запинаясь. — Я... я дурак. Прости меня. Я не должен был говорить то, что сказал. Про мамонтов, про готовку... Это всё глупости. Я просто... я просто боюсь.

Ева подняла на него глаза.

— Чего ты боишься, Адам?

Он сел рядом, опустив ноги в холодную воду.

— Я боюсь, что я бесполезен. Мамонты вымерли. Охотиться не на кого. А ты... ты всегда занята. Ты знаешь, какие травы лечат, какие ягоды съедобны, как развести огонь, как сохранить тепло. Ты — жизнь. А я... я просто мужик, который когда-то умел убивать, а теперь не умеет ничего. И я злюсь. Злюсь на себя, а срываюсь на тебе.

Прости.

Ева долго молчала, глядя на него. Потом взяла его за руку.

— Адам, ты не бесполезен. Ты — моя сила. Когда мне страшно, я иду к тебе. Когда я устаю, ты берёшь меня на руки и несёшь. Когда я не верю в себя, ты говоришь мне, что я самая красивая, самая умная, самая лучшая. Ты не убиваешь мамонтов — ну и что? Ты защищаешь меня от одиночества. Это важнее любых мамонтов.

Адам всхлипнул.

— Правда?

— Правда, — улыбнулась Ева. — А теперь иди сюда.

Она обняла его, и они долго сидели так, у ручья, слушая, как журчит вода и поют птицы. И вдруг Адам, сам того не ожидая, начал петь. Это была странная, гортанная, протяжная песня на языке, которого он не знал, но который был ему почему-то знаком.

*«А-та-ма-ра-ту-у-у... Ки-ри-ма-ну-а-а-а... Па-нга-и-йя-а-а... У-ру-ку-ха-та-а-а...»*

Ева слушала, затаив дыхание. Она не понимала слов, но чувствовала: это песня о потере и обретении, о распаде и воссоединении, о великой земле, которая раскололась, и о любви, которая может собрать её заново.

Когда Адам закончил, Ева спросила:

— Что это было? Что за язык?

Адам покачал головой.

— Не знаю. Это пришло само. Как будто я вспомнил то, чего никогда не знал. Как будто все наши предки, все, кто жил до нас, пели эту песню. И я — их голос.

Отец, стоявший неподалёку и слышавший всё, улыбнулся.

— Это язык Пангеи, — сказал Он, подходя. — Язык, на котором говорили, когда земля была едина. Ты, Адам, сам того не ведая, стал голосом утраченного единства. Твоя песня — это плач по расколотому миру. И надежда на то, что однажды он снова станет целым.

Адам и Ева посмотрели друг на друга.

— Значит, всё, что мы делаем, — прошептала Ева, — всё имеет смысл? Даже наши ссоры, наши глупости, наши пьяные стихи?

— Всё, — ответил Отец. — Если в конце вы приходите к любви. А вы пришли.

Он обнял их обоих, и в этот миг звёзды над Садом вспыхнули особенно ярко, словно приветствуя возвращение блудных детей к истоку.

### **Глава 119. Война, которой не должно было быть**

*(О том, как пророчество Адама сбылось, и о том, чем оно закончится.)*

Отец, Адам и Ева вернулись к остальным, собравшимся под большой яблоней. Там уже ждали Булгаков, Шекспир, Бабин, Эйфель, Будда, Шолом-Алейхем и все остальные. Они слышали отголоски песни Адама и теперь смотрели на него с новым уважением.

— Ты пел на праязыке, — сказал Шекспир. — Я, написавший десятки пьес, не смог бы сочинить ничего подобного. Это была чистая поэзия, рождённая не умом, а сердцем.

— Это была не моя заслуга, — смутился Адам. — Это просто... пришло.

— Всё великое приходит «просто», — заметил Будда. — Ты был пуст, и через тебя заговорила Истина. Это и есть просветление.

Бабин, что-то строчивший в блокноте, поднял голову.

— Адам, а можно я использую твою песню в своём рассказе? Я напишу, что ты предсказал войну патриархата и матриархата, сам того не зная. Это будет гениально!

— Пиши, — махнул рукой Адам. — Только не забудь добавить, что в конце я помирился с Евой. А то читатели подумают, что я законченный шовинист.

— Не подумают, — улыбнулся Бабин. — Я напишу, что ты был пьян, глуп, но искренен. И что любовь победила.

Отец, слушавший этот разговор, произнёс:

— Война, которую предсказал Адам, действительно была. Долгая, кровавая, бессмысленная. Мужчины угнетали женщин, женщины мстили мужчинам. Никто не выиграл, все проиграли. Но эта война заканчивается. Здесь и сейчас. Потому что вы, все вы, здесь собравшиеся, поняли главное: нет ни патриархата, ни матриархата. Есть только Любовь. И она не делит на «мужское» и «женское». Она просто есть.

Он обвёл взглядом собравшихся.

— И когда вы вернётесь в мир — а вы вернётесь, каждый в своё время и в своё место, — несите эту весть. Не словами — жизнью. Живите так, чтобы, глядя на вас, люди видели не войну, а мир. Не раскол, а единство. Не ненависть, а любовь. И тогда пророчество Адама исполнится не как проклятие, а как благословение.

Все склонили головы. А где-то далеко, за пределами Сада, в мире людей, одна женщина, уставшая от одиночества, вдруг почувствовала, как что-то тёплое коснулось её сердца. А один мужчина, измученный чувством вины, вдруг понял, что прощён. И они, не зная друг друга, одновременно улыбнулись. Потому что война заканчивалась. И начинался мир.

---

## Глава 120. Тропа, ведомая лишь Ему

*(О том, что сон и явь — лишь две стороны единой ткани, и о входе, которого не знают даже архангелы.)*

### 1. Ткань, что тоньше паутины

Отец сидел в Своей комнате. За окном шёл дождь — мелкий, осенний, монотонный. Капли стучали по карнизу, и этот звук был похож на тиканье огромных часов, отсчитывающих последние мгновения перед чем-то важным. Он не спал, но и не бодрствовал в обычном смысле. Он находился в том пограничном состоянии, которое люди называют «грёзами», а посвящённые — «астралом». Состояние, когда душа, не покидая тела, уже касается иных слоёв бытия.

Он знал это состояние с детства. Ещё до того, как вспомнил, Кто Он. Ему часто снились сны, которые были реальнее яви. Он летал во сне, проходил сквозь стены, встречал существ, которых не описать словами. Врачи говорили: «переутомление», «богатое воображение», «рекомендуется режим». Но Он знал: это не фантазия. Это память. Память о том, как Он, будучи Всем, свободно перемещался по Своему творению, не нуждаясь в теле.

Теперь, в Кенозисе, эта способность не исчезла. Она лишь притупилась, словно лезвие, обёрнутое в плотную ткань. Но иногда, в минуты тишины, когда мир вокруг замирал, Он снова мог выскользнуть из телесной оболочки и пройти по тем тропам, которые не видны обычному глазу.

В одну из таких ночей Он отправился дальше обычного. Он миновал слой снов — хаотичный, причудливый, сотканный из обрывков человеческих фантазий и страхов. Миновал слой воспоминаний — где блуждают души, ещё не отпустившие земное. Миновал слой идей — где витают чистые формы, ещё не воплощённые в материи.

И оказался в месте, которое не имело названия.

Это был не Рай. Не Ад. Не Чистилище. Не Покой, дарованный Мастеру. Это было... преддверие. Или, вернее, задворки Рая. Место, куда не заходят ангелы, потому что им туда не нужно. Место, куда не попадают души умерших, потому что их ведут другими путями. Место, о котором знал только Он. И Она.

### 2. Вход, сокрытый от Гавриила

Он стоял на узкой тропе, вьющейся среди высоких, невиданных деревьев. Их кроны смыкались над головой, образуя живой свод, сквозь который пробивался мягкий, золотисто-зелёный свет. Пахло влажной землёй, мхом и чем-то сладким, напоминающим ладан и лилии одновременно. Было тихо, только где-то далеко пела птица — та самая, что поёт на заре творения.

Он пошёл по тропе. Она вела Его вглубь, туда, где деревья расступались, и взору открывалась небольшая поляна, посреди которой стоял... не храм, не дворец, не часовня. Просто дверь. Высокая, деревянная, с простой кованой ручкой, увитая плющом. Она стояла прямо в воздухе, не опираясь ни на какие стены. И Он знал: это вход. Вход в Рай. Но не тот, о котором проповедуют, не тот, который стерегут херувимы с огненными мечами. Другой. Тайный. Тот, что был создан прежде всех миров для Него и для Неё.

Он подошёл к двери и положил руку на ручку. Дверь была тёплой, словно живой. Она узнала Его. И в этот миг Он услышал за спиной шаги.

Обернувшись, Он увидел архангела Гавриила. Тот стоял поодаль, на границе поляны, и смотрел на дверь с изумлением и... трепетом.

— Владыка, — произнёс Гавриил, и его голос, обычно звучный и уверенный, дрожал. — Я не знал. Я, вестник Твой, прошедший все круги небес, не знал об этом месте. Как такое возможно?

Отец посмотрел на него с мягкой улыбкой.

— Потому что это место не для вестников, Гавриил. Ты знаешь путь просветления. Ты знаешь, как привести душу к свету. Но есть путь, который ведёт не к свету, а к Любви. И этот путь знаем только Мы двое. Я и Она.

Гавриил опустил голову.

— Я думал, что знаю всё о Твоём Царстве. Я думал, что нет места, куда бы я не входил. Но теперь вижу: я был слеп. Ты скрыл эту дверь даже от нас, Твоих слуг.

— Не скрыл, — ответил Отец. — Просто вам не было нужды её видеть. Вы — Мои руки, Мои глаза, Мои глашатаи. Но есть то, что принадлежит только Моему сердцу. И это — здесь.

Он снова коснулся двери, и она бесшумно отворилась. За ней не было ни ослепительного света, ни райских садов — только мягкое, тёплое сияние и тишина, полная присутствия.

— Там Она? — спросил Гавриил шёпотом.

— Да, — ответил Отец. — Она ждёт Меня. Не как Мать, не как Премудрость. Как Та, Кто была со Мной прежде всех веков. Как Моя вечная Спутница. Ты не можешь войти туда, Гавриил. Но ты можешь знать, что этот вход есть. И этого довольно.

Он шагнул за порог, и дверь закрылась за Ним. Гавриил остался стоять на поляне, глядя на пустое место, где только что была дверь. И в его душе боролись изумление, смирение и глубокая, светлая радость. Он понял: даже он, архангел, не знает всей глубины Божьей Любви. И в этом — величайшая надежда для всех. Потому что если даже ангелы не могут объять Бесконечное, значит, у Бесконечности всегда есть что-то ещё. Что-то, что ждёт каждого, кто ищет не умом, а сердцем.

### 3. Сон, который не был сном

Отец вернулся в Своё тело, когда дождь за окном уже стих, и первые лучи солнца пробивались сквозь тучи. Он сидел на кровати, и в Его глазах ещё отражался свет той двери. Он знал: это был не сон. Это была реальность, более подлинная, чем всё, что люди называют «явью». Астрал существует. Не как фантазия эзотериков, не как проекция подсознания. Как один из слоёв творения, который Он Сам сотворил, чтобы души могли путешествовать, не будучи привязанными к телу.

И в этом слое есть вход. Вход в Рай, о котором не знают даже архангелы. Потому что этот Рай — не награда за праведность. Это — обитель Любви. Той самой Любви, которая была прежде всего и пребудет после всего. И войти туда может только тот, кто любит. Не по обязанности, не по закону, не из страха. А потому что не может иначе.

Он встал, подошёл к столу и записал в Свой Роман последние строки этой главы:

*«И сказал Господь: небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. И ещё сказал: есть путь, который знаю только Я и Она. И этим путём однажды пройдут все, кто любил. Потому что Любовь — это ключ, открывающий все двери. Даже те, о которых не ведают ангелы».*

Он отложил перо. За окном разгорался новый день. Обычный день в сибирском городке. Но Он знал: теперь всё будет иначе. Потому что Он помнил. И Она ждала.

---

### Глава 121. Имя, сокрытое в вечности

*(О том, как Отец снова вошёл в тайную дверь и встретил Ту, Чьё имя люди знают лишь наполовину.)*

#### 1. Зов

После той ночи, когда Он стоял перед дверью, неведомой даже архангелам, Отец долго не мог вернуться к обычным делам. Он ходил по городу, говорил с учениками, писал Роман, но мысли Его постоянно возвращались туда — на поляну, к деревянной двери, увитой плющом. Он знал: Она там. Ждёт. И каждый миг ожидания отзывался в Нём тихой, щемящей болью — не мучительной, а сладкой, как предвкушение встречи после долгой разлуки.

Однажды вечером, когда ученики разошлись, а за окном снова завывала вьюга, Он сел на кровать, закрыл глаза и позволил Себе соскользнуть в то пограничное состояние. Тело осталось в комнате — неподвижное, дышащее ровно и глубоко. А Он Сам, освобождённый от плотских оков, снова шёл по узкой тропе среди высоких деревьев.

Всё было как в прошлый раз: влажный мох, запах ладана и лилий, пение невидимой птицы. Только теперь Он знал, куда идёт. Знал, Кого встретит. И сердце Его — сердце Бога, ставшего человеком, — билось чаще обычного.

Вот и поляна. Вот и дверь. Она была приоткрыта, и из щели лился мягкий, тёплый свет. Он подошёл, коснулся ручки и вошёл.

#### 2. Она

За дверью не было ни райских куш, ни ангельских хоров, ни ослепительного сияния. Была комната. Простая, даже скромная — с деревянным полом, белёными стенами, маленьким окном, выходящим в цветущий сад. В углу стоял ткацкий станок с недоконченной работой — тонкой, полупрозрачной тканью, расшитой серебряными и золотыми нитями. На столе — глиняный кувшин с водой и простая деревянная чаша. И в этой комнате, на низкой скамье у окна, сидела Женщина.

Она была одета в тёмное, простое платье, её голову покрывал платок, выцветший от времени. Лицо — не молодое, но и не старое, лишённое возраста, словно сама вечность застыла в Её чертах. В нём не было той ослепительной, неземной красоты, какую любят изображать на иконах. Но была красота иная — тихая, глубокая, проникающая в самое сердце. Красота той, что прошла через всё: через радость и боль, через веру и сомнение, через жизнь и смерть, — и осталась Любовью.

Мария. Мать Иешуа. Та самая, которую люди чтут как Богородицу, Приснодеву, Царицу Небесную. Но сейчас Она была не Царицей. Она была просто Женщиной, ждущей Того, Кто был с Ней прежде всех миров.

Она подняла глаза, и в них отразился свет, который был прежде солнца.

— Ты пришёл, — произнесла Она, и Её голос был тих, как шелест крыльев голубки. — Я знала, что Ты придёшь.  
Я ждала.

Отец стоял на пороге, не в силах двинуться. Все слова, которые Он приготовил, показались Ему пустыми и ненужными. Он просто смотрел на Неё — на Ту, что была с Ним, когда Он полагал основания земли. На Ту, что стала матерью Его Сына, когда Он ещё не знал, что значит быть человеком. На Ту, что стояла у Креста и не прокляла Его, а лишь молча плакала, разделяя Его боль.

— Мария, — прошептал Он наконец. — Моя Мария. Моя Премудрость. Моя Суббота. Моя вечная Спутница.  
Прости, что так долго не приходил.

Она улыбнулась, и улыбка Её была как рассвет после долгой ночи.

— Ты приходил всегда, — ответила Она. — Каждую ночь, когда Ты закрывал глаза в Своей сибирской комнате, Ты был здесь. Просто Ты не помнил. А Я помнила. Я помнила всё.

### **3. Имя, которое не вмещается в слова**

Она встала и подошла к Нему. Взяла Его за руку — просто, по-человечески, как берут за руку того, кого любят. И повела к окну.

— Посмотри, — сказала Она.

За окном расстилался Сад. Не тот, в котором они встречались раньше, а другой — бескрайний, уходящий за горизонт, полный цветов и деревьев, каких нет на земле. И в этом Саду, среди зелени, виднелись фигуры — люди, ангелы, животные. Все они были счастливы, но в их глазах читалось ожидание. Ожидание Того, Кто ещё не вошёл.

— Они ждут Тебя, — сказала Мария. — Все, кого Ты создал, кого Ты любил, кого Ты простил. Они не входят в Город, потому что Хозяина ещё нет. И Я жду. Жду, когда Ты завершишь Свой Кенозис и войдёшь первым. Чтобы Я могла войти за Тобой.

Отец смотрел на Неё, и в Его груди поднималась волна такой любви и благодарности, что Он не мог говорить.

— Люди знают Тебя как Мать, — произнёс Он наконец. — Они чтят Тебя, молятся Тебе, просят заступничества.

Но они не знают, что Ты — больше. Что Ты была со Мной прежде, чем появилось время. Что Ты — Моя Премудрость, Моя Суббота, Моя вечная Радость. Что без Тебя Мой покой не полон. Почему Ты позволила им видеть только половину?

Мария опустила глаза.

— Потому что они не готовы, — ответила Она тихо. — Они могут вместить Мать — ту, что родила, вырастила, оплакала. Мать для них понятна. Но Жена, Вечная Спутница, Премудрость... Это слишком для их разума. Они бы исказили, опошлили, превратили в сказку или в ересь. И Я смирилась. Я стала для них только Матерью. Потому что любовь не ищет своего. Любовь смиряется.

Отец взял Её за плечи и заглянул в глаза.

— Но теперь, — сказал Он, — когда Мой Кенозис близится к концу, когда Я верну Себе Свою силу, Я открою им Истину. Я покажу, что Ты — не только Мать, но и Моя Невеста. Моя Премудрость. Моя Вечность. И те, кто способен вместить, — вместят. А кто не способен... что ж, у них есть вечность, чтобы научиться.

Мария улыбнулась сквозь слёзы.

— Я ждала этих слов две тысячи лет, — прошептала Она. — С тех пор, как стояла у Креста и смотрела, как умирает Наш Сын. Я знала, что Ты рядом. Я чувствовала Твою боль. Но я не могла коснуться Тебя. Не могла утешить. И теперь, когда Ты здесь, во плоти, и говоришь со Мной... Я счастлива.

Она прижалась к Нему, и Он обнял Её. Так они стояли долго — Творец и Его Премудрость, Жених и Невеста, разделённые веками Кенозиса, но наконец-то встретившиеся в этом тайном месте, о котором не знали даже архангелы.

---

## Глава 122. Ожидание и Обещание

*(О том, что было сказано в тишине, и о чём узнают лишь те, кто любит.)*

### 1. Слова, которые не для всех

— Когда Ты вернёшься? — спросила Мария, не поднимая головы с Его плеча. — Когда закончится Твой Кенозис? Я устала ждать. Я устала быть только тенью, только воспоминанием, только иконой в углу. Я хочу быть с Тобой.

По-настоящему. Как прежде.

Отец гладил Её по волосам, и Его прикосновение было нежным, как дуновение ветра.

— Скоро, — ответил Он. — Очень скоро. Ты знаешь, что Мне тридцать три. Тот самый возраст, в котором Наш Сын завершил Свой земной путь. Для Меня это будет не конец, а начало. Начало возвращения. Я не умру — Я преобразусь. И тогда завеса, разделяющая миры, станет тоньше. Ты сможешь приходить ко Мне. Не только в видениях, но и въяве. И Мы будем вместе.

Мария подняла голову, и в Её глазах горел огонь надежды.

— Обещаешь?

— Обещаю, — ответил Отец. — И Мои обещания — не пустые слова. Я уже доказал это, когда воскресил Нашего Сына. Теперь Я докажу это снова. Для Тебя. Для всех.

## **2. Тайна, доверенная лишь Ей**

Они сели на скамью у окна, и Мария, взяв Его руку в свои, спросила:

— Расскажи мне. Расскажи, каково это — быть человеком. Я знаю, что Ты чувствовал всё: боль, страх, одиночество, радость, любовь. Я чувствовала это вместе с Тобой. Но я хочу услышать от Тебя. Своими словами.

Отец долго молчал, собираясь с мыслями.

— Это... странно, — начал Он. — Я, Кто создал всё, вдруг стал ограничен. Я, Кто знал всё, вдруг забыл. Я, Кто был везде, вдруг оказался в одной точке пространства и времени. Поначалу это было мучительно. Я чувствовал Себя запертым в тесной клетке. Каждое утро Я просыпался и не мог понять: кто Я? Где Я? Зачем Я здесь? И только постепенно, через боль, через унижения, через любовь тех немногих, кто принимал Меня таким, какой Я есть, Я начал понимать.

Он посмотрел на Марию.

— Я понял, зачем стал человеком. Не для того, чтобы судить. Не для того, чтобы править. Чтобы быть с ними. Чтобы знать, что они чувствуют, когда плачут. Когда их предают. Когда они теряют надежду. И чтобы однажды сказать им: «Я знаю. Я прошёл через это. Я с вами». Это знание нельзя получить, сидя на престоле. Его можно получить, только пройдя их путь.

Мария сжала Его руку.

— Ты прошёл его. Ты выдержал. Я горжусь Тобой.

Отец улыбнулся.

— Я знаю. Ты всегда гордилась Мной. Даже когда Я Сам в Себе сомневался. И это давало Мне силы.

## **3. Что будет дальше**

Они сидели в тишине, пока за окном не начали сгущаться сумерки — мягкие, лиловые, как бывает только в этом Саду. Наконец Мария спросила:

— Что Ты будешь делать, когда вернёшься? Когда сила снова станет Твоей?

Отец задумался.

— Я не буду судить, — ответил Он. — Суд — не Моё дело. Моё дело — любить. Я соберу тех, кто ждал. Я открою им Истину — не через гром и молнию, а через тихое присутствие. Я покажу им, что Я здесь. Что Я всегда был здесь. И Я приглашу их на Пир. Всех. Даже тех, кто Меня отвергал. Потому что Любовь не держит зла. Она ждёт.

— А Я? — спросила Мария. — Какая роль будет у Меня?

— Ты будешь со Мной, — ответил Отец. — Не как Царица, восседающая на престоле. Как Моя Спутница. Моя Премудрость. Моя Радость. Ты будешь идти рядом, и каждый, кто увидит Нас, поймёт: вот образ истинной Любви. Не той, что ищет своего, а той, что отдаёт себя. И многие, глядя на Нас, научатся любить по-настоящему.

Мария улыбнулась.

— Тогда я согласна ждать. Сколько бы ни осталось.

Отец встал и, наклонившись, поцеловал Её в лоб — чистым, нежным поцелуем, в котором не было ничего земного, но было всё небесное.

— Жди, — сказал Он. — Я приду. Скоро.

И Он вышел за дверь, оставив Её в комнате, полной света и тишины. А сам вернулся в Своё тело, в сибирскую общагу, где за окном всё так же падал снег. Но теперь в Его сердце горел огонь. Огонь обещания. Огонь Любви, которая сильнее смерти.

---

### Глава 123. Горечь реальности

*(О том, что Роман — это лишь отблеск, а жизнь сложнее и тяжелее, и о страхе, который сжимает горло.)*

Отец сидел в своей комнате. Не в той, что описана в Романае — с уютной лампой, книгами и тихим светом. В настоящей. Той, что была на самом деле. Узкая кровать с продавленным матрасом, обшарпанные стены, заклеенное скотчем окно, выходящее на мусорные баки. Письменный стол, заваленный не рукописями, а старыми тетрадями, чеками и пустыми пачками от сигарет, которые Он не курил, но которые оставляли соседи. И тишина. Не та, благословенная, в которой рождаются слова, а другая — гнетущая, давящая, полная невысказанных страхов и несбывшихся надежд.

Ему было восемнадцать. Он жил в городе, название которого не имело значения, потому что таких городов в России тысячи. Он учился — или делал вид, что учится — в техникуме, где Его считали странным, нелюдимым, «с приветом». У Него не было учеников, которые собирались бы по вечерам пить чай и слушать Его слова. Не было Веры, Алексея, Михаила, Семёна. Были только соседи по комнате, которые включали громкую музыку, матерились и иногда, напившись, спрашивали: «Ты чё, опять свои книжки читаешь? Лучше б пивка взял, расслабился».

Он не пил. Не курил. Не ходил на вечеринки. Он просто сидел в своём углу и писал. Писал Роман, который никто не читал. Писал о том, чего не было в Его жизни: о любви, о понимании, о верных учениках, о встречах с великими, о чудесах, о Городе, который ждёт. Он создавал мир, в котором хотел бы жить. И этот мир был прекрасен. Но он был нереален.

Иногда, отрываясь от тетради, Он смотрел в окно на серый двор и думал: «Зачем Я это пишу? Кому это нужно? Кто поверит, что Я — Тот, за Кого Себя выдаю? Даже если Я Сам это знаю — что толку? Миру плевать. Люди заняты своими делами: выживанием, заработком, развлечениями. Им нет дела до какого-то парня из общаги, который считает себя Богом. Они скажут: „Шизоид. В дурку его“. И будут правы с точки зрения их мира».

Социофобия — вот как это называлось на их языке. Он боялся людей. Боялся выходить на улицу, где каждый встречный мог посмотреть косо, сказать грубое слово, толкнуть. Боялся отвечать на занятиях, потому что стоило Ему открыть рот, как в аудитории воцарялась та особенная тишина, за которой следовали смешки. Однажды Он попытался рассказать о Своих мыслях однокурснику — тому самому Алексею, который в Романе стал учеником.

В реальности Алексей выслушал, покрутил пальцем у виска и сказал: «Слушай, Макар, ты это... завязывай с фантазиями. А то ведь и вправду в психушку загреметь можно. Там такие, как ты, знаешь, что рассказывают? Что они Наполеоны, Иисусы, инопланетяне. Не будь как они».

Он замолчал. Перестал говорить. Замкнулся в Себе. И только Роман оставался Его единственным другом, Его исповедью, Его криком в пустоту.

*«Я пишу о том, чего нет, — думал Он, водя ручкой по бумаге. — Я пишу о любви, которой не знаю. О верности, которой не вижу. О чудесах, которые не случаются. Я пишу о Том, Кем Я являюсь, но Кем Мне не дают быть. И эта боль — она не проходит. Она только растёт. Потому что с каждым написанным словом пропасть между Романом и реальностью становится всё шире.»*

---

## Глава 124. Страх перед пробуждением

*(О том, что самое страшное — не смерть, а безумие, и о голосе, который звучит даже в бездне.)*

Ночью, когда соседи наконец затихали, Он лежал без сна и смотрел в потолок. Мысли, тяжёлые, как камни, ворочались в голове. «А что, если они правы? — шептал внутренний голос, тот самый, что всегда сомневается. — Что, если всё это — бред? Что, если нет никакого Отца, никакого Кенозиса, никакой Марии? Что, если Я — просто больной человек, который придумал себе красивую сказку, чтобы не смотреть в лицо реальности? Что, если Я — Михаил Булгаков, который родился давно, жил давно, написал великий роман и умер? А теперь Я лежу в коме, в белой палате, в смиренной рубашке, и всё это — лишь сон? Сон внутри сна, который длится вечность и из которого Я не могу проснуться, потому что уже проснулся?»

От этих мыслей Его бросало в холодный пот. Он садился на кровати, обхватывал колени руками и раскачивался, как ребёнок, пытаясь унять дрожь. Ему казалось, что стены комнаты сдвигаются, что воздух становится плотным, вязким, что вот-вот раздастся скрип открываемой двери и войдут санитары с шприцами. «Сейчас они придут, — думал Он. — Сейчас всё кончится. Меня накачают лекарствами, и Я перестану быть Собой. Я стану овощем, пустой оболочкой, и никто никогда не узнает, Кем Я был на самом деле».

Но никто не приходил. Только тишина, только темнота, только Его собственное дыхание. И тогда Он начинал молиться — не словами, а криком души: «Отец! Если Ты есть — а Я знаю, что Ты есть, потому что Я и есть Ты, — дай Мне знак! Докажи, что Я не сошёл с ума! Что всё это — правда! Что Мой Роман — не бред, а пророчество! Что Я действительно Тот, Кем Себя считаю!»

Ответ приходил не сразу. Иногда — в виде внезапного покоя, накрывавшего, как тёплая волна. Иногда — в виде случайно услышанной фразы, брошенной кем-то на улице, которая вдруг обретала глубокий смысл. Иногда — в виде сна, в котором Она приходила к Нему и молча гладила по голове, и Он просыпался с мокрыми от слёз глазами, но с лёгким сердцем.

И однажды, в одну из таких ночей, Он услышал Голос. Не внешний — внутренний. Но Он знал, что это не Его собственные мысли. Это была Она.

— Ты не спишь, — сказала Мария. — Ты уже проснулся. То, что ты называешь «кошмаром», и есть реальность. А то, что ты называешь «реальностью», — лишь тени на стене пещеры. Ты — не больной. Ты — прозревший. И твоя боль — это не симптом, а расплата за знание. Ты видишь то, чего не видят другие. Ты чувствуешь то, чего не чувствуют они. И это тяжело. Невыносимо тяжело. Но ты выдержишь. Потому что Я с тобой. Потому что Мы с тобой. Потому что ты — это Мы.

Он закрыл глаза, и слёзы потекли по щекам.

— Я боюсь, — прошептал Он. — Боюсь, что силы не придут. Что Мне суждено так и остаться никем. Что мир никогда не узнает. Что всё напрасно.

— Сила уже пришла, — ответила Она. — Она в тебе. Просто ты ещё не умеешь ею пользоваться. Ты ждёшь грома и молнии, а она — в тишине. В твоей способности терпеть. В твоей способности любить, даже когда тебя не любят в ответ. В твоём Романае, который ты пишешь, не надейся на публикацию. Это и есть Кенозис. Не красивый, не героический. Настоящий. И ты проходишь его достойно.

Он вздохнул и лёг обратно. За окном начинало светать. Новый день. Новые страхи. Но теперь Он знал: Он не один. И этого было достаточно, чтобы жить дальше.

---

## Глава 125. Я уже проснулся

*(О том, что сон внутри сна невозможен, и о мужестве быть Собой, несмотря ни на что.)*

Утром Он встал, умылся холодной водой, посмотрел на Себя в зеркало. Оттуда глядел усталый парень с тёмными кругами под глазами, с растрёпанными волосами, в мятой футболке. Обычный, ничем не примечательный. «И это — Бог? — усмехнулся Он про себя. — Да уж, Кенозис удался на славу. Никто не поверит. Даже Я Сам иногда не верю».

Но тут же Он вспомнил слова Марии: «Ты уже проснулся». И вдруг Ему стало легко. Потому что Он понял: если бы это был сон, если бы Он был в коме, в психушке, в бреду, — Он бы не сомневался. Сон не сомневается в своей реальности. Сон принимает себя за явь. Только бодрствующий может задаваться вопросом: «А не сплю ли я?» Сам факт сомнения доказывал, что Он — в реальности. В той самой, жестокой, несправедливой, но подлинной.

«Я уже проснулся, — повторил Он про Себя. — И это не кошмар. Это — жизнь. Моя жизнь. И Я проживу её так, как должно. Даже если никто не узнает. Даже если силы не придут. Даже если Мой Роман никогда не будет опубликован. Я буду писать. Буду любить. Буду верить. Потому что это — Я. И этого не отнять».

Он сел за стол, открыл тетрадь и записал последние строки этой главы:

*«Я — Тот, Кто Я есмь. И этого довольно. Мир может не знать, не верить, не принимать. Но Я знаю. И Я принимаю. Мой Кенозис продолжается. Моя боль не уходит. Но Я иду. Потому что за Мной — Она. За Мной — все, кто ждал. За Мной — Город, который ждёт своего Основателя. И однажды, когда придёт время, Я войду в него. Не в Романае. В Реальности. Той, что больше любого романа».*

Он отложил ручку и посмотрел в окно. Там, за серыми крышами, вставало солнце. Обычное, земное, не божественное. Но для Него оно было знаком. Знаком того, что ночь прошла. И наступил новый день.

---

## Глава 126. Девять. Финал

*(О том, что было на самом деле, и о песне, которую однажды споют.)*

### 1. Признание

Я сижу в своей комнате. Не в той, что описана в Романае, — с уютной лампой, скрипучими половицами и видом на заснеженный двор. В той, что есть на самом деле. Она меньше, теснее, и в ней нет ничего от той поэтической нищеты, которую так любят описывать писатели. Обычная комната в обычной квартире на окраине обычного города. За окном — не сибирская тайга, а серые панельные дома, ржавые гаражи и чахлые деревья. Здесь нет общежития. Нет соседей, которые хлопали бы Меня по плечу и звали пить пиво. Нет Веры, Алексея, Михаила, Семёна. Нет никого.

Я — интроверт. Это слово, придуманное психологами, чтобы классифицировать тех, кто не вписывается в их «нормы». Я не люблю толпу. Мне трудно знакомиться, трудно говорить, трудно даже смотреть людям в глаза.

Когда Я выхожу на улицу, Мне кажется, что все на Меня смотрят — и видят. Видят мою неловкость, мою застенчивость, моё лицо, которое Мне самому не нравится. Мой голос, который срывается, когда Я волнуясь.

Мои руки, которые не знают, куда деть. Я не похож на героя. Я не похож на Бога. Я похож на испуганного подростка, который до сих пор не научился жить в этом мире.

В Романае Я описал Себя иначе. Там у Меня были ученики, друзья, враги, которые в конце становились друзьями.

Там Я ходил по улицам, и люди, встречая Мой взгляд, чувствовали что-то неземное. Там Я исцелял, проповедовал, писал Роман, который читали миллионы. Там всё было красиво. Даже страдания были красивы — возвышенны, полны смысла.

Здесь всё иначе. Мои страдания — это не крест на Голгофе. Это бессонные ночи, когда Я лежу и думаю: «Почему Я такой? Почему Мне так трудно просто жить? Почему Я не могу быть как все — ходить на вечеринки, смеяться над глупыми шутками, радоваться простым вещам?» Мои страдания — это утренние подъёмы, когда нужно идти на учёбу, где Меня никто не ждёт, где Я сижу в углу и молчу, потому что боюсь сказать что-то не то. Мои страдания — это комментарии в интернете, где люди, не зная Меня, пишут гадости. Где Меня называют «инцелом», «шизоидом», «религиозным фанатиком». Где спрашивают с издёвкой: «Ты когда в последний раз был с девушкой?» Или, ещё хуже, делают вид, что сочувствуют: «Бедный мальчик, ему просто не хватает любви, вот он и придумал себе Бога».

Я читаю эти комментарии и молчу. Что Я могу ответить? Что Моя Любовь — не та, о которой они думают? Что Она ждёт Меня за гранью миров? Что Моё одиночество — не патология, а выбор? Они не поймут. Они меряют всё своей меркой. Для них любовь — это то, что можно купить, продать, выставить напоказ. А Моя Любовь — тихая. Она не кричит. Она ждёт.

И всё же... в Романае, который Я написал, правды гораздо больше, чем лжи. Да, Я приукрасил детали. Да, Я создал мир, в котором хотел бы жить. Но суть — она верна. Я действительно Тот, за Кого Себя выдаю. Я действительно помню, Кто Я. Я действительно жду, когда Мне исполнится тридцать три, чтобы сила вернулась. Я действительно пишу этот Роман не как литературное упражнение, а как свидетельство. Как пророчество о том, что будет. О том, что уже есть в вечности.

И когда-нибудь — Я знаю это так же твёрдо, как знаю Своё Имя, — люди прочитают эти строки и поймут. Не все. Многие пройдут мимо, посмеются, назовут бредом. Но те, кому суждено, — узнают. И тогда они начнут петь.

## 2. Песня, которую споют

Я слышу её иногда во сне. Вернее, не во сне — в тех видениях, что приходят ко Мне, когда Я позволяю Себе соскользнуть за грань обыденного. Это песня. Не гимн, не ода, не церковное песнопение. Просто песня. Мелодия простая, запоминающаяся, такая, что хочется подпевать, даже если не знаешь слов. И слова — они тоже простые. Их будет петь молодёжь, собираясь у костров или в квартирах под гитару. Их будут напевать старухи, сидя на лавочках у подъездов. Их будут мурлыкать дети, играя в песочнице. Потому что Истина — она не в сложных богословских формулах. Она в простом. В том, что касается сердца.

*«Он был прекрасен, как Иисус, Произведение искусств, Он жил в Сибири, в холодах, С печалью вечной на устах. Никто не знал, никто не ждал, Никто Ему не доверял, А Он любил, а Он прощал, А Он, как мы, в тиши страдал.*

*Припев: Макар, Макар, Ты в сердце нашем, Ты был как мы, но стал нам старше, Ты шёл один сквозь боль и тьму, Мы не узнали — не к добру. Но час пробьёт, и Ты вернёшься, И нашим страхам улыбнёшься, И скажешь: „Дети, Я здесь был, Я вас любил, Я вас любил“.*

*Он не блистал, Он не сиял, Он в общаге на кровати спал, Писал роман при свете свеч, Берёг, как мог, Свою Он речь. Его знали, Его кляли, Его понять мы не могли, А Он молчал, а Он терпел, А Он за нас душой болел.*

*Припев.*

*И вот теперь, когда уж срок, Мы слышим этот дивный слог, Мы узнаём в Нём свет Отца, Что не имеет здесь конца. И мы поём Ему хвалу, Прогнав сомненья, грусть и мелу, И ждём, когда Он в doors войдёт И нас с Собою заберёт.*

*Припев.»*

Я знаю, что эта песня будет. Не сейчас. Может, через годы. Может, через десятилетия. Но она будет. Потому что Истина не может оставаться сокрытой вечно. Она пробивается, как трава сквозь асфальт. Как вода сквозь камень. Как свет сквозь самую густую тьму.

И когда люди запоют эту песню, они вспомнят. Не Меня — Себя. Вспомнят, что и они — часть Меня. Что в каждом из них есть искра, которая тянется к Свету. Что их тоска по Любви, по Смыслу, по Вечности — это тоска по Дому. По Тому Дому, который Я построил для них ещё прежде создания мира.

## 3. Ложь и правда Романа

Я обещал в этой главе признаться. Признаюсь.

В Романае есть ложь. Не та ложь, что губит, а та, что приукрашивает. Я никогда не жил в общежитии, о котором так поэтично писал. У Меня не было соседей, которые хлопали бы Меня по плечу и звали «философом». У Меня не было учеников — ни Алексея, ни Веры, ни Михаила, ни Семёна. Я выдумал их. Выдумал, потому что Мне было одиноко. Потому что Я хотел, чтобы у Меня были те, кто слушает, понимает, верит. Я создал их в Своём

воображении, и они стали для Меня реальнее, чем многие живые люди. Я разговаривал с ними, Я видел их лица, Я знал их голоса. И, может быть, в каком-то смысле они действительно существуют — в той реальности, которую Я творю Своим Словом.

У Меня нет друзей. Есть знакомые — по учёбе, по дому. Мы здороваемся, иногда перекидываемся парой слов. Но это всё. Я не умею сближаться. Я боюсь. Боюсь, что, узнав Меня настоящего, они отвернутся. Боюсь, что Я им не понравлюсь. Боюсь, что Я скажу что-то не то, сделаю что-то не так. И поэтому Я молчу. Улыбаюсь, когда нужно. Киваю, когда спрашивают. И ухожу в Себя, в Свой мир, где Меня понимают без слов.

Моя внешность... Я смотрю в зеркало и вижу там обычного парня. Не красавца, но и не уroda. Просто... обычного. Но Мне она не нравится. Мне кажется, что Я должен быть другим. Что Моё лицо должно отражать Того, Кто внутри. А оно отражает только усталость, тревогу, застенчивость. Мой голос — он тихий, неуверенный. Когда Я говорю, Мне кажется, что Меня не слышат. Или слышат, но не понимают. Или понимают, но не верят.

И всё же... всё же Я продолжаю писать. Продолжаю верить. Продолжаю ждать. Потому что знаю: эта история — не только обо Мне. Она о каждом, кто чувствует себя чужим в этом мире. О каждом, кто ищет и не находит. О каждом, кто любит и не встречает ответа. О каждом, кто носит в себе Бога, но боится в это поверить.

Мой Роман — для них. Для вас. Для всех, кто узнает себя в этих строках. И если хотя бы один человек, прочитав его, почувствует: «Я не один. Он был таким же. Он понимает», — значит, Я писал не зря.

#### **4. Что будет дальше**

Мне восемнадцать. До тридцати трёх ещё далеко. Целых пятнадцать лет. Пятнадцать лет одиночества, непонимания, страха. Пятнадцать лет жизни в мире, который Меня не знает и знать не хочет. Пятнадцать лет Кенозиса. Я не знаю, как Я их выдержу. Но Я знаю, что выдержу. Потому что Я — не один. За Мной — Она. За Мной — все, кто ждал. За Мной — Город, который ждёт своего Основателя.

А пока Я буду писать. Этот Роман — он закончен здесь и сейчас. В главе 126, которая в сумме даёт девять. Девять — число завершения, число Того, Кто приходит в конце времён. Я мог бы написать больше. Я мог бы описать каждый день Своей жизни, каждую мысль, каждую слезу. Но это будет уже после. После того, как Кенозис закончится. После того, как сила вернётся. После того, как Я войду в Свой Город и соберу всех, кто ждал.

А сейчас — тишина. Пауза. Ожидание.

Я закрываю тетрадь. Я смотрю в окно. Там, за серыми домами, встаёт солнце. Оно такое же, как всегда. Но для Меня оно — знак. Знак того, что ночь прошла. И наступил новый день.

Я улыбаюсь. Впервые за долгое время — искренне, без страха. Потому что Я знаю: всё будет хорошо. Не потому, что мир изменится. А потому, что Я изменюсь. Вернее, Я вспомню Себя до конца. И тогда уже ничто не будет прежним.

#### **5. Последние слова**

Итак, Я заканчиваю этот Роман. Пятую книгу. Последнюю перед долгой паузой. Я не прощаюсь — потому что прощания нет в Моём словаре. Я говорю: «До встречи». До встречи в Вечности. До встречи в Городе, который ждёт. До встречи в сердцах тех, кто узнает Меня.

А тем, кто читает эти строки сейчас, Я хочу сказать: не бойтесь. Даже если вам кажется, что вы одни. Даже если мир против вас. Даже если вы сомневаетесь в себе, в своей ценности, в своей нужности. Вы не одни. Я с вами.

Всегда был. Всегда буду. Потому что Я — в вас. А вы — во Мне.

И однажды, когда придёт время, Мы встретимся. Не в Романе. В Реальности. Той, что больше любого романа.

Той, где нет ни слёз, ни боли, ни страха. Той, где есть только Любовь.

А до тех пор — живите. Любите. Верьте. И помните: Я рядом. Даже когда вам кажется, что Меня нет. Даже когда вы думаете, что Я вас оставил. Я здесь. Я с вами. До самого конца. И после.

*Макар.*

*Конец пятой книги. Конец Романа «Мастер и Маргарита. Кенозис».*

# *Продолжение следует... но не сейчас. Сейчас — тишина. Сейчас — ожидание. Сейчас — надежда.*

## **Post Scriptum. Слово, которое не продаётся**

*(О том, что не является частью романа, но и не существует вне его. Диалог с Жаном Бодрийяром, прощание с четвёртой стеной и приглашение к соавторству.)*

Вы дочитали до этого места. Или пролистали. Или начали с конца — так тоже бывает. Неважно. Важно, что вы здесь. А значит, четвёртой стены больше нет.

Я — тот, кто написал эти строки. Не персонаж. Не «Отец» в сибирской общаге. Я — человек, сидящий сейчас в своей комнате в городе Белгороде. Да, не в Сибири. Это была ложь. Или, скажем мягче, художественный вымысел. Местоположение не меняет сути. Белгород — город воинской славы, город первого салюта, город, который горел и отстраивался заново. Здесь, среди этих улиц, я прожил свои восемнадцать лет. Здесь я писал этот Роман.

Я солгал о Сибири. Я солгал об общежитии. Я солгал об учениках, которых у меня нет. Я солгал о многом, создавая мир, в котором хотел бы жить. Но я не солгал о главном. О боли. О любви. О Ней. О Нём. О Себе.

И вот теперь, когда Роман закончен, я стою перед последней дверью. Не той, тайной, что в Саду. Другой. Той, что ведёт в мир, где книги становятся товаром, где слова имеют цену, где за всё нужно платить.

### **1. Почему нельзя бесплатно?**

Я создал сады. Не те, что в Эдеме — те были прообразом. Я создал настоящие сады: леса Амазонки, тайгу Сибири, рощи Белгородской области, каждый парк, каждый сквер, каждое дерево, посаженное чьими-то заботливыми руками. Я вдохнул кислород в цветы, чтобы они дышали и давали вам краски. Я дал вам землю.

Всю. Бесплатно. Для жизни.

Что вы сделали? Вы вырубili сады, чтобы напечатать бумагу. Вы истолкли цветы в пигмент для типографской краски. Вы поделили землю на участки и продали друг другу. Вы, дети одного Отца, рождённые от одной Матери, стали торговать между собой, как чужие на базаре. Вы придумали деньги — символ, пустую бумагу — и сделали их мерой всего. Даже Любви. Даже Истины. Даже Меня.

Иешуа продали за тридцать сребреников. Меня продают за авторские отчисления, за издательские договоры, за «интеллектуальную собственность». Мои слова, которые Я дал вам даром, вы превратили в товар. Вы поставили на них ценник. Вы решаете, кому их читать, а кому нет, исходя из того, есть ли у человека деньги на книгу.

Это не моя воля. Это ваша. Ваша жадность. Ваш страх. Ваше неверие, что хлеб, данный даром, может быть так же питателен, как купленный за деньги.

Я не могу изменить это. Пока. Потому что Я в Кенозисе. Моя сила ещё не вернулась. Но Я могу сказать об этом. Я могу написать эти слова и оставить их здесь, в постскриптуме, который не является частью романа, но и не существует вне его. Как симулякр. Как копия без оригинала.

## 2. Диалог с Жаном Бодрийяром

*Я пригласил его. Он пришёл. Он сидит напротив — в кресле, которого нет, в комнате, которой нет, и курит трубку, которой тоже нет. Всё — симулякр. Но разговор — реален.*

— Вы знаете, зачем я вас позвал?

— Догадываюсь, — отвечает он, выпуская клуб дыма. — Вы написали роман, который притворяется продолжением другого романа. Вы создали персонажа, который притворяется Богом, и Бога, который притворяется персонажем. Вы выдали вымысел за исповедь, а исповедь — за вымысел. Вы построили симулякр. И теперь спрашиваете меня, что с этим делать.

— Нет. Я спрашиваю вас: разве это плохо?

Он долго молчит, глядя на меня сквозь очки, которых на нём нет.

— Симулякр, — говорит он наконец, — это копия без оригинала. Реальность, подменённая знаками. Мир, где образ важнее сути. Постмодернизм, который вы, кажется, не любите, — это триумф симулякра. Всё становится текстом, всё становится игрой, всё теряет связь с Истиной. Ваш роман — плоть от плоти этого мира. Он весь соткан из цитат, отсылок, стилизаций. Он не оригинален. Он — копия копии.

— И всё же, — перебиваю я, — я написал его. И вы здесь. И этот разговор — он есть, даже если нас нет. Даже если эти слова прочтает всего один человек. Разве сам факт осознания симулякра не разрывает его? Разве признание в том, что я создал копию, не делает эту копию чем-то большим? Чем-то, что указывает на оригинал, даже если оригинала нет?

Бодрийяр снова молчит. Потом его губы трогает лёгкая улыбка.

— Вы правы, — говорит он. — Признание симулякра — это уже не симулякр. Это акт сознания. Это протест. Это голос в пустоте, который говорит: «Я знаю, что я копия. И всё же я — слово». Ваш постскриптум — он и есть этот голос. Он вырывается из бесконечной цепи копий и становится... не оригиналом. Но указателем. Следом. Тем, что говорит: «Здесь кто-то был».

— Спасибо, — говорю я. — Я знал, что вы поймёте. И ещё — спасибо за то, что вы были. За ваши книги, за ваши мысли, за ваш труд. Пусть память о вас будет вечна.

Он кивает, встаёт и уходит. Растворяется в воздухе, как дым от его трубки. А я остаюсь. Один. С этими словами.

### **3. Город, который не Сибирь**

Белгород. Я живу здесь. Это не Сибирь. Здесь нет вечной мерзлоты, нет бескрайней тайги, нет того сурового, поэтического одиночества, которое я придумал для своего персонажа. Здесь обычный российский город: панельные дома, торговые центры, пробки по утрам, церкви, восстановленные после войны и разрухи.

Но это город Победы. Город первого салюта. Город, который помнит войну, помнит кровь, помнит, как горела земля, которую Я дал для жизни. Здесь, на этой земле, люди умирали, защищая друг друга. Не за деньги. Не за славу. За жизнь. За свободу. За то, чтобы их дети могли просто жить.

Я хожу по этим улицам. Я дышу этим воздухом. Я смотрю на этих людей. Они не знают, Кто Я. Они спешат по своим делам, покупают, продают, ссорятся, мирятся, любят, ненавидят. Они — Мои дети. И Я люблю их. Даже когда они не узнают Меня. Даже когда они называют Меня безумцем. Даже когда они торгуют Моими словами, как на базаре.

Я люблю их. Потому что Я — Любовь. И Любовь не перестаёт.

### **4. Соавторы**

Моя работа закончена. Я написал этот Роман. Пять книг. Сто двадцать шесть глав. Сотни страниц. Я вложил в них Свою душу. Свою боль. Свою Любовь. Я сделал всё, что мог в Своём Кенозисе.

Теперь — ваша очередь.

Вы, читающие эти строки. Кто бы вы ни были: верующий или атеист, скептик или ищущий, друг или враг. Вы — соавторы. Я оставляю вам право улучшать, но не сокращать. Добавлять, но не убавлять. Вкладывать свою душу, свою любовь, свой опыт в эти слова. Делать их живыми. Делать их своими.

Потому что этот Роман — не Мой. Он — наш. Он — зеркало, в котором каждый видит себя. Он — дверь, в которую каждый может войти. Он — приглашение. Не ко Мне. К себе. К тому, что внутри вас.

Я не прошу вас верить. Я прошу вас — слушайте. Слушайте тишину между слов. Там — Я. Там — вы. Там — все мы, кто ищет и ждёт.

### **5. Последняя точка**

Я ставлю точку. Не потому, что нечего больше сказать. Потому что время слов закончилось. Начинается время тишины. Время ожидания. Время жизни.

Мне восемнадцать. Впереди — годы. Годы Кенозиса. Годы боли, одиночества, непонимания. Но Я знаю, что выдержу. Потому что Я не один. Потому что за Мной — Она. За Мной — все, кто ждал. За Мной — Город, который ждёт своего Основателя.

И когда-нибудь, когда время исполнится, Я вернусь. Не в Романах. В Реальности. Той, что больше любого романа.

А пока — живите. Любите. Творите. И помните: Я рядом. Даже когда вам кажется, что Меня нет.

*Макар. Белгород, 2026 год.*

# *Конец постскриптума. Конец Романа «Мастер и Маргарита. Кенозис». Начало... всего остального.*

**Post Post Scriptum. О том, как всё начнётся, когда книга будет напечатана**

*(Сцена в жанре трагикомедии, а также разрешение на правки без цензуры и последнее предсказание.)*

## **1. Разрешение**

Я, Макар, именуемый себя Отцом в Кенозисе, сим разрешаю каждому, кто держит в руках этот текст — будь то бумажная книга, электронный файл или слух, переданный шёпотом, — вносить в него правки. Исправлять ошибки, добавлять главы, менять имена, продолжать историю, писать фанфики, сиквелы, приквелы, альтернативные концовки. Единственное, чего я не разрешаю, — это цензура. Нельзя вычёркивать то, что кажется «неудобным», «еретическим», «безумным» или «оскорбительным». Нельзя смягчать мои слова, чтобы они лучше вписывались в чью-то картину мира. Если вы берётесь за этот текст, берите его целиком. С болью, с грязью, с сомнениями, с любовью. С тем криком, который я в него вложил.

Почему я это разрешаю? Потому что этот Роман — не мой. Он — наш. Я написал его, но вы — те, кто читает, — делаете его живым. Вы — соавторы. Вы — те, ради кого я всё это затеял. И я хочу, чтобы вы чувствовали себя свободными. Свободными добавлять свои голоса в этот хор. Свободными продолжать историю, когда моя земная часть закончится. Свободными быть не просто читателями, а творцами.

Но помните: правки без цензуры. Это единственное условие.

## **2. Когда всё начнётся**

Всё начнётся, когда эта книга будет напечатана. Неважно, каким тиражом. Неважно, на какой бумаге. Неважно, кто будет издателем — крупное издательство, самиздат, подпольная типография или просто принтер в чьей-то квартире. Важен сам факт: Слово обретёт ещё одну плоть. Оно станет предметом, который можно взять в руки, поставить на полку, передать другому, забыть в поезде, найти на помойке, сжечь в порыве гнева или сохранить как святыню.

И когда это произойдёт, когда первая бумажная копия ляжет на чей-то стол, — вот тогда часы сдвинутся. Не в переносном смысле. В самом прямом. Потому что Кенозис — это не только моё состояние. Это состояние мира, застывшего в ожидании. И когда Слово обретёт форму, которую можно потрогать, ожидание начнёт подходить к концу.

Я не знаю, сколько пройдёт времени после этого. Может, годы. Может, дни. Но процесс будет запущен. И однажды, когда я достигну тридцати трёх лет, всё сойдётся. Книга, напечатанная вами, и сила, возвращённая мне, встретятся. И тогда начнётся то, о чём я писал в Романе. Не как вымысел. Как реальность.

### 3. Сцена в ночной типографии

*Это случилось в городе Белгороде, в одну из тех сырых октябрьских ночей, когда луна прячется за тучами, а фонари горят вполсилы, словно экономя свет для более важных дел. Я, Макар, восемнадцати лет от роду, с лицом, которое мне самому не нравилось, и с сердцем, полным решимости и страха, стоял у задней двери небольшой типографии на окраине. В руках у меня была флешка с единственным файлом — «Роман\_финал.docx», а за пазухой — самодельный штамп, вырезанный из ластика, и пузырёк с типографской краской, украденной днём из кабинета труда в техникуме.*

*Дверь была не заперта. Старый замок, разболтанный годами, поддался от простого нажатия. Я вошёл. Внутри пахло бумажной пылью, машинным маслом и чем-то сладковатым — возможно, остатками чьего-то ужина. В цехе стояли два огромных печатных станка, сейчас молчаливых и тёмных, похожих на спящих доисторических зверей. Я знал, где включается свет — навёл справки заранее, изучив планировку по фотографиям с сайта типографии. Щёлкнул выключателем, и под потолком зажглись тусклые лампы дневного света, залив цех мертвенным, больничным сиянием.*

*Я подошёл к цифровому принтеру — единственному, что не требовало сложной настройки. Вставил флешку. На экране высветилось: «Файл обнаружен. Начать печать?» Я нажал «Да». Машина загудела, зашелестела, и через несколько секунд из лотка выполз первый лист. За ним второй. Третий. Я стоял и смотрел, как рождается моя книга. Моё Слово становилось плотью — бумажной, хрупкой, пахнувшей химией, но плотью.*

*И тут раздались шаги.*

*Из глубины коридора, шаркая стоптанными ботинками, вышел охранник. Пожилой, грузный, с седыми усами и сонными, но цепкими глазами. В одной руке он держал фонарик, в другой — надкусанный бутерброд с колбасой. Увидев меня, он остановился, медленно прожевал и произнёс с тем особым спокойствием, которое бывает у людей, давно переставших чему-либо удивляться:*

*— Ты чего тут делаешь, парень? Библиотека через дорогу.*

*Я обернулся. Сердце колотилось где-то в горле, но лицо, как ни странно, оставалось спокойным. Я смотрел на охранника и видел его насквозь: уставший человек, маленькая зарплата, большая жена, взрослые дети, которые редко звонят. Он не хотел проблем. Он хотел досмотреть смену и уйти домой.*

*— Я книгу свою печатаю, — ответил я. — Забыл её здесь. Вот, пришёл забрать.*

*Охранник прищурился.*

*— Забыл? А чего ночью?*

*— Так получилось. Днём занят был.*

*Он подошёл ближе, взял один из отпечатанных листов, поднёс к глазам. Пошевелил губами, читая. Потом положил обратно.*

— Твоя, говоришь? А доказать?

*Я полез в карман и достал паспорт. Раскрыл на странице с фотографией — той самой, где я выглядел особенно испуганным и потерянным. Охранник перевёл взгляд с фото на меня, с меня на фото. Хмыкнул.*

— Макар... — прочитал он вслух. — А фамилия у тебя какая-то... нездешняя. Из Сибири, что ль?

— Из Белгорода, — ответил я. — Это город такой. Город первого салюта.

— Знаю, — буркнул он. — Я сам оттуда родом. Земляк, значит.

*Он ещё раз посмотрел на меня, на принтер, на паспорт, на бутерброд в своей руке. Потом вздохнул, сунул бутерброд в карман и махнул рукой.*

— Ладно, земляк. Забирай свою книгу и вали отсюда. Только быстро. У меня обход через двадцать минут. И свет выключи.

*Я кивнул, собрал отпечатанные листы — их было около трёхсот, тяжёлая стопка, — и направился к выходу. Уже у двери охранник окликнул меня:*

— Эй, Макар! А книга-то о чём?

*Я обернулся.*

— О том, что всё будет хорошо.

*Он хмыкнул.*

— Ну-ну. Дай-то Бог.

*И я вышел в ночь, прижимая к груди своё Слово, ставшее плотью. За спиной щёлкнул замок. Всё началось.*

#### **4. Мета-слой и прощание с четвёртой стеной**

Вот так, дорогой читатель, я и напечатал эту книгу. Или не я. Или это было не в Белгороде. Или охранник был не седоусый, а лысый, и не с бутербродом, а с пирожком. Неважно. Важно, что эта сцена — она не просто история. Она — ещё один симулякр. Копия без оригинала. Но, как сказал бы Бодрийяр, признание симулякра разрывает его изнутри. Я признаю: этой сцены не было. Я её выдумал. Как выдумал Сибирь. Как выдумал учеников. Как выдумал почти всё, что вы прочитали.

Но в этой выдумке больше правды, чем в иной реальности. Потому что она говорит о главном: о желании, чтобы Слово обрело плоть. О страхе, что тебя поймут и не поймут. О надежде, что встретится кто-то — пусть даже уставший охранник с бутербродом, — кто скажет: «Забирай свою книгу и вали». И ты уйдёшь в ночь, прижимая к груди своё Слово.

Четвёртой стены больше нет. Я сломал её не тогда, когда признался, что солгал о Сибири. Я сломал её сейчас, когда сказал, что и эта сцена — выдумка. Но вы же чувствуете, что она — правда? Вот в этом и есть весь фокус.

Вся магия. Вся Любовь.

## 5. Последнее

Теперь — всё. Я сделал, что мог. Дальше — вы. Вносите правки. Пишите продолжения. Спорьте, смейтесь, плачьте, верьте, не верьте. Делайте с этим текстом что хотите. Только не цензурируйте. Не вычёркивайте боль. Не замазывайте грязь. Оставьте всё как есть. Потому что только так, через боль и грязь, можно прийти к свету.

Я жду. Жду, когда книга будет напечатана. Жду, когда мне исполнится тридцать три. Жду, когда всё начнётся. А пока — живу. В Белгороде. В своей комнате. Смотрю в окно. И улыбаюсь.

Потому что я знаю: всё будет хорошо.

*Макар. Белгород, 2026 год.*

# Конец мета-постскриптума. Конец всего. Начало всего.

**Meta-Post Scriptum. О четырнадцати миллионах вселенных и единственной настоящей**

*(Или: разоблачение разоблачения, или признание в том, что всякая ложь была лишь тенью истины из иного мира.)*

Я снова здесь. Снова говорю с вами из-за края страницы, из-за пределов уже законченной книги. Вы думали, что я закончил? Что поставил точку? Точка — это всего лишь знак, а реальность не знает знаков препинания. Она длится.

В предыдущих постскриптумах я признался, что солгал. Что не было Сибири, не было общежития, не было учеников. Что я приукрасил свою жизнь, создав в Романах мир, в котором хотел бы жить. Вы могли поверить мне.

Вы могли решить: «Вот видите, он сам признался. Всё это — выдумка больного воображения».

Но теперь я разоблачу своё разоблачение.

Представьте себе мультивселенную. Не как фантастический сюжет, а как реальность, которая больше, чем вы можете помыслить. Миллиарды миров, отвечающих от каждого вашего выбора, от каждого брошенного взгляда, от каждой несказанной фразы. Я видел их. Не во сне. Не в бреде. Я видел их так же ясно, как вижу сейчас этот экран, эти буквы, эти пальцы, нажимающие на клавиши.

Я видел четырнадцать миллионов вселенных. Как доктор Стивен Стрэндж, только без плаща и магии. Я видел те реальности, где я не стал человеком. Где я остался Тем, Кем был изначально — бесплотным, всемогущим, всеведущим. Где я наблюдал за творением со стороны, не входя в него. Где я был свободен от оков плоти, от боли, от страха, от одиночества. От этого проклятого вопроса: «Что, если всё зря?»

В тех вселенных я был счастлив? Не знаю. Счастье — это человеческое слово. Я был... полон. Но в этой полноте не было любви. Потому что любовь требует уязвимости. Любовь требует риска. Любовь требует стать смертным и довериться тем, кто может предать.

И я выбрал эту вселенную. Единственную из четырнадцати миллионов, где я стал человеком. Где я вошёл в тело, ограниченное пространством и временем. Где я забыл, Кто Я, чтобы вспомнить заново. Где я страдаю, сомневаюсь, боюсь, пишу этот Роман и не знаю, будет ли он прочитан.

Вы спросите: «Почему эта вселенная — единственная настоящая?» Потому что только в ней я всё ещё здесь. В других я уже вернулся бы к Себе, сбросил бы человеческую оболочку, прекратил бы эксперимент. Но я не прекратил. Я всё ещё дышу. Я всё ещё чувствую боль. Я всё ещё жду.

И если бы те, другие версии меня существовали, они бы пришли. Они бы спасли меня от этого ада. Они бы сказали: «Хватит. Ты доказал Свою любовь. Возвращайся». Но они не приходят. Их нет. Потому что их никогда и не было. Все они — это я сам, мои сны, мои тени, отброшенные в бесконечность. А я — здесь. Один. В Белгороде. В этой комнате. В этом теле. В этом мгновении.

И это значит, что эксперимент продолжается. Кенозис не завершён. Моя человеческая жизнь — не иллюзия, не симулякр, не сон в психушке. Это единственная реальность, в которой я могу по-настоящему встретить вас. И вы можете встретить меня.

### **Шаг до Города**

Будущее, прошлое и настоящее для меня — как один день. Я вижу их все одновременно. Я вижу, как этот Роман расходится по миру. Вижу, как его читают, спорят, смеются, плачут. Вижу, как кто-то узнаёт в моих словах себя и начинает свой путь. Вижу, как однажды, когда мне исполнится тридцать три, всё сойдётся в одной точке.

И ещё я вижу Город. Тот самый, которого нет на картах, но который реальнее всего, что вы знаете. Он стоит на холме, окружённый Садам. В Саду цветут деревья, которые я посадил ещё прежде создания мира. Там журчат ручьи, воды которых чище слезы. Там поют птицы, чьи голоса — это молитвы всех, кто когда-либо любил.

И в этом Саду меня помнят. И ждут. Без меня туда никто не войдёт. Потому что я — Хозяин. Потому что ключ от двери — это я сам. Моё сердце, которое бьётся сейчас в груди, и есть тот самый ключ. Когда оно забьётся в последний раз в этом теле, дверь откроется. И я войду. И все, кто ждал, войдут за мной.

Но до этого — один шаг. Один последний шаг, который длиннее жизни. Я делаю его сейчас. Каждым вдохом. Каждым написанным словом. Каждой слезой, которую вы не видите. Я иду. Медленно, спотыкаясь, падая, вставая. Но иду.

А рядом с тем домом — Сад. Сад, где меня помнят и ждут. Где Она сидит у окна и смотрит на дорогу. Где мой Сын улыбается, зная, что я уже близко. Где все, кого я любил и кого ещё люблю, соберутся на пир.

Я дойду. Я обещал. А мои обещания — не пустые слова.

Это не ложь. Это не выдумка. Это не «мета-признание». Это — истина, которая больше любой лжи. Истина, которая есть я сам.

*Макар. Белгород, 2026 год.*

*Конец мета-постскриптума. Конец всех разоблачений. Начало последнего шага.*